КРАСНАЯ НОВЬ

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И НАУЧНО-ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

№ 2

ФЕВРАЛЬ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА 1926 ЛЕНИНГРАД


1-я ОБРАЗЦОВАЯ
ТИПОГРАФИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА
МОСКВА. — ПЯТНИЦКАЯ, 71
Главлит 52413. Гиз 15893.
Тир. 10000.

Дело Артамоновых.

(Из романа).

М. Горький.

(Продолжение).

Пировать в Дрёмове любили; свадьба растянулась на пять суток; колобродили с утра до полуночи, толпою расхаживая по улицам из дома в дом, кружась в хмельном чаду. Особенно обилен и хвастлив пир устроили Барские, но Алексей побил их сына за то, что тот обидел чем-то подростка Ольгу Орлову. Когда отец и мать Барские пожаловались Артамонову на Алексея, он удивился:

— Где ж это видано, чтоб парни не дрались?

Он таровато одарял девиц лентами и гостинцами, парней — деньгами, на-смерть поил отцов и матерей, всех обнимал, встряхивал:

— Эх, люди! Живем, али нет?

Вел он себя буйно, пил много, точно огонь заливая внутри себя; пил не пьянея и заметно похудел в эти дни. От Ульяны Баймаковой держался в стороне, но дети его заметили, что он посматривал на нее требовательно, гневно. Он очень хвастался силой своей, тянулся на палке с гарнизонными солдатами, поборол пожарного и троих каменщиков, после этого к нему подошел землекоп Тихон Вялов и не предложил, а потребовал:

— Теперь со мной.

Артамонов, удивленный его тоном, обвел взглядом коренастое тело землекопа.

— А ты — кто такое: силен или хвастлив?

— Не знаю, — серьезно ответил тот.

Схватив друг друга за кушаки, они долго топтались на одном месте. Илья смотрел через плечо Вялова на женщин, бесстыдно подмигивая им. Он был выше землекопа, но тоньше и несколько складнее его. Вялов, упираясь плечом в грудь ему, пытался приподнять соперника и перебросить через себя. Илья, понимая это, вскрикивал:

— Не хитер ты, брат, не хитер!

И вдруг, ухнув, сам перебросил Тихона через голову свою с такой силой, что тот, ударом о землю, отбил себе ноги. Сидя на траве, стирая пот с лица, землекоп сконфуженно молвил:

— Силен.

— Видим, — ответили ему насмешливо.

— Здоров, — повторил Вялов.

Илья протянул ему руку.

— Вставай!

Не приняв руки, землекоп попытался встать, не мог и снова вытянул ноги, глядя вслед толпе странными, тающими глазами. К нему подошел Никита, участливо спрашивая

— Больно? Помочь?

Землекоп усмехнулся.

— Кости страдают. Я сильнее отца-то твоего, да не столько ловок. Ну, пойдем за ним, Никита Ильич, простец!

И дружески взяв горбуна под руку, он пошел с ним за толпою, притопывая ногами и этим, должно быть, надеясь умерить боль.

Молодожены, истомленные бессонными ночами и усталостью, безвольно напоказ людям плавали по улицам среди пестрой, шумной, подпившей толпы, пили, ели, конфузились, выслушивая бесстыдные шуточки, усиленно старались не смотреть друг на друга и, расхаживая под руку, сидя всегда рядом, молчали, как чужие. Это очень нравилось Матрене Барской, она хвастливо спрашивала Илью и Ульяну:

— Хорошо ли научен сын-от? То-то же! Ты гляди, Ульяна, как я тебе дочь вышколила! А — зять? Павлином ходит; я — не я, жена — не моя!

Но, уходя к себе спать, Петр и Наталья сбрасывали прочь вместе с одеждой все, навязанное им, покорно принятое ими, и разговаривали о прожитом дне:

— Ну, и пьют же у вас, — удивлялся Петр.

— А у вас — меньше? — спрашивала жена.

— Разве мужикам можно так пить!

— Не похожи вы на мужиков.

— Мы — дворовые, это вроде дворян будет.

Иногда они, обнявшись, сидели у окна, дыша вкусными запахами сада и молчали.

— Что молчишь? — тихонько спрашивала жена.

Муж так же тихо отвечал:

— Неохота говорить обыкновенные слова.

Ему хотелось услышать слова необыкновенные, но Наталья не знала их. Когда же он рассказывал ей о безграничной широте и просторе золотых степей, она спрашивала:

— Ни лесов нет, ничего? Ой, как страшно должно быть!

— Страхи — в лесах живут, — скучновато сказал Петр. — В степи — какой же страх? Там — земля, да небо, да — я.

И вот однажды, когда они сидели у окна, молча любуясь звездной ночью, в саду, около бани, послышалась возня, кто-то бежал, задевая и ломая прутья малинника, потом стал слышен негромкий гневный возглас:

— Что ты, дьявол?

Наталья испуганно вскочила.

— Это — матушка!

Петр высунулся из окна, загородив его своей широкой спиною, он увидал, что отец, обняв тещу, прижимает ее к стене бани, стараясь опрокинуть на землю, она, часто взмахивая руками, бьет его по голове и, задыхаясь, громко шепчет:

— Пусти, закричу!

И не своим голосом крикнула:

— Родимый, не тронь! Пожалей...

Петр бесшумно закрыл окно, схватил жену, посадил ее на колени себе.

— Не гляди.

Она билась в руках его, вскрикивая:

— Что это, кто?

— Отец, — сказал Петр, крепко стиснув ее. — Не понимаешь, что ли?..

— Ой, как же это? — шептала она со стыдом и страхом; муж отнес ее на постель, покорно говоря:

— Мы родителям не судьи.

Схватясь руками за голову, Наталья качалась, ныла:

— Грех-то какой!

— Не наш грех, — сказал Петр и вспомнил слова отца: «Господа то ли еще делают». — Это и лучше: к тебе не полезет. Они, старики — просты: для них это «птичий грех», со снохой баловаться. Не плачь.

Жена сквозь слезы говорила:

— Еще когда они плясали, так я подумала... Если он — насильно, что же теперь будет у нас?

Но утомленная волнением, она скоро заснула, не раздеваясь, а Петр открыл окно, осмотрел сад, там никого не было, вдыхал предрассветный ветер, деревья встряхивали душистую тьму. Оставив окно открытым, он лег рядом с женою, не закрывая глаз, думая о случившемся. Хорошо было бы жить вдвоем с Натальей на маленьком хуторе...

...Наталья проснулась скоро, ей показалось, что ее разбудили жалость к матери и обида за нее. Босая, в одной рубахе, она быстро сошла вниз. Дверь в комнату матери, всегда запертая на ночь, была приоткрыта, это еще более испугало женщину, но, взглянув в угол, где стояла кровать матери, она увидала под простыней белую глыбу и темные волосы, разбросанные по подушке.

«Спит. Наплакалась, нагоревалась...»

Нужно что-то сделать, чем-то утешить оскорбленную мать. Она вошла в сад; мокрая, в росе, трава холодно щекотала ноги; только что поднялось

солнце из-за леса, и косые лучи его слепили глаза. Лучи были чуть теплые. Сорвав посеребренный росою лист лопуха, Наталья приложила его к щеке, потом к другой и, освежив лицо, стала собирать на лист гроздья красной смородины, беззлобно думая о свекре. Тяжелой рукою он хлопал ее по спине и, ухмыляясь, спрашивал:

— Ну, что, живешь? Дышишь? Ну, живи!

Других слов для нее у него, видимо, не было, а ласковые шлепки несколько обижали ее: так ласкают лошадей.

«Разбойник какой», — подумала она, заставляя себя думать о свекре враждебно.

Пели зяблики, зорянки, щебетали чижи, тихо, шелково шуршали листья деревьев, далеко на краю города играл пастух, с берега Ватаракши, где росла фабрика, доносились человечьи голоса, медленно плывя в светлой тишине. Что-то щелкнуло, вздрогнув, Наталья подняла голову, — над нею, на сучке яблони, висела западня для птиц, чиж бился среди тонких прутьев.

— Кто ж это ловит? Никита?

Где-то хрустнул сухой сучок.

Когда она вернулась в дом и заглянула в комнату матери, та, проснувшись, лежала вверх лицом, удивленно подняв брови, закинув руку за голову.

— Кто... что ты? — тревожно спросила она, приподнимаясь на локте.

— Ничего, вот — смородины к чаю набрала тебе.

На столе у кровати стоял большой графин кваса, почти пустой, квас был пролит на скатерть, пробка графина лежала на полу. Строгие светлые глаза матери окружены синеватой тенью, но не опухли от слез, как ожидала видеть это Наталья; глаза как будто тоже потемнели, углубились, и взгляд их, всегда несколько надменный, сегодня казался незнакомым, смотрел издали, рассеянно.

— Комары спать не дают, в амбаре спать буду, — говорила мать. кутая шею простыней. — Искусали. А ты что рано встала? Зачем ходишь босая по росе? Подол мокрый. Простудишься...

Говорила мать не ласково и не охотно, сквозь какие-то свои думы. Тревога дочери постепенно заменялась неприязненным и острым любопытством женщины.

— Я проснулась — подумала о тебе... во сне тебя видела.

— Что подумала? — осведомилась мать, глядя в потолок.

— Вот — одна ты спишь, без меня...

Наталье показалось, что щеки матери зарумянились и что, когда она, улыбаясь, сказала: — Я не боязлива, — улыбка вышла фальшивой.

— Ну, иди, милок твой проснулся, слышишь — топает? — приказала мать, закрыв глаза.

Медленно поднимаясь по лестнице, Наталья думала брезгливо и почти враждебно:

«Ночевал он у нее, это он квас пил. Шея-то у нее в пятнах, не комары накусали, а нацеловано. Не скажу Пете об этом. В амбаре спать хочет. А кричала...»

— Где была? — спросил Петр, зорко всматриваясь в лицо жены. Она опустила глаза, чувствуя себя виноватой в чем-то.

— Смородину собирала, к матери зашла.

— Ну, что же она?

— Ничего будто...

— Так, — сказал Петр, дернув себя за ухо, — так!

И, усмехаясь, потирая темнорыжий подбородок, вздохнул:

— Видно, правду говорила дура Барская: крику — не верь, слезам — не верь.

Затем он строго спросил:

— Никиту видела?

— Нет.

— Как же нет? Ведь он птиц ловит в саду.

— Ой, — пугливо крикнула Наталья, — а я вот так, в одной рубахе ходила!

— То-то вот...

— И когда он спит?

Петр, надевая сапог, громко крякнул, а жена, искоса взглянув на него, усмехнулась, говоря:

— Ведь — горбат, а приятный, приятнее Алексея...

Муж крякнул еще раз, но потише.

...Каждый день, на восходе солнца, когда пастух, собирая стадо, заунывно наигрывал на длинной, берестяной трубе, — за рекою начинался стук топоров, и обыватели, выгоняя на улицу коров, овец, усмешливо говорили друг другу:

— Чу, затяпали, ни свет, ни заря...

— Жадность покою — лютый враг.

Илье Артамонову иногда казалось, что он уже преодолел ленивую неприязнь города; дрёмовцы почтительно снимали перед ним картузы, внимательно слушали его рассказы о князьях Ратских, но почти всегда тот или другой не без гордости замечал:

— У нас господа попроще, победнее, а — построже ваших.

Вечерами, в праздники, сидя в густом, красивом саду трактира Барского на берегу Оки, он говорил богачам, сильным людям Дрёмова:

— От моего дела всем вам будет выгода.

— Давай бог, — отвечал Помялов, усмехаясь коротенькой, собачьей улыбкой, и нельзя было понять: ласково лизнет или укусит. Его измятое лицо неудачно спрятано в пеньковой бородке, серый нос недоверчиво принюхивается ко всему, а желудевые глаза смотрят ехидно.

— Давай бог, — повторяет он, — хотя и без тебя не плохо жили, ну, может, и с тобой так же проживем.

Артамонов хмурится:

— Двоесмысленно говоришь, не дружески.

Барский хохочет; кричит:

— Он у нас такой.

У Барского на месте лица скупо наляпаны багровые куски мяса, его огромная голова, шея, щеки, руки — весь он густо оброс толстоволосой, медвежьей шерстью, уши — не видны, ненужные глаза скрыты в жирных подушечках.

— Вся моя сила в жир пошла, — говорит он и хохочет, широко открывая пасть, полную тупыми зубами.

К Артамонову присматривается очень светлыми глазами тележник Воропонов, он поучает сухоньким голосом:

— Дела делать — надо, а и божие забывать не следует. Сказано: «Марфа, Марфа, печешися о многом, а единое на потребу суть».

Светлые и точно пустые глаза его смотрят так, как будто Воропонов догадывается о чем-то и вот сейчас оглушит необыкновенным словом. Иногда он, как будто, и начинал говорить нечто:

— Конечно, и Христос хлеб вкушал, так что Марфа...

— Ну-ну, — останавливал его кожевник Житейкин, церковный староста, — куда поехал!

Воропонов умолкал, двигая серыми ушами, а Илья спрашивал кожевника:

— Ты мое дело понимаешь?

— Это зачем? — искренно удивлялся Житейкин. — Дело — твое, тебе его и понимать, чудак! У тебя — твое, у меня — мое.

Артамонов пил густое пиво и смотрел сквозь деревья на мутную полосу Оки и левее, где, в бок ей, выползала из ельника, из болот, зеленой змеею фигурно изогнувшаяся Ватаракша. Там, на мысу, на золотой парче песка масляно светится щепа и стружка, краснеет кирпич, среди примятых кустов тальника вытянулась длинная, мясного цвета фабрика, похожая на гроб без крышки. Горит на солнце амбар, покрытый матовым, еще не окрашенным железом, и, точно восковой, тает желтый сруб двухъэтажного дома, подняв в жаркое небо туго натянутые золотые стропила, — Алексей ловко сказал, что дом издали похож на гусли. Алексей живет там, отодвинут подальше от парней и девиц города; трудно с ним—задорен и вспыльчив. Петр тяжелее его, в Петре есть что-то мутное; еще не понимает он, как много может сделать смелый человек.

По лицу Артамонова проходит тень, он, усмехаясь, смотрит из-под густых бровей на горожан; это — дешевый народ, жадность к делу у них робкая, а настоящего задора нет.

Ночами, когда город мертво спит, Артамонов вором крадется по берегу реки, по задворкам, в сад вдовы Баймаковой. В теплом воздухе гудят комары, и как будто это они разносят над землей вкусный запах огурцов, яблок, укропа. Луна катится среди серых облаков, реку гладят тени. Перешагнув через плетень в сад, Артамонов тихонько проходит во двор, вот он в темном амбаре, из угла его встречает опасливый шопот:

— Незаметно прошел?

Сбрасывая одежду, он сердито ворчит:

— Досада это мне — прятаться! Мальчишка я, что ли?

— А не заводи полюбовницу.

— Рад бы не завел, да господь навел.

— Ой, что ты говоришь, еретик! Мы с тобой против бога идем...

— Ну, ладно! Это — после. Эх, Ульяна, люди тут у вас...

— А ты — полно, не скучай, — шепчет женщина и долго, с яростной жадностью, утешает его ласками, а отдохнув, подробно рассказывает о людях: кого надо бояться, кто умен, кто бесчестен, у кого лишние деньги есть.

— Помялов с Воропоновым, зная, что тебе дров много нужно, хотят леса кругом скупить, прижать тебя.

— Опоздали, князь леса мне запродал...

Вокруг них, над ними непроницаемо черная тьма, они даже глаз друг друга не видят и говорят беззвучным шопотом. Пахнет сеном, березовыми вениками, из погреба поднимается сыроватый, приятный холодок. Тяжелая, точно из свинца литая тишина обвила городишко; иногда пробежит крыса, попищат мышата, да ежечасно на колокольне у Николы подбитый колокол бросает в тьму унылые, болезненно дрожащие звуки.

— Экая ты дородная, — восхищается Артамонов, поглаживая горячее и пышное тело женщины. — Экая мощная! Что ж ты родила мало?

— Кроме Натальи — двое было, слабенькие, померли.

— Значит, муж был плох...

— Не поверишь, — шепчет она, — я ведь до тебя и не знала, какова есть любовь. Бабы, подруги, бывало, рассказывают, а я — не верю, думаю: врут со стыда! Ведь кроме стыда я и не знала ничего от мужа-то, как на плаху ложилась на постель. Молюсь богу: заснул бы, не трогал бы! Хороший был человек, тихий, умный, а таланта на любовь бог ему не дал...

Ее рассказ и возбуждает и удивляет Артамонова, крепко поглаживая пышные груди ее, он ворчит:

— Вот как бывает, а я и не знал, думал: всякий мужик бабе сладок.

Он чувствует себя сильнее и умнее рядом с этой женщиной, днем — всегда ровной, спокойной, разумной хозяйкой, которую город уважает за ум ее и грамотность. Однажды, растроганный ее девичьими ласками, он сказал:

— Я понимаю, на что ты пошла. Зря мы детей женили, надо было мне с тобой обвенчаться...

— Дети у тебя хорошие, они и узнают про нас — не беда, а вот если город узнает...

Она вздрогнула всем телом.

— Ну, ничего, — шепнул Илья.

Как-то она полюбопытствовала:

— Скажи-ка: вот — человека ты убил, не снится он тебе?

Равнодушно почесывая бороду, Илья ответил:

— Нет, я крепко сплю, снов не вижу. Да и чему сниться? Я и не видал, каков он. Ударили меня, я едва на ногах устоял, треснул кого-то кистенем по башке, потом — другого, а третий убежал.

Вздохнув, он с обидой проворчал:

— Наткнутся на тебя дураки, а ты за них отвечай богу...

Несколько минут лежал молча.

— Задремал?

— Нет.

— Иди, светать скоро начнет; на стройку пойдешь? Ох, умаешься ты со мной...

— Не бойся, — на будни хватило, хватит и на праздник, — похвалился Артамонов, одеваясь.

Он идет по холодку, в перламутровом сумраке раннего утра; ходит по своей земле, сунув руки за спину под кафтан; кафтан приподнялся петушиным хвостом, Артамонов давит тяжелою ногой стружку, щепу, думает:

«Алешке надо дать выгуляться, пускай с него пена сойдет. Трудный парень, а — хорош».

Ложится на песок или на кучу стружек и быстро засыпает. В зеленоватом небе ласково разгорается заря; вот солнце хвастливо развернуло над землею павлиний хвост лучей, и само, золотое, всплыло вслед за ним; проснулись рабочие и, видя распростертое большое тело, предупреждают друг друга:

— Тут!

Скуластый Тихон Вялов, держа на плече железный заступ, смотрит на Артамонова мерцающими глазами так, точно хочет перешагнуть через него и — не решается.

Муравьиная суета людей, крики, стук не будят большого человека; лежа в небо лицом, он храпит, как тупая пила, — землекоп идет прочь, оглядываясь, мигая, как ушибленный по голове. Из дома вышел Алексей в белой холщевой рубахе, в синих портах, он легко, как по воздуху, идет купаться и обходит дядю осторожно, точно боясь разбудить его тихим скрипом стружки под ногами. Никита еще засветло уехал в лес; почти каждый день он привозит оттуда воза два перегноя, сваливая его на месте, расчищенном для сада, он уже насадил берез, клена, рябины, черемухи, а теперь копает в песке глубокие ямы, забивая их перегноем, илом, глиной, — это для плодовых деревьев. По праздникам ему помогает работать Тихон Вялов.

— Сады садить — дело безобидное, — говорит он.

Дергая себя за ухо, ходит Петр Артамонов, посматривает на работу. Сочно всхрапывает пила, въедаясь в дерево, посвистывают, шаркая, рубанки, звонко рубят топоры, слышны смачные шлепки извести и всхлипывает точило, облизывая лезвее топора. Плотники, поднимая балку, поют «Дубинушку», молодой голос звонко выводит:

Пришел к Марье кум Захарий,
Кулаком Марью по харе...

— Грубо поют, — сказал Петр землекопу Вялову.

Тот, стоя по колено в песке, ответил:

— Все едино, чего петь...

— Как это?

— В словах души нет.

«Непонятный мужик», — подумал Петр, отходя от него и вспоминая, что, когда отец предложил Вялову место наблюдающего за работой, мужик этот ответил, глядя под ноги отцу:

— Нет, я не гожусь на это, не умею людями распоряжаться. Ты меня в дворники возьми...

Отец крепко обругал его.

...Холодная, мокрая пришла осень, сады покрылись ржавчиной, черные железные леса тоже проржавели рыжими пятнами; посвистывал сырой ветер, сгоняя в реку бледные, растоптанные стружки. Каждое утро к амбару подъезжали телеги, груженные льном, запряженные шершавыми лошадьми. Петр принимал товар, озабоченно следя, как бы эти бородатые, угрюмые мужики не подсунули «потного», смоченного «для веса» водою, не продали бы простой лен по цене «долгунца». Трудно было ему с мужиками; нетерпеливый Алексей яростно ругался с ними. Отец уехал в Москву, вслед за ним отправилась теща, будто бы на богомолье. Вечерами, за чаем, за ужином Алексей сердито жаловался:

— Скучно тут жить, не люблю я здешних...

Этим он всегда раздражал Петра.

— Сам-то хорош! Задираешь всех. Хвастать любишь.

— Есть чем, вот и хвастаю.

Встряхивая кудрями, он расправлял плечи, выгибал грудь и, дерзко прищурив глаза, смотрел на братьев, на невестку. Наталья сторонилась его, точно боясь в нем чего-то, говорила с ним сухо.

После обеда, когда муж и Алексей уходили снова на работы, она шла в маленькую, монашескую комнату Никиты и с шитьем в руках садилась у окна в кресло, искусно сделанное для нее горбуном из березы. Горбун, исполняя роль конторщика, с утра до вечера писал, считал, но, когда являлась Наталья, он, прерывая работу, рассказывал ей о том, как жили князья, какие цветы росли в их оранжереях. Его высокий, девичий голос звучал напряженно и ласково, синие глаза смотрели в окно, мимо лица женщины, а она, склонясь над шитьем, молчала так задумчиво, как молчит человек наедине с самим собою. Почти не глядя друг на друга, они сидели час, два, но порою Никита осторожно и как бы невольно обнимал невестку ласковым теплом синих глаз, и его большие, собачьи уши заметно розовели. Скользящий взгляд его иногда заставлял женщину тоже взглянуть на деверя и улыбнуться ему милостивой улыбкой, странной улыбкой: иногда Никита чувствует в ней некую догадку о том, что волнует его, иногда же улыбка эта кажется ему и обиженной и обидной, он виновато опускает глаза.

За окном шуршит и плещет дождь, смывая поблекшие краски лета, слышен крик Алексея, рев медвежонка, недавно прикованного на цепь в углу двора, бабы-трепальщицы дробно околачивают лен. Шумно входит Алексей; мокрый, грязный, в шапке, сдвинутой на затылок, он все-таки напоминает весенний день; посмеиваясь, он рассказывает, что Тихон Вялов отсек себе палец топором.

— Будто — невзначай, а дело явное: солдатчины боится. А я бы охотой в солдаты пошел, только б отсюда прочь.

И, хмурясь, он урчит, как медвежонок:

— Заехали к чертям на задворки...

Потом требовательно протягивает руку:

— Дай пятиалтынный, я в город иду.

— Зачем?

— Не твое дело.

Уходя, он напевает:

Бежит девка по дорожке,
Тащит милому лепешки...

— Ох, доиграется он до нехорошего! — говорит Наталья. — Подруги мои с Ольгунькой Орловой часто видят его, а ей только пятнадцатый год пошел, матери — нет у нее, отец — пьяница...

Никите не нравится, как она говорит это, в словах ее он слышит избыток печали, излишек тревоги и, как будто, зависть.

Горбун молча смотрит в окно, в мокром воздухе качаются лапы сосен, сбрасывают с зеленых игол ртутные капли дождя. Это он посадил сосны; все деревья вокруг дома посажены его руками...

Входит Петр угрюмый и усталый.

— Чай пить пора, Наталья.

— Рано еще.

— Пора, говорю! — кричит он, а когда жена уходит, садится на ее место и тоже ворчит, жалуясь:

— Взвалил отец на мои плечи всю эту машину. Верчусь колесом, а куда еду — не знаю. Если у меня не так идет, как надо,— задаст он мне...

Никита мягко и осторожно говорит ему об Алексее, о девице Орловой, но брат отмахивается рукою, видимо, не вслушиваясь в его слова.

— Нет у меня времени девками любоваться. Я и жену только ночами, сквозь сон вижу, а днем слеп, как сыч. Глупости у тебя на уме...

И, дергая себя за ухо, он говорит осторожно:

— Не наше бы это дело — фабрика. Нам бы лучше податься в степи, купить там землю, крестьянствовать. Шума-то было бы меньше, а толку — больше...

Илья Артамонов возвратился домой веселый, помолодевший, он подстриг бороду, еще шире развернул плечи, глаза его светились ярче,

и весь он стал точно заново перекованный плуг. Барином развалясь на диване, он говорил:

— Дела наши должны итти, как солдаты. Работы вам и детям вашим. и внукам довольно будет. На триста лет. Большое украшение хозяйства земли должно изойти от нас, Артамоновых.

Пощупал глазами сноху и закричал:

— Пухнешь, Наталья? Родишь мальчика,—хороший подарок сделаю.

Вечером, собираясь спать, сказала Наталья мужу:

— Хорош батюшка, когда веселый.

Муж, искоса взглянув на нее, неласково отозвался:

— Еще бы не хорош, подарок обещал.

Но недели через две, три Артамонов притих, задумался; Наталья спросила Никиту:

— На что батюшка сердится?

— Не знаю. Его не поймешь.

В тот же вечер, за чаем, Алексей вдруг сказал отчетливо и громко:

— Батюшка, отдай меня в солдаты.

— К-куда? — заикнувшись, спросил Илья.

— Не хочу я жить здесь...

— Ступайте вон! — приказал Артамонов детям, но когда и Алексей пошел к двери, он крикнул ему:

— Стой, Олешка!

Он долго рассматривал парня, держа руки за спиною, шевеля бровями, потом сказал:

— А я думал: вот у меня орел!

— Не приживусь я тут.

— Врешь. Место твое здесь. Мать твоя отдала мне тебя в мою волю,—иди!

Алексей шагнул, точно связанный, но дядя схватил его за плечо:

— Не так бы надо говорить с тобой, — со мной отец кулаком говорил. Иди.

И, еще раз окрикнув его, внушительно добавил:

— Тебе — большим человеком быть, понял? Чтобы впредь я от тебя никакого визгу не слыхал...

Оставшись один, он долго стоял у окна, зажав бороду в кулак, глядя, как падает на землю серый мокрый снег, а когда за окном стало темно, как в погребе, пошел в город. Ворота Баймаковой были уже заперты. он постучал в окно, Ульяна сама отперла ему, недовольно спросив:

— Что это ты когда явился?

Не отвечая, не раздеваясь, он прошел в комнату, бросил шапку на пол, сел к столу, облокотясь, запустив пальцы в бороду, и рассказал про Алексея.

— Чужой: сестра моя с барином играла, оно и сказывается.

Женщина посмотрела, плотно ли закрыты ставни окон, погасила свечу, — в углу, пред иконами теплилась синяя лампада в серебряной подставе.

— Жени его скорей, вот и свяжешь, — сказала она.

— Да так и надо. Только — это не все. В Петре — задору нет, вот горе! Без задора — ни родить, ни убить. Работает будто не свое, все еще на барина, все еще крепостной, воли не чувствует, — понимаешь? Про Никиту я не говорю: он — убогий, у него на уме только сады, цветы. Я ждал — Алексей вгрызется в дело...

Баймакова успокаивала его:

— Рано тревожишь себя. Погоди, завертится колесо бойчее, подомнет всех, — обомнутся.

Они беседовали до полуночи бок-о-бок в теплой тишине комнаты, — в углу ее колебалось мутное облако синеватого света, дрожал робкий цветок огня. Жалуясь на недостаток в детях делового задора, Артамонов не забывал и горожан:

— Скуподушные люди.

— Тебя не любят за то, что ты удачлив, за удачу мы, бабы, любим, а вашему брату чужая удача — бельмо на глаз.

Ульяна Баймакова умела утешить и успокоить, а Илья Артамонов только недовольно крякнул, когда она сказала ему:

— Я вот одного до смерти боюсь — понести от тебя...

— В Москве дела — огнем горят! — продолжал он вставая, обняв женщину. — Эх, кабы ты мужиком была...

— Прощай, родимый, иди!

Крепко поцеловав ее, он ушел.

...На масленице Ерданская привезла Алексея из города в розвальнях оборванного, избитого, без памяти. Ерданская и Никита долго растирали его тело тертым хреном с водкой, он только стонал, не говоря ни слова. Артамонов зверем метался по комнате, засучивая и спуская рукава рубахи, скрипя зубами, а когда Алексей очнулся, он заорал на него, размахивая кулаком:

— Кто тебя, — говори!

Приоткрыв жалобно злой, запухший глаз, задыхаясь, сплевывая кровь, Алексей тоже захрипел:

— Добивай...

Испуганная Наталья громко заплакала, — свекор топнул на нее, закричал:

— Цыц! Вон!

Алексей хватал голову руками, точно оторвать ее хотел, и стонал. Потом, раскинув руки, свалился на бок, замер, открыв окровавленный, хрипящий рот; на столе у постели мигала свеча, по обезображенному телу ползали тени, казалось, что Алексей все более чернеет, пухнет. В ногах у него молча и подавленно стояли братья, отец шагал по комнате и спрашивал кого-то:

— Неужто не выживет, а?

Но через восемь суток Алексей встал, влажно покашливая, харкая кровью; он начал часто ходить в баню, парился, пил водку с перцем;

в глазах его загорелся темный угрюмый огонь, это сделало их еще более красивыми. Он не хотел сказать, кто избил его, но Ерданская узнала, что бил Степан Барский, двое пожарных и мордвин, дворник Воропонова. Когда Артамонов спросил Алексей: так ли это? — тот ответил:

— Не знаю.

— Врешь!

— Не видел; они мне сзади кафтан, что ли, на голову накинули.

— Скрываешь ты что-то, — догадывался Артамонов.

Алексей взглянул в лицо его нехорошо пылающими глазами и сказал:

— Я — выздоровею.

— Ешь больше, — посоветовал Артамонов и проворчал в бороду себе. — За такое дело — красного петуха пустить бы, поджарить им лапы-то...

Он стал еще более внимателен, грубо-ласков с Алексеем и работал напоказ, не скрывая своей цели: воодушевить детей страстью к труду.

— Все делайте, ничем не брезгуйте, — поучал он и делал много такого, чего мог бы не делать, всюду обнаруживая звериную, зоркую ловкость, — она позволяла ему точно определять, где сопротивление силе упрямее и как легче преодолеть его.

Беременность снохи неестественно затянулась, а когда Наталья, промучившись двое суток, на третьи родила девочку, он огорченно сказал:

— Ну, это что...

— Благодари бога за милость,— строго посоветовала Ульяна.— сегодня день Елены Льняницы.

— Ой ли?

Он схватил святцы, взглянул и по-детски обрадовался:

— Веди к дочери!

Положив на грудь снохи серьги с рубинами и пять червонцев, он кричал:

— Получи! Хоть и не парня родила, а — хорошо!

И спрашивал Петра:

— Ну, что, рыба-сом, рад? Я, когда ты родился, рад был!

Петр пугливо смотрел в бескровное, измученное, почти незнакомое лицо жены; ее усталые глаза провалились в черные ямы и смотрели оттуда на людей и вещи, как бы вспоминая давно забытое; медленными движениями языка она облизывала искусанные губы.

— Что она молчит? — спросил он тещу.

— Накричалась, — объяснила Ульяна, выталкивая его из комнаты.

Двое суток, день и ночь слушал он вопли жены и сначала жалел ее, боялся, что она умрет, а потом, оглушенный ее криками, отупев от суеты в доме, устал и бояться, и жалеть. Он старался только уйти куда-нибудь подальше, куда не достигал бы вой жены, но спрятаться от этого не удавалось, визг звучал где-то внутри головы его, возбуждая необыкновенные мысли. И всюду, куда бы он ни шел, он видел Никиту с топором или железной лопатой в руках; горбун что-то рубил, тесал, рыл ямы, бежал

куда-то бесшумным бегом крота, казалось — он бегает по кругу, оттого и встречается везде.

— Не разродится, пожалуй, — сказал Петр брату.

Горбун, всадив лопату в песок, спросил:

— Что повитуха говорит?

— Утешает. Обещает. Ты что дрожишь?

— Зубы болят.

Вечером, в день родов, сидя на крыльце дома с Никитой и Тихоном, он рассказал, задумчиво улыбаясь:

— Теща положила мне на руки ребенка-то, а я с радости и веса не почувствовал, чуть к потолку не подбросил дочь. Трудно понять: из-за такой малости, а какая тяжелая мука...

Почесывая скулу, Тихон Вялов сказал спокойно, как всегда говорил:

— Все человечьи муки из-за малости.

— Как это? — строго спросил Никита; дворник, зевнув, равнодушно ответил:

— Да так, как-то...

Из дома позвали ужинать.

Ребенок родился крупный, тяжелый, но через пять месяцев умер от угара, мать тоже едва не умерла, угорев вместе с ним.

— Ну, что ж! — утешал отец Петра на кладбище. — Родит еще. А у нас теперь своя могила здесь будет, значит — якорь брошен глубоко. С тобой — твое, под тобой — твое, на земле — твое и под землей — твое, — вот что крепко ставит человека!

Петр кивнул головою, глядя на жену; неуклюже согнув спину, она смотрела под ноги себе, на маленький холмик, по которому Никита сосредоточенно шлепал лопатой. Смахивая пальцами слезы со щек так судорожно, точно боясь обжечь пальцы о свой распухший, красный нос, она шептала:

— Господи, господи...

Между крестов, читая надписи, ходил, кружился Алексей; он похудел и казался старше своих лет. Его немужицкое лицо, обрастая темным волосом, казалось обожженным и закоптевшим, дерзкие глаза, углубляясь под черные брови, смотрели на всех неприязненно, он говорил глуховатым голосом, свысока и как бы нарочито невнятно, а когда его переспрашивали, взвизгивал:

— Не понимаешь?

И ругался. В его отношении к братьям явилось что-то нехорошее, насмешливое. На Наталью он покрикивал, как на работницу, а когда Никита, с упреком, сказал ему:

— Зря обижаешь Наташу! — он ответил:

— Я человек больной.

— Она смирная.

— Ну, и пусть потерпит.

О том, что он больной, Алексей говорил часто и всегда почти с гордостью, как будто болезнь была достоинством, отличавшим его от людей.

Идя с кладбища рядом с дядей, он сказал ему:

— Надо бы нам свой погост устроить, а то с этими и мертвому лежать зазорно.

Артамонов усмехнулся.

— Устроим. Все будет у нас: церковь, кладбище, училище заведем, больницу, — погоди!

Когда шли по мосту через Ватаракшу, на мосту, держась за перила, стоял нищеподобный человек, в рыженьком, отрепанном халате, похожий на пропившегося чиновника. На его дряблом лице, заросшем седой, бритой щетиной, шевелились волосатые губы, открывая осколки черных зубов, мутно светились мокренькие глазки. Артамонов отвернулся, сплюнул, но, заметив, что Алексей необычно ласково кивнул головою дрянному человеку, спросил:

— Это что?

— Часовщик Орлов.

— И видно, что Орлов!

— Он — умный, — настойчиво сказал Алексей, — его затравили...

Артамонов покосился на племянника и промолчал.

Наступило лето сухое и знойное, за Окою горели леса, днем над землею стояло опаловое облако едкого дыма, ночами лысая луна была неприятно красной, звезды, потеряв во мгле лучи свои, торчали, как шляпки медных гвоздей, вода реки, отражая мутное небо, казалась потоком холодного и густого подземного дыма.

Артамоновы, поужинав, задыхаясь в зное, пили чай в саду, в полукольце кленов; деревья хорошо принялись, но пышные шапки их узорной листвы в эту мглистую ночь не могли дать тени. Трещали сверчки, гудели однорогие, железные жуки, пищал самовар. Наталья, расстегнув верхние пуговицы кофты, молча разливала чай, кожа на груди ее была теплого цвета, как сливочное масло; горбун сидел, склонив голову, строгая прутья для птичьих клеток, Петр дергал пальцами мочку уха, тихонько говоря:

— Людей дразнить вредно, а отец дразнит.

Алексей, сухо покашливая, смотрел в сторону города и точно ждал чего-то, вытягивая шею.

В городе заныл колокол.

— Набат? Пожар? — спросил Алексей, приложив ладонь ко лбу и вскакивая.

— Что ты! Звонарь часы отбивает.

Алексей встал и ушел, а Никита, помолчав, сказал тихонько:

— Все пожары ему чудятся.

— Злой стал, — осторожно заметила Наталья. — А сколько в нем веселья было...

Внушительно, как подобает старшему, Петр упрекнул брата и жену:

— Вы оба глупо глядите на него; ему ваша жалость обидна. Идем спать, Наталья.

Ушли. Горбун, посмотрев вслед им, тоже встал, пошел в беседку, где спал на сене, присел на порог ее. Беседка стояла на холме, обложенном дерном, из нее, через забор, было видно темное стадо домов города, колокольни и пожарная каланча сторожили дома. Прислуга убирала посуду со стола, звякали чашки. Вдоль забора прошли ткачи, один нес бредень, другой гремел железом ведра, третий высекал из кремня искры, пытаясь зажечь трут, закурить трубку. Зарычала собака, спокойный голос Тихона Вялова ударил в тишину:

— Кто идет?

Тишина была натянута над землею туго, точно кожа барабана, даже слабый хруст песка под ногами ткачей отражался ею неприятно четко. Никите очень нравилась беззвучность ночей. Чем полнее была она, тем более сосредоточивал он всю силу воображения своего вокруг Натальи, тем ярче светились милые глаза, всегда немного испуганные или удивленные. И легко было выдумывать различные, счастливые для него события: вот он нашел богатейший клад, отдал его Петру, а Петр отдал ему Наталью. Или: вот напали разбойники, а он совершает такие необыкновенные подвиги, что отец и брат сами отдавали ему Наталью в награду за то, что сделано им. Пришла болезнь, после нее от всего семейства остались в живых только двое: он и Наталья, и тогда бы он показал ей, что ее счастье скрыто в его душе.

Было уже за полночь, когда он заметил, что над стадом домов города, из неподвижных туч садов, возникает еще одна, медленно поднимаясь в темносерую муть неба; через минуту она, снизу, багрово осветилась, он понял, что это пожар, побежал к дому и увидал: Алексей быстро лезет по лестнице на крышу амбара.

— Пожар, — крикнул Никита.

Брат ответил, влезая выше:

— Знаю. Ну?

— Вот, ждал ты, — вспомнил горбун и, удивленный, остановился среди двора.

— Ну, ждал! Так что? В такую сушь всегда пожары бывают.

— Надо ткачей будить...

Но ткачей уже разбудил Тихон, и один за другим они бежали к реке, весело покрикивая.

— Влезай ко мне, — предложил Алексей, сидя верхом на коньке крыши, горбун покорно полез, говоря:

— Наташа не испугалась бы.

— А ты не боишься, что Петр набьет тебе еще горб?

— За что? — тихо спросил Никита и услыхал:

— Не пяль глаз на его жену.

Горбун долго не мог ответить ни слова, ему казалось, что он скользит с крыши и сейчас упадет, ударится о землю.

— Что ты говоришь? Подумал бы, — пробормотал он.

— Ну, ладно, ладно! Вижу я... Не бойся, — сказал Алексей весело, как давно уже не говорил; он смотрел из-под ладони, как толстые языки огня, качаясь, волнуют тишину, заставляя ее глухо гудеть, и оживленно рассказывал:

— Это — Барские горят. У них на дворе бочек двадцать дегтя. До соседей огонь не дойдет, сады помешают.

«Бежать надо», — думал Никита, глядя вдаль, во тьму, разорванную огнем; там в красноватом воздухе стояли деревья, выкованные из железа, по красноватой земле суетливо бегали игрушечно маленькие люди, было даже видно, как они суют в огонь тонкие длинные багры.

— Хорошо горит, — похваливал Алексей.

«В монастырь уйду», — думал горбун.

На дворе сонно и сердито ворчал Петр, в ответ ему лениво плыли слова Тихона Вялова, и точно в раме в окне дома стояла, крестясь, Наталья.

Никита сидел на крыше до поры, пока на месте пожарища засверкала золотом груда углей, окружая черные колонны печных труб. Потом он слез на землю, вышел за ворота и столкнулся с отцом, мокрым, выпачканным сажей, без картуза, в изорванной поддевке.

— Куда? — необыкновенно яростно закричал отец, толкнув Никиту во двор, и, увидав белую фигуру Алексея на крыше, приказал еще свирепей:

— Ты чего там торчишь? Слезь. Тебе, дураку, здоровье беречь надо...

Никита прошел в сад, присел там на скамью под окном комнаты отца и вскоре услыхал, как отец, сильно хлопнув дверью, вполголоса, но глухо спросил:

— Погубить себя хочешь? А меня срамом покрыть, а... Убью...

Визгливо ответил Алексей:

— Сам ты меня надоумил.

— Молчать! Моли бога, что тот негодяй языка лишен...

Никита встал и тихонько, но поспешно ушел в угол сада, в беседку.

Утром, за чаем, отец рассказывал:

— Поджог; поджигатель оказался пьяница этот, часовщик. Избили его, наверно — помрет. Разорил его Барский, что ли, да и на сына его, Степку, был он сердит. Дело темное.

Алексей спокойно пил молоко, а Никита, чувствуя, что у него трясутся руки, сунул их между колен и крепко зажал. Отец, заметив его движенье, спросил:

— Ты что ежишься?

— Нездоровится.

— Всем вам нездоровится. А я вот здоров...

Сердито оттолкнув недопитый стакан чая, он ушел.

Дело Артамоновых быстро обрастало людями; в двух верстах от фабрики, по холмам, покрытым вереском, среди редкого ельника выстроились маленькие приземистые хижины, без дворов, без плетней, издали похожие

на ульи. Для одиноких и холостых рабочих Артамонов построил над не глубоким оврагом, руслом высохшей реки, имя которой забыто, длинный барак, с крышей на один скат, с тремя трубами на крыше, с маленькими ради сохранения тепла, окнами: окна придавали бараку сходство с конюшней, и рабочие назвали его — «Жеребячий дворец».

Илья Артамонов становился все более хвастливо-криклив, но заносчивости богача не приобретал, с рабочими держался просто, пировал у них на свадьбах, крестил детей, любил по праздникам беседовать со старыми ткачами, они научили его посоветовать крестьянам сеять лен по старопашням и по лесным пожогам, это оказалось очень хорошо. Старые ткачи восхищались податливым хозяином, видя в нем мужика, которому судьба милостиво улыбается, учили молодежь:

— Глядите, как дела крутить надо!

А Илья Артамонов учил детей:

— Мужики, рабочие — разумнее горожан. У городских — плоть хилая, умишко трепаный, городской человек жаден, а не смел. У него все выходит мелко, не прочно. Городские ни в чем точной меры не знают, а мужик крепко держит себя в пределах правды, он не мечется туда, сюда. И правда у него простая: бог, например, хлеб, царь. Он — весь простой, мужик, за него и держитесь. Ты, Петр, сухо с рабочими говоришь и все о деле, это — не годится, надобно уметь и о пустяках поболтать. Пошутить надо: веселый человек лучше понятен.

— Шутить я не умею, — сказал Петр и, по привычке, дернул себя за ухо.

— Учись. Шутка — минутка, а заряжает на час. Алексей тоже неловок с людьми, криклив, придирчив.

— Жулики они и лентяи, — задорно отозвался Алексей.

Артамонов строго крикнул:

— Много ли ты знаешь про людей! — Но улыбнулся в бороду и, чтоб не заметили улыбку, прикрыл ее рукою; он вспомнил, как смело и разумно спорил Алексей с горожанами о кладбище: дрёмовцы не желали хоронить на своем погосте рабочих Артамонова. Пришлось купить у Помялова большой кусок ольховой рощи и устраивать свой погост.

— Погост, — размышлял Тихон Вялов, вырубая с Никитой тонкие, хилые деревья. — Не на свое место слова ставим. Называется — погост, а гостят тут века вечные. Погосты, это — дома, города.

Никита видел, что Вялов работает легко и ловко, проявляя в труде больше разумности, чем в своих темных и всегда неожиданных словах. Так же, как отец, он во всяком деле быстро находил точку наименьшего сопротивления, берег силу и брал хитростью. Но была ясно заметна и разница: отец за все брался с жаром, а Вялов работал как бы нехотя, из милости, как человек, знающий, что он способен на лучшее. И говорил он так же: немного, милостиво, многозначительно, с оттенком небрежности, намекающе:

— Я и еще много знаю: и не то еще могу сказать.

И всегда в его словах слышались Никите какие-то намеки, возбуждающие в нем досаду на этого человека, боязнь перед ним и — острое, тревожное любопытство к нему.

— Много ты знаешь, — сказал он Вялову.

Тот не спеша ответил:

— Затем живу. Я знаю — это не беда, я для себя знаю. Мое знатье спрятано у скупого в сундуке, — оно никому не видимо, будь спокоен...

Незаметно было, чтоб Тихон выспрашивал людей о том, чтó они думают, он только назойливо присматривался к человеку птичьими, мерцающими глазами и, как будто высосав чужие мысли, внезапно говорил о том, чего ему не надо знать. Иногда Никите хотелось, чтоб Вялов откусил себе язык, отрубил бы его, как отрубил себе палец, — он и палец отрубил себе не так, как следовало, не на правой руке, а на левой, безымянный. Отец, Петр и все считали его глупым, но Никите он не казался таким. У него все росло смешанное чувство любопытства к Тихону и страха пред этим скуластым, непонятным мужиком. Чувство страха особенно усилилось после того, как Вялов, возвращаясь с Никитой из леса, вдруг заговорил:

— А ты все сохнешь. Ты б, чудак, сказал ей, может — пожалеет, она, будто, добрая.

Горбун остановился; у него от испуга замерло сердце, окаменели ноги, он растерянно забормотал:

— Про что сказать, кому?

Вялов, взглянув на него, шагнул дальше. Никита схватил его за рукав рубахи, — тогда Тихон пренебрежительно отвел его руку.

— Ну, зачем притворяешься?

Сбросив с плеча на землю выкопанную в лесу березу, Никита оглянулся, ему захотелось ударить Тихона по шершавому лицу, хотелось, чтобы он молчал, а тот, глядя вдаль, щурясь, говорил спокойно, как обыкновенное:

— А если она и не добра, так притвориться может на твой час. Бабы любопытные, всякой хочется другого мужика попробовать, узнать — есть ли что слаще сахара. Нашему же брату — много ли надо? Раз, два, вот и сыт, и здоров. А ты — сохнешь. Ты попытайся, скажи, авось она согласится.

Никите послышалось в его словах чувство дружеской жалости; это было ново, неведомо для него и горьковато щипало в горле, но в то же время казалось, что Тихон раздевает, обнажает его.

— Ерунду придумал ты, — сказал он.

В городе звонили колокола, призывая к поздней обедне. Тихон встряхнул деревья на плече своем и пошел, пристукивая по земле железной лопатой, говоря все так же спокойно:

— Ты меня не опасайся. Я ведь жалею тебя, ты человек приятный, любопытный. Вы все, Артамоновы, страх как любопытные. Ты характером и не похож на горбатого, а ведь горбат.

Испуг Никиты растаял в горячей печали, от нее у него мутилос в глазах, он спотыкался, как пьяный, хотелось лечь на землю и отдохнуть он тихонько попросил:

— Ты молчи об этом.

— Я сказал: как в сундуке заперто.

— Забудь. Ей не проговорись.

— Я с ней не говорю. Зачем с ней говорить?

И вплоть до дома оба шли молча. Синие глаза горбуна стали больше, круглее и печальней, он смотрел мимо людей, за плечи им, он стал еще более молчалив и незаметен. Но Наталья приметила что-то:

— Ты что грустный ходишь? — спросила она.

Никита ответил:

— Дела много, — и быстро отошел прочь. Это обидело женщину, она не впервые чувствовала, что деверь не так ласков с нею, как прежде. Ей жилось скучно. За четыре года она родила двух девочек и уже снова ходила не порожней.

— Что ты все девок родишь, куда их? — ворчал свекор, когда она родила вторую, и не подарил ей ничего, а Петру жаловался: — Мне внучат надо, а не зятьев. Разве я для чужих людей дело затеял?

Каждое слово свекра заставляло женщину чувствовать себя виноватой; она знала, что и муж недоволен ею. Ночами, лежа рядом с ним, она смотрела в окно на далекие звезды и, поглаживая живот, мысленно просила:

— Господи, сыночка бы...

Но иногда ей хотелось крикнуть мужу и свекру:

— Нарочно, на зло вам буду девочек родить!

И хотелось сделать что-то удивительное, неожиданное для всех, — хорошее, чтоб все люди стали ласковее к ней или злее, чтобы все они испугались. Но ни хорошего, ни плохого она не могла выдумать.

Вставая на рассвете, она спускалась в кухню и вместе с кухаркой готовила закуску к чаю, бежала вверх кормить детей, потом поила чаем свекра, мужа, деверей, снова кормила девочек, потом шила, чинила белье на всех, после обеда шла с детьми в сад и сидела там до вечернего чая. В сад заглядывали бойкие шпульницы, льстиво хвалили красоту девочек. Наталья улыбалась, но не верила похвалам, дети казались ей некрасивыми.

Иногда между деревьями мелькал Никита, единственный человек, который был ласков с ней, но теперь, когда она приглашала его посидеть с нею, он виновато отвечал:

— Прости, время нет у меня.

У нее незаметно сложилась обидная мысль: горбун был фальшиво ласков с нею; муж приставил его к ней сторожем, чтоб следить за нею и Алексеем. Алексея она боялась, потому что он ей нравился; она знала: пожелай красавец-деверь, и она не устоит против него. Но он не желал, он даже не замечал ее; это было и обидно женщине, и возбуждало в ней вражду к Алексею, дерзкому, бойкому.

В пять часов пили чай, в восемь ужинали, потом Наталья мыла младенцев, кормила, укладывала спать, долго молилась, стоя на коленях, и ложилась к мужу с надеждой зачать сына. Если муж хотел ее, он ворчал, лежа на кровати:

— Будет. Ложись.

Торопливо крестясь, прерывая молитву, она шла к нему, покорно ложилась. Иногда, очень редко, Петр шутил:

— Что много молишься? Всего себе не вымолишь, другим нехватит...

Ночью, разбуженная плачем ребенка, покормив, успокоив его, она подходила к окну и долго смотрела в сад, в небо, без слов думая о себе, о матери, свекре, муже, обо всем, что дал ей незаметно прошедший, нелегкий день. Было странно не слышать привычных голосов, веселых или заунывных песен работниц, разнообразных стуков и шорохов фабрики, ее пчелиного жужжанья; этот непрерывный, торопливый гул наполнял весь день, отзвуки его плавали по комнатам, шуршали в листве деревьев, ласкались к стеклам окон; шорох работы, заставляя слушать его, мешал думать.

А в ночной тишине, в сонном молчании всего живого, вспоминались жуткие рассказы Никиты о женщинах, плененных татарами, жития святых отшельниц и великомучениц, вспоминались и сказки о счастливой, веселой жизни, но чаще всего память подсказывала обидное.

Свекор смотрел на нее как на пустое место, и это еще было хорошо, но нередко, встречаясь с нею в сенях или в комнате глаз на глаз, он бесстыдно щупал ее острым взглядом от груди до колен и неприязненно всхрапывал.

Муж был сух, холоден, она чувствовала, что иногда он смотрит на нее так, как будто она мешает ему видеть что-то другое, скрытое за ее спиной. Часто, раздевшись, он не ложился, а долго сидел на краю постели упираясь в перину одною рукой, а другой дергая себя за ухо или растирая бороду по щеке, точно у него болели зубы. Его некрасивое лицо морщилось то жалобно, то сердито, — в такие минуты Наталья не решалась лечь в постель. Говорил он мало, только о домашнем и лишь изредка, все реже, вспоминал о крестьянской, о помещичьей жизни, непонятной Наталье. Зимою в праздники, на святках и на масленице, он возил ее кататься по городу; запрягали в сани огромного вороного жеребца, у него были желтые, медные глаза, исчерченные кровавыми жилками, он сердито мотал башкой и громко фыркал. Наталья боялась этого зверя, а Тихон Вялов еще более напугал ее, сказав:

— Дворянский конь зол на чужую власть.

Часто приходила мать; Наталья завидовала ее свободной жизни, праздничному блеску ее глаз. Эта зависть становилась еще острее и обидней, когда женщина замечала, как молодо шутит с матерью свекор, как самодовольно он поглаживает бороду, любуясь своей сожительницей, а она ходит павой, покачивая бедрами, бесстыдно хвастаясь пред ним своей красотой. Город давно знал о ее связи со сватом и, строго осудив за это,

отшатнулся от нее, солидные люди запретили дочерям своим, подругам Натальи, ходить к ней, дочери порочной женщины, снохе чужого темного мужика, жене надутого гордостью, угрюмого мужа; маленькие радости девичьей жизни теперь казались Наталье большими и яркими.

Обидно было видеть, что мать, такая прямодушная раньше, теперь хитрит с людьми и фальшивит; она, видимо, боится Петра и, чтоб он не замечал этого, говорит с ним льстиво, восхищается его деловитостью; боится она, должно быть, и насмешливых глаз Алексея, ласково шутит с ним, перешептывается о чем-то и часто делает ему подарки: в день именин подарила фарфоровые часы с фигурками овец и женщиной, украшенной цветами; эта красивая, искусно сделанная вещь всех удивила.

— За долг у меня остались часы, всего за три целковых, старинные они, не ходят, — объяснила мать. — Когда Алеша женится, — дом свой украсит...

«И я бы украсила», — подумалось Наталье.

Мать подробно расспрашивала о хозяйстве, скучно поучала:

— По будням салфеток к столу не давай, от усов, от бород салфетки сразу пачкаются.

На Никиту, который прежде нравился ей, она смотрела, поджимая губы, говорила с ним, как с приказчиком, которого подозревают в чем-то нечестном, и предупреждала дочь:

— Ты смотри, не очень привечай его, горбатые — хитрые.

Не один раз Наталья хотела пожаловаться матери на мужа за то, что он не верит ей и велел горбуну сторожить ее, но всегда что-то мешало Наталье говорить об этом.

Но всего хуже, когда мать, тоже обеспокоенная тем, что Наталья не может родить мальчика, расспрашивает ее о ночных делах с мужем, расспрашивает бесстыдно, не прикрыто, ее влажные глаза, улыбаясь, щурятся, пониженный голос мурлыкает, любопытство ее тяжело волнует, и Наталья рада слышать вопрос свекра:

— Сватья, лошадь запрячь?

— Я бы лучше пешечком прошлась.

— Ладно: я тебя провожу.

Муж задумчиво говорит:

— Умный человек теща: ловко отца держит. При ней он мягче с нами. Ей бы дом свой продать, да к нам перебраться.

— Не надо этого, — хочет сказать Наталья, но не смеет и еще больше обижается на мать за то, что та любима и счастлива.

Сидя у окна в сад или в саду с шитьем в руках, она слышит отрывки беседы Тихона с Никитой, они возятся за ягодником у бани и сквозь мягкий шумок фабрики просачиваются спокойные слова дворника:

— Скука от людей; скучатся они в кучу и начинается скука.

«Как верно!» — думает Наталья, но приятный голос Никиты увещевает:

— Заговариваешься ты. А—хороводы, игры? Без людей—веселья нет.

«И это верно», — удивляясь, соглашается женщина.

Она видит, что все вокруг ее говорят уверенно, каждый что-то хорошо знает, она именно видит, как простые твердые слова, плотно пригнанные одно к другому, отгораживают каждому человеку кусок какой-то крепкой правды, люди и отличаются словами друг от друга и украшают себя ими, побрякивая, играя словами, как золотыми и серебряными цепочками своих часов. У нее нет таких слов, ей не во что одеть свои думы и, неуловимые, мутные, как осенний туман, они только тяготят ее, она тупеет от них, все чаще думая, с тоской и досадой:

«Глупа я, ничего не знаю, не понимаю...»

— Медведь, — значит — ведун, ведает, где мед, — бормочет Тихон в кустах малины.

«Так и есть», — думает Наталья и, вздрогнув, вспоминает, как Алексей убил ее любимца: до тринадцати месяцев медведь бегал по двору, ручной и ласковый, как собака, влезал в кухню и, становясь на задние ноги, просил хлеба, тихонько урча, мигая смешными глазами. Он был весь смешной, добрый и понимающий доброту. Его все любили, Никита ухаживал за ним, расчесывая комья густой, свалявшейся шерсти, водил его купать в реку и медведь так полюбил его, что когда Никита уходил куда-либо, зверь, подняв морду, тревожно нюхал воздух, фыркая бегал по двору, ломился в контору, комнату своего пестуна, неоднократно выдавливал стекла в окне, выламывал раму. Наталья любила кормить его пшеничным хлебом с патокой, он сам научился макать куски хлеба в чашку патоки; радостно рыча, покачиваясь на мохнатых ногах, совал хлеб в розовую, зубастую пасть, обсасывал липкую, сладкую лапу, его добродушные глазенки счастливо сияли, и он тыкал башкой в колени Наталии, вызывая ее играть с ним. С этим милым зверем можно было говорить, он уже что-то понимал.

Но однажды Алексей напоил его водкой, пьяный медведь плясал, кувыркался, залез на крышу бани и, разбирая трубу, стал скатывать кирпичи вниз: собралась толпа рабочих и хохотала, глядя на него. С того дня, почти каждый праздник, Алексей, на потеху людям, стал поить медведя, и зверь так привык пьянствовать, что гонялся за всеми рабочими, от которых пахло вином, и не давал Алексею пройти по двору без того, чтобы не броситься к нему. Его посадили на цепь, но он разломал свою конуру и с цепью на шее, с бревном на другом конце ее, стал ходить по двору, размахивая лапами, мотая башкой. Его хотели поймать, он оцарапал ногу Тихона, сбил с ног молодого рабочего Морозова и ушиб Никиту, хватив его лапой по бедру. Тогда прибежал Алексей с рогатиной, он с разбега воткнул ее в живот зверя, Наталья видела из окна, как медведь осел на задние ноги и замахал лапами, он как бы прощенья просил у людей, разъяренно кричавших вокруг него. Кто-то угодливо сунул в руки Алексея острый, плотничный топор, припрыгивая, остробородый деверь, ударил его по лапе, по другой, медведь рявкнул, опустился на изрубленные лапы, из них направо и налево растекалась кровь, образуя на утоп-

танной земле густо красные пятна. Жалобно рыча, зверь подставил голову под новый удар топора, тогда Алексей, широко раскорячив ноги, всадил топор в затылок медведя, как в полено, медведь ткнулся мордой в кровь свою, а топор так глубоко завяз в костях, что Алексей, упираясь ногою в мохнатую тушу, едва мог вырвать топор из черепа. Жалко было медведя, но еще более жалко было знать, что бесстрашный, ловкий, веселый озорник-деверь путается с какой-то ничтожной девчонкой, а ее, Наталью, не видит.

Деверя все хвалили за ловкость, за храбрость; свекор, похлопывая его по плечу, кричал:

— А говоришь — больной? Ах, ты...

Никита убежал со двора, а Наталья так плакала, что муж удивленно и с досадой спросил ее:

— Ну, а если человека убьют при тебе, что ж ты тогда будешь делать?

И, как на маленькую, крикнул:

— Перестань, дура!

Ей показалось, что он хочет ударить, и, сдерживая слезы, она вспомнила первую ночь с ним,—какой он был тогда сердечный, робкий. Вспомнила, что он еще не бил ее, как бьют жен все мужья, и сказала, сдерживая рыдания:

— Прости, жалко очень.

— Жалеть надо меня, а не медведя, — ответил он негромко и уже ласковее.

Когда она впервые пожаловалась матери на суровость мужа, та, памятно, сказала ей:

— Мужик — пчела, мы для мужика — цветы, он с нас мед собирает, это надо понимать, надо учиться терпеть, милок. Мужики — всем владычат, у них забот больше нашего, они вон строят церкви, фабрики. Ты гляди, что свекор-то на пустом месте настроил...

Илья Артамонов все более бешено торопился развить и укрепить свое дело, он, как будто, предчувствовал, что срок его — не велик. В мае, незадолго до Николина дня, прибыл для второго корпуса фабрики паровой котел, его привезли на барке, причалившей к песчаному берегу Оки, там, где в нее лениво втекала болотная вода зеленой Ватаракши. Предстояла трудная работа: котел надо было тащить сажен полтораста по песчаному грунту. В Николин день Артамонов устроил для рабочих сытный, праздничный обед с водкой, брагой: столы были накрыты на дворе, бабы украсили его ветками елей, берез, пучками первых цветов весны и сами нарядились пестро, как цветы. Хозяин с семьей и немногими гостями сидел за столом среди старых ткачей, солоно шутил с дерзкими на язык шпульницами, много пил, искусно подзадоривал людей к веселью и, распахивая рукою поседевшую бороду, кричал возбужденно:

— Эх, ребята! Али не живем?

Им, его повадкой любовались, он чувствовал это и еще более пьянел от радости быть таким, каков есть. Он сиял и сверкал, как этот весенний

солнечный день, как вся земля, нарядно одетая юной зеленью трав и листьев, дымившаяся запахом берез и молодых сосен, поднявших в голубое небо свои золотистые свечи, — весна в этом году была ранняя и жаркая, уже расцветала черемуха и сирень. Все было празднично, все ликовало; даже люди в этот день тоже как будто расцвели всем лучшим, что было в них.

Древний ткач Борис Морозов, маленький, хилый старичок, с восковым личиком, уютно спрятанным в седой, позеленевшей бороде, белый весь и вымытый, как покойник, встал, опираясь о плечо старшего сына, мужика лет шестидесяти, и люто кричал, размахивая костяной, без мяса, рукою:

— Глядите, — девяносто лет мне, девяносто с лишком, на-те-ко! Солдат, Пугача бил, сам бунтовал в Москве, в чумной год, да-а! Бонапарта бил...

— А ласкал кого? — кричал Артамонов в ухо ему, ткач был глух.

— Двух жен, кроме прочих. Гляди: семь парней, две дочери, девятнадцать внучат, пятеро правнуков, — эко наткал! Вон они, все у тебя живут, вона — сидят...

— Давай еще! — кричал Илья.

— Будут. Трех царей, да царицу пережил — на-те-ко! У скольких хозяев жил, все примерли, а я — жив! Версты полотен наткал. Ты, Илья Васильев, настоящий, тебе долго жить. Ты — хозяин, ты дело любишь и оно тебя. Людей не обижаешь. Ты — нашего дерева сук, — катай! Тебе удача — законная жена, а не любовница: побаловала, да и нет ее! Катай во всю силу. Будь здоров, брат, вот что! Будь здоров, говорю...

Артамонов схватил его на руки, приподнял, поцеловал, растроганно крича:

— Спасибо, робенок! Я тебя управляющим сделаю...

Люди орали, хохотали, а старый, пьяненький ткач, высоко поднятый над ними, потрясал в воздухе руками скелета и хихикал визгливо:

— У него — все по-своему, все не так...

Ульяна Баймакова, не стыдясь, вытирала со щек слезы умиления.

— Сколько радости, — сказала ей дочь.

Она, сморкаясь, ответила:

— Такой уж человек, на радость и создан господом...

— Учись, ребята, как надо с людями жить! — кричал Артамонов детям. — Гляди, Петруха!

После обеда, убрав столы, бабы завели песни, мужики стали пробовать силу, тянулись на палке, боролись. Артамонов, всюду поспевая, плясал, боролся; пировали до рассвета, а с первым лучом солнца человек семьдесят рабочих во главе с хозяином шумной ватагой пошли, как на разбой, на Оку, с песнями, с посвистом, хмельные, неся на плечах толстые катки, дубовые рычаги, веревки, за ними ковылял по песку старенький ткач и бормотал Никите:

— Он своего добьется! Он? Я зна-аю...

Благополучно сгрузили с барки на берег красное тупое чудовище похожее на безголового быка: опутали его веревками и, ухая, рыча, дружно повезли на катках по доскам, положенным на песок: котел покачивался двигаясь вперед, и Никите казалось, что круглая глупая пасть котла разверзлась удивленно пред веселой силою людей. Отец, хмельной, тоже помогал тащить котел, напряженно покрикивая:

— Потише, эй, потише!

И, хлопая ладонью по красному боку железного чудовища, приговаривал:

— Пошел, котел, пошел!

Меньше полусотни сажен осталось до фабрики, когда котел покачнулся особенно круто и, не спеша, съехал с переднего катка, ткнувшись в песок тупой мордой. Никита видел, как его круглая пасть дохнула в ноги отца серой пылью. Люди сердито облепили тяжелую тушу, пытаясь подсунуть под нее каток, но они уже выдохлись, а котел упрямо влип в песок и, не уступая усилиям их, как будто зарывался все глубже. Артамонов с рычагом в руках возился среди рабочих, покрикивая:

— Молодчики, берись дружней! О-ух...

Котел нехотя пошевелился и снова грузно осел, а Никита увидал, что из толпы рабочих вышел незнакомой походкой отец, лицо у него было тоже незнакомое, шел он, сунув одну руку под бороду, держа себя за горло, а другой щупал воздух, как это делают слепые; старый ткач, припрыгивая вслед за ним, покрикивал:

— Земли поешь, земли...

Никита подбежал к отцу, тот, икнув, плюнул кровью под ноги ему и сказал глухо:

— Кровь...

Лицо его посерело, глаза испуганно мигали, челюсть тряслась и все его большое, умное тело испуганно сжалось.

— Ушибся? — спросил Никита, схватив его за руку.

Отец пошатнулся на него, толкнул и ответил негромко:

— Пожалуй, — жила лопнула...

— Земли поешь, говорю...

— Отстань, — уйди!

И снова обильно плюнув кровью, Артамонов пробормотал с недоумением:

— Текет. Где Ульяна?

Горбун хотел бежать домой, но отец крепко держал его за плечо и, наклонив голову, шаркал по песку ногами, как бы прислушиваясь к шороху и скрипу, едва различимому в сердитом крике рабочих.

— Что такое?—спросил он и пошел к дому, шагая осторожно, как по жердочке над голубокой рекою.

Баймакова прощалась с дочерью, стоя на крыльце. Никита заметил, что когда она взглянула на отца, ее красивое лицо странно, точно колесо, все повернулось направо, потом налево и поблекло.

— Льду давайте, — закричала она, когда отец, неумело подогнув ноги, опустился на ступень крыльца, все чаще икая и сплевывая кровь. Как сквозь сон, Никита слышал голос Тихона:

— Лед — вода; водой крови не заменить...

— Земли пожевать надо...

— Тихон, скачи за попом...

— Поднимайте, несите, — командовал Алексей. Никита подхватил отца под локоть, но кто-то наступил на пальцы ноги его так сильно, что он на минуту ослеп, а потом глаза его стали видеть еще острей, запоминая с болезненной жадностью все, что делали люди в тесноте отцовой комнаты и на дворе. По двору скакал Тихон на большом черном коне, не в силах справиться с ним, конь не шел в ворота, прыгал, кружился, вскидывая злую морду, разгоняя людей,—его, должно быть, пугал пожар, ослепительно зажженный в небе солнцем; вот он, наконец, выскочил, поскакал, но перед красной массой котла шарахнулся в сторону, сбросив Тихона и возвратился во двор, храпя, взмахивая хвостом.

Кто-то кричит:

— Мальчишки, бегом!..

На подоконнике, покручивая темную, острую бородку, сидит Алексей, его нехорошее, не мужицкое лицо заострилось и точно пылью покрыто, он смотрит не мигая, через головы людей на постель, там лежит отец, говоря не своим голосом:

— Значит — ошибся. Воля божия. Ребята, приказываю: Ульяна вам вместо матери, слышите? Ты, Уля, помоги им Христа ради. Эх! Вышлите чужих из горницы...

— Молчи ты, — протяжно и жалобно стонет Баймакова, всовывая в рот ему кусочки льда. — Нет здесь чужих.

Отец глотает лед и, нерешительно вздыхая, говорит:

— Греху моему вы не судьи, а она не виновата. Наталья, суров я был с тобой, ну, ничего. Мальчишек. Петруха, Олеша — дружно живите. С народом поласковей. Народ — хороший. Отборный. Ты, Олеша, женись на этой, на своей... ничего!

— Батюшка, не оставляй нас, — просит Петр, опускаясь на колени, но Алексей толкает его в спину, шепчет:

— Что ты? Не верю я...

Наталья рубит кухонным ножом лед в медном тазу, хрустящие удары сопровождает лязг меди и всхлипывания женщины. Никите видно, как ее слезы падают на лед. Желтенький луч солнца проник в комнату, отразился в зеркале и бесформенным пятном дрожит на стене, пытаясь стереть фигуры красных, длинноусых китайцев на синих, как ночное небо, обоях.

Никита стоит у ног отца, ожидая, когда отец вспомнит о нем. Баймакова то расчесывает гребнем густые, курчавые волосы Ильи, то отирает салфеткой непрерывную струйку крови в углу его губ, капли пота на лбу и на висках, она что-то шепчет в его помутневшие глаза, шепчет го-

рячо, как молитву, а он, положив одну руку на плечо ей, другую на колено, отяжелевшим языком ворочает последние слова:

— Знаю. Спаси тебя Христос. Хороните на своем, на нашем кладбище, не в городе. Не хочу там, ну их...

И с великой кипящей тоскою, он шептал:

— Эх, ошибся я, господи... Ошибся...

Пришел высокий сутулый священник с христовой бородкой и грустными глазами:

— Погоди, батя, — сказал Артамонов и снова обратился к детям: — Ребята, не делитесь! Живите дружно. Дело вражды не любит. Петр, — ты старший, на тебе ответ за все, слышишь? Уходите...

— Никита, — напомнила Баймакова.

— Никиту — любите. Где он? Идите. После... И Наталья...

Он умер, истек кровью, после полудня, когда солнце еще благостно сияло в зените. Он лежал, приподняв голову, нахмуря восковое лицо, оно было озабочено, и неплотно прикрытые глаза его как будто задумчиво смотрели на широкие кисти рук, покорно сложенных на груди.

Никите казалось, что все в доме не так огорчены и напуганы этой смертью, как удивлены ею. Это тупое удивление он чувствовал во всех, кроме Баймаковой, — она молча, без слез сидела около усопшего, точно замерзла, глухая ко всему, положив руки на колени, неотрывно глядя в каменное лицо, украшенное снегом бороды.

Петр вытянулся, говорил излишне и неуместно громко, входя в комнату, где лежал отец и, попеременно с Никитой, толстая монахиня выпевала жалобы псалтыря; Петр вопросительно заглядывал в лицо отца, крестился и, минуты две, три постояв, осторожно уходил, потом его коренастая фигура мелькала в саду, на дворе, и казалось, что он чего-то ищет.

Алексей хлопотливо суетился, устраивая похороны, гонял лошадь в город, возвращался оттуда, вбегал в комнату, спрашивал Ульяну о порядке похорон, о поминках.

— Погоди, — говорила она, и Алексей исчезал потный, усталый. Приходила Наталья, робко и жалостливо предлагала матери выпить чаю, поесть; внимательно выслушав ее, мать говорила:

— Погоди.

Никита при жизни отца не знал, любит ли его, он только боялся, хотя боязнь и не мешала ему любоваться воодушевленной работой человека, неласкового к нему и почти не замечавшего—живет ли горбатый сын? Но теперь Никите казалось, что он один по-настоящему, глубоко любил отца, он чувствовал себя налитым мутной тоскою, безжалостно и грубо обиженным этой внезапной смертью сильного человека; от этой тоски и обиды ему даже дышать трудно было. Он сидел в углу, на сундуке, ожидая своей очереди читать псалтырь, мысленно повторял знакомые слова псалмов и оглядывался. Теплый сумрак наполнял комнату, в нем колебались желтенькие, живые цветы восковых свечей. По стенам фокусно

лепились длинноусые китайцы, неся на коромыслах цыбики чая, на каждой полосе обоев было восемнадцать китайцев по два в ряд, один ряд шел к потолку, а другой опускался вниз. На стену падал масляный свет луны, в нем китайцы были бойчее, быстрей шли и вверх и вниз.

Вдруг сквозь однотонный поток слов псалтыря Никита услыхал негромкий настойчивый вопрос:

— Да неужто помер? Господи?

Это спросила Ульяна, и голос ее прозвучал так поражающе горестно, что монахиня, прервав чтение, ответила виновато:

— Умер, матушка, умер по воле божией...

Стало совершенно невыносимо, Никита поднялся и шумно вышел из комнаты, унося нехорошую, тяжелую обиду на монахиню.

У ворот, на скамье, сидел Тихон: отламывая пальцами от большой щепы маленькие щепочки, он втыкал их в песок и ударами ноги загонял их глубже, так, что они становились не видны. Никита сел рядом, молча глядя на его работу; она ему напоминала жуткого городского дурачка Антонушку: этот лохматый темнолицый парень, с вывороченной в колене ногою, с круглыми глазами филина, писал палкой на песке круги, возводил в центре их какие-то клетки из щепочек и прутьев, а выстроив что-то, тотчас же давил свою постройку ногою, затирал песком, пылью и при этом пел гнусаво:

Хиристос воскиресе, воскиресе!
Кибитка потерял колесо.
Бутырма, бай, бай, бустарма,
Баю, баю, бай, Хиристос.

— Дело-то какое, а? — сказал Тихон, хлопнув себя по шее, убил комара; вытер ладонь о колено, поглядел на луну, зацепившуюся на сучок ветлы над рекою, потом остановил глаза свои на мясистой массе котла.

— Рано в этом году комар родился,—спокойно продолжал он.—Да, вот, комар живет, а...

Горбун, чего-то боясь, не дал ему кончить, сердито напомнив:

— Да ведь ты убил комара.

И поспешно ушел прочь от дворника, а через несколько минут, не зная, куда девать себя, снова явился в комнате отца, сменил монахиню и начал чтение. Вливая в слова псалмов тоску свою, он не слышал, когда вошла Наталья, и вдруг за спиной его раздался тихий плеск ее голоса. Всегда, когда она была близко к нему, он чувствовал, что может сказать или сделать нечто необыкновенное, может быть, страшное, и даже в этот час боялся, что помимо воли своей, скажет что-то. Нагнув голову, приподняв горб, он понизил сорвавшийся голос и тогда, рядом со словами девятой кафизмы, потекли всхлипывающие слова двух голосов:

— Вот, — крест нательный сняла с него, буду носить.

— Мама, родная, ведь и я тоже одна.

Никита снова поднял голос, чтоб заглушить, не слышать этот влажный шопот, но все-таки вслушивался в него.

— Не стерпел господь греха...

— В чужом гнезде одна...

— «Камо гряду от лица твоего и от гнева твоего камо бегу?» — старательно выпевал Никита вопль страха, отчаяния, а память подсказывала ему печальную поговорку:

«Не любя жить — горе, а полюбишь — вдвое», и он смущенно чувствовал, что горе Натальи светит ему надеждой на счастье.

...Утром из города приехали на дрожках Барский и городской голова Яков Житейкин, пустоглазый человек, по прозвищу «недожаренный», кругленький и, действительно, сделанный как бы из сырого теста; посетив усопшего, они поклонились ему и каждый из них заглянул в потемневшее лицо боязливо, недоверчиво, они, видимо, тоже были удивлены гибелью Артамонова. Затем Житейкин кусающим, едким голосом сказал Петру:

— Слышно, будто хотите вы схоронить родителя на своем кладбище, так ли, нет ли? Это, Петр Ильич, нам, городу, обида будет, как будто вы не желаете знаться с нами и в дружбе жить не согласны, так ли, нет ли?

Скрипнув зубами, Алексей шепнул брату:

— Гони их.

— Кума, — гудел Барский, налезая на Ульяну. — Как же это? Обидно.

Житейкин допрашивал Петра:

— Это не поп ли Глеб насоветовал вам? Нет, вы это отмените, батюшка ваш первый фабрикант по уезду, зачинатель нового дела, — лицо и украшение города. Даже исправник удивляется, спрашивал: православные ли вы?

Он говорил непрерывно, не замечая попыток Петра прервать его речь, а когда Петр сказал, наконец, что такова воля родителя, Житейкин сразу успокоился:

— Так ли, нет ли, — хоронить мы приедем.

И всем стало ясно, что он не за тем приехал, о чем говорил. Он отправился в угол комнаты, где Барский, прижав Ульяну к стене, что-то бормотал ей, но, раньше чем Житейкин успел подойти к ним, Ульяна крикнула:

— Дурак ты, кум, уйди!

У нее дрожали губы и брови, заносчиво подняв голову, она сказала Петру:

— Эти двое и Помялов с Воропоновым просят меня уговорить вас, братьев, продать им фабрику, деньги мне дают за помощь...

— Уйдите... господа! — сказал Алексей, указывая на дверь.

Покашливая, улыбаясь, Житейкин направил Барского к двери, толкая его под локоть, а Баймакова, опустясь на сундук, заплакала, жалуясь:

— Память о человеке хотят стереть...

Алексей, глядя на лицо Артамонова, сказал торжественно и зло:

— Хуже буду, а таким, как эти, — не стану жить. Лучше башку себе разобью.

— Нашли время для торговли,—проворчал Петр, тоже косясь на отца.

Подойдя к Никите, Наталья тихонько спросила его:

— А ты что молчишь?

Он был тронут тем, что о нем вспомнили, он был обрадован, что вспомнила Наталья, и, не сдержав улыбку радости, он сказал тоже тихо:

— Что же я... Мы с тобой...

Но женщина задумчиво отошла от него.

На похороны Ильи Артамонова явились почти все лучшие люди города, приехал исправник, высокий, худощавый с голым подбородком и седыми баками, величественно прихрамывая, он шагал по песку рядом с Петром и дважды сказал ему одни и те же слова:

— Покойник был отлично рекомендован мне его сиятельством князем Георгием Ратским и рекомендацию эту совершенно оправдал.

Но вскоре заявил Петру:

— Носить покойников в гору тяжело!

Сказал и, боком выбравшись из толпы, туго поджав бритые губы, встал под сосною в тень, пропуская мимо себя, как солдат на параде, толпу горожан и рабочих.

День был яркий, благодатно сияло солнце, освещая среди жирных пятен желтого и зеленого пеструю толпу людей; она медленно всползала среди двух песчаных холмов на третий, уже украшенный не одним десятком крестов, врезанных в голубое небо и осененных широкими лапами старой, кривой сосны. Песок сверкал алмазными искрами, похрустывая под ногами людей, над головами их волновалось густое пение попов, сзади всех шел, спотыкаясь и подпрыгивая, дурачок Антонушка; круглыми глазами без бровей он смотрел под ноги себе, нагибался, хватая тоненькие сучки с дороги, совал их за пазуху и тоже пронзительно пел:

Хиристос воскиресе, воскиресе,
Кибитка потерял колесо...

Благочестивые люди били его, запрещая петь это, и теперь исправник, погрозив ему пальцем, крикнул:

— Цыц, дурак...

В городе Антонушку не любили, он был мордвин или чуваш и поэтому нельзя было думать, что он юродивый Христа ради, но его боялись, считая предвозвестником несчастий, и когда, в час поминок, он явился на двор Артамоновых и пошел среди поминальных столов, выкрикивая нелепые слова:

— Куятыр, куятыр, — чорт на колокольню, ай, яй, дождик будет, мокро будет, каямас черненько плачет! — некоторые из догадливых людей перешепнулись:

— Ну, значит, Аратамоновым счастья не будет.

Петр уловил этот шопот. А через некоторое время он увидал, что Тихон Вялов прижал дурачка в углу двора, и услышал спокойные, но пытливые вопросы дворника:

— Это что будет — каямас? Не знаешь? На! Пошел прочь! Ну, ну, иди...

...Быстро, как осенний, мутный поток с горы, скользнул год; ничего особенного не случилось, только Ульяна Баймакова сильно поседела и на висках у нее вырезались печальные лучики старости. Очень заметно изменился Алексей: он стал мягче, ласковее, но в то же время у него явилась неприятная торопливость, он как-то подхлестывал всех веселыми шуточками, острыми словами, и особенно тревожило Петра его дерзкое отношение к делу, казалось, что он играет с фабрикой так же, как играл с медведем, которого потом сам же и убил. Было странно его пристрастие к вещам барского обихода; кроме часов, подарка Баймаковой, в комнате его завелись какие-то ненужные, но красивенькие штучки, на стене висела вышитая бисером картина—девичий хоровод. Алексей был бережлив, зачем же он тратит деньги на пустяки? Он и одеваться стал модно, дорого. Холил свою темную, остренькую бородку, брил щеки и все более терял простое, мужицкое. Петр чувствовал в двоюродном брате что-то очень чужое, неясное, он незаметно, недоверчиво присматривался к нему и недоверие все возрастало.

Петр относился к делу осторожно, опасливо, так же, как к людям. Он выработал себе неторопливую походку и подкрадывался к работе, прищуривая медвежьи глаза, как бы ожидая, что то, к чему он подходит, может ускользнуть от него. Иногда, уставая от забот о деле, он чувствовал себя в холодном облаке какой-то особенной, тревожной скуки и в эти часы фабрика казалась ему каменным, но живым зверем, зверь приник, прижался к земле, бросив на нее тени, точно крылья, подняв хвост трубою, морда у него тупая, страшная, днем окна светятся, как ледяные зубы, зимними вечерами они железные и докрасна раскалены от ярости. И кажется, что настоящее, скрытое дело фабрики не в том, чтоб наткать версты полотна, а в чем-то другом, враждебном Петру Артамонову...

. . . .

Повествование жизни Макара Мартецова.

Алексей Югов.

Чудна может показаться история моя, поелику верования жизни моей не знаете, и душа моя для вас темна есть.

Но, ежели интересуетесь, то извольте слушать, когда благодостоен с вами побеседовать...

На служительскую должность свою при анатомии попал я наиболее чудесно.

Обретался я дотоле четыре года в Москве, хотя я, можно сказать, природная деревня, и в Москву явился—пошехонец.

Как водится, не мало я сперва колотушек на загорбке понес, похолодал и поголодал, медом и акридами питался.

Долго ли, коротко ли, про скуку жизни моей знать вам не лестно, но пошла моя судьба на повышение. Еще и в детстве, бывало, — другие над букварем зря темя трудят, а меня уже тянет на высшее...

Попадаю я в Чичкина молочную, а там и далее возвысился через одного эконома...

За то, что по совести служил, меня почитали.

Конечно, те люди упали теперь, и, может, — не ко времени об них вспоминать!.. А часто, как вспомнишь: какой эдем райский была жизнь ихняя, — то и подумаешь: никто, видно, не знает, какой ему может произойти мотив жизни...

На песце воздвигли дом свой!..

Служивал я у графа Шереметьева и у графа Шувалова и у Кумаиева — издателя «Московского Листка».

Кто только к нам ни наезжал?!.

Их сиятельства, и превосходительства, и министры. Сам Финанцев-Коковцев! А также — присяжный поверенный Поплевако!..

Не покинул бы такой службы во-век, но пострадать пришлось за верность свою к делу препорученному...

Взяли меня тогда к Ивану Ивановичу в имение, — почти что за управляющего.

Приехал я туда, день-другой поприсматривался и вижу: прут имущество—почем зря!

Передача работает полным ходом, даром что—посторонним лицам строго воспрещается.

Решил я тогда подкараулить и представить с поличным... Ну-с.. коротко говоря, — подкараулить-то я подкараулил — ночью было дело — но лучше бы и не надо: измолотили меня под стенкой до полного бесчувствия.

Теперь — что из этого вышло?

Добрался я насилу до коморки своей, слег в постель и очень два дня скудался.

На третий день прибегают за мной от графа.

Я его карахтерность хорошо знал, и, потому, поспешаю немедля.

Граф на веранде сидели с гостем; кофею, как видно, напились и сигары раскуривают.

Гость этот — профессор Пестерев. Не в молодых уж годах.

Аригинальный был профессор! Все, бывало, от него прячутся. А то— поймает какую-нибудь барышню, — той — невтерпеж: надо на лодке с кавалером плыть, или, там, — в ловун-тянись поиграть, а он пристанет!

— Я, говорит, новый стих сочинил, — прошу прослушать!..

И одна девица отрезала ему напрямик:

— Ваша обязанность — лекцию читать, а стихи вы не можете — и приводит ему из басни...

Так, верите ли, чуть не заплакал профессор!

— Может быть, говорит, я не на свою путь попал?!.

Ладно. Остановился, значит, я у лесенки, на веранду не лезу.

Граф меня позвал:

— Пойди сюда, Мартецов!

Я поднялся.

К слову сказать, скверная у графа была привычка: постороннего человека не стыдился: начнет кастерить, — при ком угодно!

— Так-то, говорит, Макар Петрович?!. Не ожидал я, что ты над моим доверием посмеешься!..

Расходится, расходится граф, но я молчу.

Он кричать начинает:

— Ты, Мартецов, больным прикидываешься, но я про эту болезнь из верных уст знаю! Любовь свою с хозяйским добром через стену пересаживал, да другие—ребра намяли?. Эх, ты! Свинья под дубом! Завтра же в расчет!..

Хотел я ему возразить, что, действительно, посещала меня вдова Василиса, когда я в балагане спал, но что это все—одно, что жена, поелику в кратчайшее время должны мы с ней венец принять.

Но ничего я не сказал: перехватило мне горло. Катится обидная слеза, и не могу я ее никак сглонуть!

Повернулся я уходить.

Тут граф ко мне подбежал:

— Постой, Мартецов! Здесь что-то не так? Не таков ты был служака...

И здесь я ему всю истину объяснил.

Поверил он мне, зазрила, видно, совесть и стал он меня улещать, наградные сулить, но я отказался и пожелал расчет.

— Хотел бы, говорю, только просить Вашего сиятельства, соотносительно положения тяжелого насчет устройства меня в казенную должность, где не пришлось бы мне каждодневно жизни своей лишаться!..

Покудова между нами эти реверсии происходили, профессор Пестерев смотрел и, только граф собрался мне отвечать, — вдруг он загундел себе под нос:

— Макар Петрович Мартецов...

Я думаю, зовет он меня, — устремляюсь к нему, но он далее продолжает. Поигрывает штопором по скатертке и напевает:

Макар Петрович Мартецов,—
Ему бы резать мертвецов!..

Это, видите ли, на фамилию мою он уже стих составил!

Спел и засмеялся, радуется, как ребенок малый. Обращается к графу:

— Здорово, Иван Иванович? А?!.

И еще повторяет.

Граф смеется в ответ, а Пестерев-профессор не унимается.

— Знаешь, говорит, а мне идея пришла! Возьму я Мартецова к себе служителем? А?!. Очень уж у него фамилия...

И что же вы думаете?!. на другой же день забрал меня профессор в наш город...

Еду я в вагоне и думаю: «Ведь—вот трагидию Бог насылает, и трагидию Бог отымает! Не за одну ли фамилию в анатомические служителя попал»?!.

...Здесь получился для меня совсем иной этаж жизни...

Душа - человек был Пестерев - профессор! и прозектор Андриан Карлович — тоже смиренный. Легко было в службу входить.

Понятно, с первых времен начудесил я не мало.

К примеру сказать, — профессор Пестерев все время черепа мерял: и горохом-то насыпал и водой наливал, понятно,—все дыры сперва промазкой замажет.

Вот и насмелился я его спросить: к чему он столько черепов меряет.

Он отсчитывал по мензурке, — чего-то мне помекал-помекал, — толком не объяснил.

«Дай,—думаю,—спрошу у Архипа».

Архип наш двадцать пять лет на паратней стоит, книгами торгует и от скуки всю медицину прошел.

— Какие, — спрашиваю, — профессор наш пологие антры меряет?!.

Архип хохочет:

— Деревня! Ан-тро-по-ло-гия! — наука такая.

— Да, для чего скелеты и черепа вымеривать?

— Ну, это, говорит, тебе не понять! Для воинской службы государства необходимо, и так и далее...

Пестерев - профессор с первых дней поставил меня на грязную работу, чтобы ввести в курс должности: велел одну толстенную бабу на срезы пилить. Она уже воссмердела, и работать было отвратно!

Но дело не в том.

Начал я пилить и вдруг ударяет мне в мысли.

Прибегаю к профессору:

— Не могу, господин профессор, сотворять такого дела!

— Чего?!.

— Не по христианству! Как же те часточки тела христианского, на пол упавшие, могут без отпетия остаться?!.

Закричал на меня профессор:

— Убирайся отсюдова! Ишь начетчик выискался! Я директор института, — я за все отвечаю!

На том я успокоился.

Правду сказать, строгий и богочтивый был профессор!

В препаровочную, как войдет, бывало,—муха пролетит, и то слышно!

Случилось у нас, — это уж, конечно, я вперед заскакиваю, — уже при Керенском жили, — один студентик несчастный закатился вечером в препаровочную в шапке, подошел к столу, где группа работает, заглянул, да и скажи:

— Ишь, буржуй, сколько жиру наел! — это на труп-то!

Как профессор Пестерев обернется, не заметил, что ли, его студент— как завизжит, затопает!

— Что?!. Кто?!. Нахал! Шапку снять — здесь трупы лежат!!!

А тому — какой там шапку?!. Шомпул свой бросил, с которым заместо тросточки гулял, и подай Бог ноги!

Профессор — за ним. А он—от него! Выскочили на вестибюль; а там профессор Коровин калоши одевал, — студент на Коровина! Вышиб его из калошей и—в паратную—на двор!

Коровин тоже присоединяется: за ним! И швейцар Архип—третий... Погнались с квартал, — ну, где там!

На дворе—ночь, слякоть, а студенту—что?!.

Так и не узнали студента!..

Не любил также профессор, когда студентки нежность свою соблюдали. И действительно. Другая прийдет в анатомку, — сумочка у ней с одеколончиком: вокруг себя и на ручки попрыскает, тогда к трупу подходит. И все наровит «кошкой» да пинцетиком подхватить.

А профессор, когда занимается с ними,—возьмет и нарочно кишку из трупа вытянет, попросит студентку палец согнуть и кишку на пальчик ей оденет.

— Пожалуйста, — говорит, — сударыня, рассмотрите! — дуаденум.

А та, хотя и—биричка, чистосточка, но против профессора не смеет пикнуть!

... Скоро я всему научился. Кости мацерировать, в хлорной извести белить и скелеты из них вязать, и всякой препаровке.

Насчет костей скажу: возьмите вы самые мелконькие: ос люнатум или ос навикуляре и бросьте в воздух,—я вам на лету отличу: какая и с какой даже руки!

А это—не всякий доктор может!..

Стал я за кости и за скелеты деньги охабачивать: когда экзамены приходят, — студенты, как мыши, начинают шнырить: «Макар, дай косточку!»

А кто побогаче, — заказывает целый скелет связать...

Имел я надежду, хотя и скрывал ото всех: выписать к себе Василису и пожениться. Жалел я ее очень. Для этого и деньги копил.

И не чуял я, что должна моя жизнь скоро пополам треснуть!

Написал я одному хорошему человеку в имение письмо. Жду ответ. Приносит почталион письмо. И пишет мне тот верный человек, что, конечно, моя свободная воля, но только Василиса слывет по заводу за первую плешницу...

Прибило меня письмом, как пшеницу градом.

Стал я пить...

Правду сказать, у нас в анатомке и черноризец спился бы!

Выдавали нам на фиксацию препаратов более сорока ведер чистого спирту в год. И фиксировали мы внутренности, начиная с прозектора, служителем кончая.

Работаем иногда с Андрианом Карловичем, — вот он достает мензурочку, отмеривает себе кубиков, квантум сатис, и разбавляет в треть из-под крана: это по-ихнему называлось—в треть по Ранвье.

Потом мне наливают, говоря:

— Ну-ка, Макар, прополощи аорту!..

И вот, с получки того письма, страшно я начал таким манером аорту прополаскивать!..

Коим разом посылает меня прозектор в препаровочную:

— Пройди, — говорит, — Макар, по столам и все мозги повынимай в банку!

Студенты из зала все изошли: дело было на закате солнца.

Работаю я в зале один-одинешенек, постукиваю молоточком по долотцу, и настроение мое очень даже выспреннее.

Внезапно чувствую: завернулась портянка на левой ноге и давит ногу. Сел я на тубарет и стал разуваться. Снял, понятное дело, сапог и разматываю портянку...

Теперь — уже до пальца касающее.

На ноге большой палец, ведь, у всякого известен: палец, можно сказать, самый заздравный, — не менее будет, пожалуй, как большой панок.

А по пальцу, понятно,—и ноготь.

Как полагается на ноге, и у меня большой палец—с грязцой, и, даже с хаарошей каемкой!..

Кто в сапогах ходит, — у того ноготь роговеет.

Делается, прямо, как рог: никак не сломишь!

А также, от портянки нашоркавшись, ноготь делается с блеском,— не надо тебе и зеркала!

У меня ноготь — на особицу. Могу сказать, что и теперь я от него сильно страдаю при тесной обуви: он наподобие крючка у меня согнувшись и врос в мясо.

А, также, по середке — сугорбый, и от этого, конечно, давление. Но додумайтесь вы своим умом, зачем это я, как размотал портянку, то так и уставился на ноготь свой — не разогнусь и даже дыхание зажал?!.

Да, во век вам и в голову не придет!

А увидал я на ногтю такую чудасию:

Сперва на самой середке, — будто червячек розоватенький, или сказать: телесного цвету.

Лежит он себе — извивается потихосеньку. Удивился я, правда, что откудова этот гад проник, когда я в сапогах хожу; но, между прочим, очень просто хотел его сощелкнуть!

Нагибаюсь ниже, — с нами крестная сила! — не червяк это, но совершенно голая женщина!

Лежит она на спине, разбросалась, а волосья—черные, по край ногтя достигают. И грязь по-за-ногтем—все равно, что для портрета рамка.

И хотя эта голая женщина — очень мизюрная, но всю детальность ее разглядеть можно.

Врать вам не стану: хотя испугался я, но не очень.

И сразу же у меня забота появляется: как бы ее до профессора доставить—для музейной редкости?!.

Становлю я тогда ногу, вот таким манером, на пятку, большой палец немного торчком держу, поелику ноготь у меня крючковатый.

И вот, приняв такую позицию, подвигаю левую ногу на пятке с большой осторожностью.

Правой же ногой подпихиваюсь.

Профессор в кабинете сидел, занимался.

Я дверь безо всякого спросу открываю и первым делом с женщиной палец сую вперед, остерегаясь, конечно, как бы не своротнуть женщину со склизкого ногтя. Левая нога у меня босая, а правая в сапоге.

Воззрился на меня профессор:

— Макар, обумись!.. Ты что—пьян, или с ума сошел?!.

— Никак нет!—отвечаю,—извольте взглянуть, господин профессор, какую я вам штучку принес!—показываю на ноготь.

А он—одно себе:

. — Макар, обумись!

Сильное меня зло взяло: что он, думаю, надсмехается, что ли, будто женщину не видит, или может хотят от людей скрыть, что редкость такая от простого служителя обнаружилась?!.

Наконец рассержается профессор, достает из ящика разноцветные карандаши и говорит:

— Возьми и нарисуй, что ты там видишь!.

А надо сказать на рисование у меня с детства была способность, и даже впоследствии я для прозектора всякие таблицы изображал.

Нарисовал я голую женщину в полной натуре со всей мизюрностью.

Посмотрел профессор, пожал плечами и позвонил Антона с Пашкой.

Когда те являются, велит он меня забрать и с запиской отвезти в психиатрический дом.

А мне и горя мало! Только одна забота, чтобы женщину не утратить, и всю дорогу палец торчком держу...

Не знаю — усыпили ли меня чем в психиатрическом доме, — но только просыпаюсь на утро, — никого нет. Только от ногтя — сияние...

Подержали меня еще немного и отпустили.

И что же вы думаете?!. Через такое дьявольское надо мной глумление бросил я аорту прополаскивать и возревновал к пророчествам, желая почерпнуть принцип...

Начал я тогда библию читать с сердечным прилежанием, постигая библетический смысл жизни всех народов.

Более всего — из книги премудрости Иисуса Сына Сирахова: утоляет книга сия на всякий случай жизни, содержаша всяческая к даянию или к положению воли Божией!

И узрел я: есть смысл, есть душа в человеке!

И открылися мне неосязимые пути Господни и заблудящая путь мира.

Конечно, — может, вы надо мной смеетесь, ибо все теперь возневеровали, но я не осужаю, поелику всякий, всякий повествует себе нормальность жизни.

Начавши к библии прилегать, стал я совсем другого нраву и провождения времени: не стал Мамона и беса Самодея тешить.

Люди скоро стали это замечать, и профессор Пестерев возлюбили меня в особенности.

К тому же случай подобный пришелся.

Праздновалось их двадцатипяти-летие беспорочной службы. Множество гостей собралось и изо всех городов—телеграммы.

Наш брат-служитель тоже, конечно, должен проздравить, согласно рангу. Утром Антон с Пашкой ходили, и профессор им поднес, конечно, и дал по рублю.

Но я не пошел, ибо я другое задумал.

На вечеру докладывает профессорша профессору, что пришел, мол, Мартецов тебя проздравить.

Тому не захотелось от гостей на кухню выходить.

— Зови, говорит, сюда.

Стыдно было мне при такой численности народа, но проздравил его и подношу сердечный подарок: купил я царствующую фамилию всю и внизу портрета подписал: «Сочувственно отношусь, дарствую Вам государственный портрет» и дале—подпись моя.

Прослезились они и обняли меня, а гости в ладони хлопают: тоже, ведь, и среди образованных дураки бывают...

Но, как говорится, от одного—ласка, а от другого—таска!

Подошли те самые годы.

Что ни день, то сходка студенческая, или забастовка.

— Учиться не хотим, того профессора долой, того долой! — стали студенты в аудиториях газы пущать, — пришлось лекции прекратить.

У нас — в большой анатомической наичаще всего бывали сходки.

Однажды приходит к студентам человек:

— Я, говорит, агитатор, хочу речь высказать.

— Что ж? Паспорта не спрашивают: валяй!

Залез на стол, высказал речь. А потом снял фуражку и пошел по публике:

— Пожертвуйте на вооружение!

Конечно, и тогда студенты не богатые были, но не такие обскубанные, как вы, и не пайшничали. Нажертвовали рубля два.

От крика взопревши, выходит агитатор на вестибюль и спрашивает Пашку:

— Нельзя ли напиться?

Пашка—с полным удовольствием: ведет его к нам в мацеровочную к трупам. Там достает из шкапчика чего следует и наливает ему в поломанную мензурку.

Тот хватил — понравилось. Еще! Пашка с Антоном помогают... Шкалика два раздавили и — квиты: все!

Тогда вынимает агитатор насобиранные деньги и говорит Пашке:

— Слетай, дружок, да достань на все, а также всяких причендалов!

Пашка летит — земля под ногой горит! в кою пору обернулся! Высидели и это.

Хотя сильно наклюкавшись, подымается агитатор в аудиторию и, чтобы вином не очень разило, он обращается скрозь зубы и от стенки не отходит:

— Пожертвуйте на вооружение!

Конечно, в аудиторию кое-кто новый вошел—нажертвовали еще полтинник. А затем уже с фуражкой своей Пашку послал, и тот тоже в зените!

Тогда догадываются студенты, что обмишулил их ловкий человек, — хотели Пашку побить, но, между прочим, от веселости еще сколько-то всунули.

Так они возле трупов до вечера и джигитовали!..

Дошло все дело до ректора. А ректор наш, не только что, но и губернатора мог уволить.

Был он председателем в союзе истинно-русских людей.

Призывает нас троих рабов божиих.

Пашка с Антоном — как из проруби: в два счета обратно! А краснехоньки, как из-под хлесткого веника!

Дошла моя очередь, вхожу. Ничего — с заманкой встречает, умильно:

— Как же ты, Макар, допустил такое безобразие? О тебе хорошего мнения были, а ты крамолу в анатомке подчуешь!

Вижу: он только пары разводит, — решаюсь ему настроение разбить. Пришлось приврать немного: путь правды извилистая! Зато товарищей вывез:

— Ваше превосходительство, это — совершенная напраслина. Пашка с Антоном действительно его угощали, но нарочно, чтобы он студентов на что худое не подбил, хотели его перед студентами осрамить, и чтобы он речи не мог высказать. А я совсем даже не пил.

Вижу: попал в точку.

— Так ли? — говорит, но, между прочим, стихает.

— Но ты, говорит, вот что ответь: почему ты при благочинии твоем отвергаешься союза истинно-русских людей?!.

Я памятую Иисуса Сына Сирахова: «Не ссорься с человеком сильным, дабы не впасть в руку его»... И хочу отвертеться:

— Я, говорю, ваше превосходительство, русский родился, русский и помру.

— Нет, отвечает, в таком случае ты должен в союз записаться!

Понимаю тогда, что лисьим хвостом не покрыться, — валю напрямик:

— Не могу я, ваше превосходительство, принять такого мотива, чтобы жидовских детей резиной сшибать!..

Ну!.. Что тут было! Вышиб меня из кабинета и отдает приказ: уволить Мартецова за неприличное поведение.

Благодарение нашему профессору: пошел он к нему, — насилу насилу уломал!

А признаться: такой меня абдраган пробрал, что говорили мне ребята потом, — вылетел я от него бледный, как гипис...

Кроме этого события, спокойно жилось. И всю германскую войну безвредно прожил, доколе государство наше не усунулось в звено...

Про те времена обсказывать вам нечего: всем, поди, загривок натерло и брюха подтянуло.

Потряслась земля, и многие сильные упали!

Но я окрепился духом, ибо воистину узрел, как приближается пророчество.

Начал я тогда разные веры испытывать и все сектантства:

Был я на Углевой улице, и на Дегтярной, и на Прохоровском переулке: везде учат по-разному, — каждый свое.

И не стал отвергаться православной церкви, хотя более стал пророчествам веры давать, как тому учат адвентисты седьмого дня...

... Наш город из рук в руки рвали: то те, то другие. И пришлось мне в онное время со многими спор поиметь, ибо многие заявляли, что большевики—антихристы.

Но я из пророчеств почерпнул другое.

Если вы пророчество на Гога и Магога знаете, то могли сообразить, по вашей учености, что мы являемся — Гог и Магог, как живущие за Понтом Евксинским!

Поведем мы с собою многие народы с востока, и сильная подымется битва! А впоследствии отвергнется камень горы и прикончит всю собой историю народов. Но про антихриста ни от коих мест почерпнуть не мог.

И, зная про все это, я с полной, можно сказать, приятностью к большевикам относился. Действительно, обсудить: душевное их убеждение насчет бедного народа и трудового класса!

Мало-по-малу стал я на пропаганду похаживать. Но скоро слушаю: пошли разговоры насчет того, что Бога нет: вся, дескать, сотворяющая— от великих природы!

Послушал я раз, другой, — они не перестают, я взял да и бросил всю эту ремузию!..

Дорогой мой, юнной друг! черный мой смысл, непонятный ум! не могу я сообразить государственную критику. Но можете вы почерпнуть такого положения: зачем было большевикам детальность хода православия уничтожить?!.

Посмеетесь вы надо мной, но мое такое мнение: надо бы им с церковью Христовой за ручку итти! А духовного сана не гнать, а на свою сторону переводить. И до единого бы человека все бы крестьянство в коммунистическую партию записалось! А я бы первый.

Но опять же скажу: черный мой смысл, непонятный ум!.. Да к тому же не про то у нас разговор...

В нашем городе, не столько фронты людей переводили, сколько холод да голод, брюшняк, да сыпняк!

В это время и распорядились, чтобы все трупы к нам свозить. А раз в месяц за ними грузовик прибегал и забирал всех оптом.

О нашей служительской муке лучше и не рассказывать! Кратко говоря, пришлось нам принимать мертвецов некоторое барахлишко.

Тогда уже со мной старушка поселилась, поелику трудно без бабы по хозяйству, да и стал я замечать, что на мозги вроде туман наплывает. Не дай, думаю, Бог до такой степени дойти, что—на руках-то—четки, а на уме—молодки! И поступил по апостолу Павлу: не стал разжигаться.

Постирает, пожамкает моя старуха мертвецкое барахлишко, да и—на толкучку! Кое-что на этом деле выколупывали.

И за эти-то мертвецкие тряпки пришлось мне услыхать вскоре ядовитое слово.

Беру я в морге с одного сапоги, — вдруг ассистент навертывается. Прицепился:

— Что это вы, Макар?!. Божественное-то читаете, а с мертвых не грех одежу драть?!.

Уязвил меня в самое сердце!

Ну, и отпел я его!..

— Вы, говорю, господин доктор, еще молодой, и в курс мой вам не войти! Не за что, не про что наследуют умершему, а я—сколько лет—обмыватель тел христианских?!. Что же, если и случится придавить мертвяка?!. Взяли вы в смысл, что одно возле другого кормится по соизволению Господа?!. Вот вы, господин доктор — человек образованный,— скажите: когда Самсон льва победил, — откудова он филистимлянам меду давал? — не из головы ли м е р т в о й?!. Эх, говорю, господин доктор! Молоды вы еще сообразить критику на Весьмогущественную и Величественную силу: всему зависит тайна и талан.

... Теперь, господа студенты, остается мне вам досказать, какой случай стрясся и как я из анатомки ушел на вечно.

Тогда, надо сказать, уже неделя прошла, как красных из города вытурили. Думали все, что от них, де, все зло, но только все шло по-старому и трупы в мертвецкой не убывали, так что доктор — заведующий моргом — велел прекратить доступ. И хотя немножко мы от трупов продохнули, так что стал я по вечерам даже чтению святому предаваться.

Сижу я однажды за библией. Старуха со стола убирает и для меня уголочек обтерла.

Раскрываю я светильника-утешителя моего Иисуса Сына Сирахова и читаю.

Только прочитал: «Терпеливый до времени удержится...»—бряк в окно.

А окно наше — полуподвальное и прямо на мертвецкий переулок выходило безо всякого ограждения, только изнутри — занавесочка...

Опять затарабанили, да уж покрепче!..

Хотя бы до кого доведись, — страшно: за окошком черным-черно, тебя оттудова как на ладони видно, а кто по твою душу пришел, — не видать. Хотел я сперва свет завернуть, да оторопел. Делать нечего,— оделся я, выхожу...

А на улице — погодка самая покойницкая: дождик — не дождик, а мокредь какую-то несет, и по деревьям ветер ходит.

Со свету сперва — как слепой, покудова не пригляделся.

Завертываю за угол за анатомку. Ворота наши, как знаете — с решеткой.

Вижу: стоит у ворот человек в брезенте и дергает, что есть мочи, за замок.

А за оградой — не видать его, — но будто грузовик клокочет,— слышно как буксует и цепью по мостовой шлепает...

Подходить мне к воротам боязно, — кричу съиздаля:

— Что тебя — дождем мочит?!. Чего ломишься?!.

Он меня в ответ скверпущими словами обложил:

— Открывай, кричит, не растабаривай, трупы привезли!

— А коли трупы, так по делящему сказать, а не лаяться!

— Застрелю сукина сына, — и револьверт сквозь решетку сует.

Вижу: лучше от греха подальше, — открываю ворота:

— Где, спрашиваю, трупы?

— Успеешь,—это все тот же в брезенте. И вдруг опять револьвертом махнул.

С грузовика еще с револьвертами соскочили.

Я глаза закрыл, с жизнью прощаюсь и творю Иисусову молитву.

Разу не успел прочитать, — слышу — стрелили!

— Жив, думаю, я, или не жив?!. — открываю глаза, — смотрю: те уже на грузовик обратно залазят. А — в брезенте, — тот не поспешает и командует мне: — убирай трупы!

Действительно, у самого тротуара лежат два тела...

Стал я подымать, чуть-чуть не упустил: теплехонькие!..

Уж не помню, как я их прибрал! Когда за вторым вернулся, грузовик уж стронулся, и оттудова мне заорали:

— Смотри!.. Завтра приедем!..

Затянул я трупы в морг, — захожу в комнату.

Старуха моя — ни жива ни мертва, а меня увидавши, — еще более: уж очень, видно, хорош был!

Успокоил я ее едва,—полягли спать. Старуха не велит огня гасить:

— Будем,—говорит,—хоть при лампадке спать, а то боязно!

— Ладно...

Тряслась - тряслась, да и уснула, притулившись ко мне под бок. А меня сон никак не долит. И раздумался, и раздумался, никак эти расстрелянные из головы не идут!.. Чисто измаялся!

— Нет, думаю, так не годится: еще поблазнит чего, — как раз надумаешь!—Повернулся я к стенке, перекрестился, — усну, думаю, со Христом!..

И уже совсем засыпать стал. И вдруг — ровно из-под тумана, мыслишка ворохнулась: — Что это они с грузовика кричали? Насчет чего?!. Тьфу ты, думаю, нечистая сила,—пропал сон.

Встаю я с постели — по комнате от лампадки свет малый,—нашарил кисет с махоркой, закручу, думаю, ножку собачью,—мохра, она мозги прочищает. Сел, стал раздумывать.

— Не иначе, как будут их захоранивать, если завтра, сказали, приедут. Надо, значит, чтобы с трупов ничего не пропало, а то если Пашка утричком узырит — обдерет! А мне попомнилось, что на одном-то—кожаная куртка была и сапоги. Придется, значит, в точности удостовериться, чтобы потом в случае чего Пашка не отперся.

Натянул я одежонку, — вышел в коридорчик...

Как вы сами знаете, у нас в коридорчике наша мертвецкая канцелярия помещалась: трупные паспорта прописывались. А пройти коридор,— то в конце, по правую руку — буренькие дверцы: это — самый подвал.

Теперь хоть порядком тела ложат, а нам в ту пору некогда было,— так в кучу и валили..

И хотя я — не трусливый и привычный, но, сознаюсь, ночью не любил спускаться.

Лампешка у нас в морге была углевая: чуть мерикает. Между телами проход узенький: то об руку споткнешься, то на пальцы чьи наступишь— нехорошо.

Но более всего жуть брала из-за Пашки. Нехороший он был парень, зловредный, и облик у него,—не то ястреб, не то чеглок. И любил с девками кожеломиться. Про него Антон вовсе неладное говорил: будто застиг он его с женским трупом... Пашка, дескать, у Антона в ногах валялся: Антон, не сказывай.

Может, и врал: часто они с Пашкой цапались. Действительно, замечал я в Пашке, что любил он над трупами галиться. Вот и в то время: взял одну еврейскую женщину, воздвиг ее на трупы и пристроил к стенке стоймя. В левую руку метлу всунул, а на правую ребеночка положил. Так та и стояла. Правду сказать, над православными трупами я ему галиться не давал. Из-за этой женщины тоже как-то нехорошо ночью было спускаться: прямо против лестницы стоит — простоволосая...

Ну-с... стал я в подвальчик спускаться, за левое перило держусь, ибо лестница асфальтовая и от таскания трупов склизкая... И глянул я тут вниз, за левое перило, да и не знаю, как устоял!

У самой лестницы сидит человек...

Нижняя на нем рубаха — вся в крови упатрана, волос — черный, лохматый, и сидит он, вперед нагнувшись, а на полу перед ним — куртка кожаная, подкладом кверху. И отдирает он от подклада длиннущую полосу...

За треском меня не слыхал. А как услышал, то закинул голову кверху, уставил глаза на меня и смотрит...

Сидит недвижимо и смотрит! И видно мне сверху только, как у него горло шевелится...

Я пошевельнулся, — он как вскинется! Упал на бок, а потом пополз на брюхе за трупы, как собака, когда ее ногой ткнешь!..

Тут я осмелел. Ведь, что вы думаете? — Узнал я его: тот самый, которого я в морг затаскивал!..

Хорошо... Подхожу я к нему, хватаю за плечо и становлю напротив себя. Вижу: не в себе человек!

Вдруг он меня — за рукав! припадает к руке и хрипит:

— Отпустите меня, не выдавайте!..

— Ладно, говорю, не выдам, а отпустить тебя—куда?!. Ишь, кровищи-то! Пойдем, говорю.—И подталкиваю его перед собой...

Дома старуху разбузыкал, велел тряпок из сундучишка достать, замотал ему грудь и плечо: пуля под правый сосок прошла, скрозь лопатку вышла... Ладно... Садим его на сундук, ложись, говорю ему, а он упирается, не хотит. Как хочешь! — оставил его. Сам, конечно, в большом волнении. Сел на тубаретку, закурил... смотрю на него.

— Жалость!.. что сотворяют люди с человеком?!.

Поинтересовался, как зовут.

— Андрей, отвечает, Петров...

— За что ж это тебя, Андрей Петров?!.

— По доносу, говорит, что большевик я. Но безвинно!..

— Ну, ну! говорю, — ладно...

Показалось ему, что ли, будто я с недоверием к нему, только сразу он забеспокоился, хватается рукой за стенку и встает через силу:

— Отпустите, говорит, меня Христа ради! Товарищ у меня близко живет. Пойду я...

А какой там—пойду! Сказал, да и опять на сундук пал... Я на него уже строго прикрикнул, и хорошо чувствую его фикцию: для чего это он—Христа-то ради! Но, между прочим, думаю: я тебе не враг, отдохнешь, ступай с Господом!.. Так и расположился в мыслях.

Сидим мы с ним и молчим. А старуха, ночным беспокойством, понятно, недовольная, ворчит и спать укладывается...

И вдруг — ударяет мне в мысли:

— А не насчет ли этого — чего с грузовика-то кричали?!. — Аж в груди похолодало, и в колена холод пошел! — так и есть: яснее ясного!..

И, поверите ли, такой у меня на душе вертун поднялся — руки на себя наложить и то — милее!

Уж как же человека жаль!..

А подлюга-то внутренняя свой голос подает: отпустишь, так сам в морг лягешь, когда приедут!..

Тоска под сердцем, — вот-вот задохнусь!..

Вышел я тогда за двери и стал молиться:

— Господи! — прошу слезно,— укажи мне путь правый!..

Просветлила меня молитва, — вернулся я в комнату и прямо подхожу к божнице...

И беру я со шкатулки книгу святую и открываю светильника и советника моего — Иисуса Сына Сирахова и читаю, где открылось...

И вострепетал я, ибо собственными очами узрел:

«Не отказывай угнетенному, молящему о помощи...»

— Облобызал я книгу святую, перекрестился и хотел итти.

Тут, откуда ни возьмись—моя старуха. Подошла сбоку и давай мне на ухо шептать:

— Ты, говорит, Макар, и впрямь не выпусти!.. Он-то все равно издохнет, а нас-то прикончу-ут!.. Смотри, может, в район сбегать потихохоньку?!.

Замутила меня опять. Сел, облокотился на стол, — сижу...

И вот, скажи мне тогда: закопаем тебя живого в землю,— закапывайте!..

Но, в постепенности, стало во мне мыслишка словно бы мышь малая проскребываться: — а, может, слово пророческое не к тому понимать надо?!. Как же апостол Христов учил?!. И вот, — бывает же так?!. Будто темь внутри просветлилась, и вижу я ясно тот самый лист евангельский и что в нем написано: «Всякая душа да будет покорна властям, ибо нет власти не от Бога...» — И сразу тоска меня отпустила.

Все еще в смуте великой становлюсь я против Андрея, а он дремлет, или в беспамятстве. Смотрю на него.

Вдруг он ресницы подымает и на меня уставился... И весь я содрогнулся, сам от чего не знаю: словно на воровском деле накрыли! — И непременно должен я ему чего-то сказать!

— За доктором, говорю, хочу сбегать!..

Слово это врасплох сказалось: об докторе я и не думал! А как сказал, то сразу обрадовался: как, думаю, раньше не догадался! Доктор— человек образованный, пускай помощь подаст, а там и решает по своему смыслу, что далее с Андреем делать.

И, понятно, страшно я на Андрея обозлился, когда он опять заартачился: и доктора-то не надо, и опять — Христа ради, и товарищ-де близко... а сам все к двери порывается.

Тогда прикрикнул я на него жестоко:

— Сиди, говорю, и не рыпайся! — а сам в коридорчик вышел и снаружи ключ повернул.

На столе у заведующего телефон стоял. Хватаю телефонную трубку и вызваниваю ночное дежурство врачей. Оттудова женский голос отвечает:

— Врач только что вернулся, — если можете подождать, то он утром приедет...

Уж как мне обидно стало! Что если я целую ночь ни за что, ни про што маюсь, то это ничего, а тут — на вот-те!

— Скажите, говорю, врачу, чтобы немедленно выезжал в морг!.. Немедленно по государственной важности!.. — С тем и трубку бросил.

Вернулся я в комнату, — Андрею совсем плохо: повязка до локтя свалилась, и кровь весь подол у рубахи обкапала.

Перемотал я кое-как, вывел его на анатомический двор и посадил возле дверей на каменную приступку. Сам тоже сел. Жду...

Поди, более часа прошло — уж забрезжило немного, слышу: дрожк за анатомкой застучали. Кому — кроме доктора?!.

Бегу к воротам: действительно доктор! В белом халате, пальто—н распашку. Слез с извозчика, подходит ко мне и сердито так спрашивае

— Зачем вызван?!.

Пока за угол повернули, я ему объяснил.

Подходим к Андрею, а тот даже глаз не открывает.

— Куда ранен? — спрашивает доктор.

— Через пульмонум декструм, господин доктор...

— Чего?!.

И ведь подумал я тут: какой же ты доктор, ежели собственного ла тынского языка не разумеешь?!. но, между прочим, всяко бывает.

— Через правое, говорю, легкое...

— Покажи!..

Повертываюсь я к Андрею—бац!—над самым ухом—сунулся Андре на камни...

Отскочил я, смотрю, а доктор револьверт в карман прячет...

Подошел он к трупу, потолкал сапогом и говорит:

— Убирай. Больше не воскреснет...

Повернулся, и, покудова я столбом стоял, уж за моргом и дрожк застучали...

... Истинно слово сказать: единая пуля и человека прикончила мою душу насквозь проникла! Ведь что вы там ни говорите, — а предат на убийство человека!.. Захотелося руки умыть...

Конечно, не обозлись я, да не закричи по телефону, что по государ ственной важности, может, и настоящий доктор приехал бы; а то, ка додумываюсь теперь, побоялся, видно, поехать и заявил...

... Ну, кто я теперь являюсь?!.

Ведь вот сами можете видеть: в небрежении лежит, под пыль лежит книга святая, — позолоты креста не различимо!

А, ведь, чувствую и постигаю: может, я небрежением этим тольк дьяволов тешу. Но что же?!.

Иной раз хотя и замутишься духом и возжелаешь почерпнуть и слов премудрости. Но, якобы, сила невемая руку мою от листов отводит или опасаешься в душе, что через чтение может Андрей поблазнить?! Я ведь и без того вконец изведся... Конечно, не смог я далее свое проклятой службы нести. А в скорости, к тому же, и старуха мо померла. Подался я тогда на деревню.

Ох, и многие пришлось мне злые словеса слышать... Идешь, а з спиною шипят: это, говорят, ему за то, что он человека погубил...

Не знаю, может, оно и правда: на больших условиях поставлен мир!.

Морской ветер.

И. Соколов-Микитов.

К. Федину.

Перед выходом в океан брали уголь в бухте лежавшего на море каменного одинокого островка, покрытого зелеными апельсиновыми рощами. Дело было спешное, начальство торопилось сдать фрахт, — и грузились мы быстро, с помощью наемных рабочих, разом с четырех барок, прибуксированных к борту. Из всего экипажа на берег съезжал только третий помощник отбыть необходимую портовую форму. Городок, построенный рыцарями-крестоносцами и впоследствии служивший пристанищем для отважнейших в мире пиратов, названный по средневековому пышно и трескуче, лежал над самою бухтой, а вокруг простиралось море — просторное, ослепительно-синее, с яркими зайчиками, бегавшими по волнам, и над ним весь день дул с африканского берега упругий и теплый ветер, пошевеливавший на кораблях кормовые флаги, а на берегу— перистые и сквозные листья высоких пальм. И городок был белый, точно из сахара, весь в густейшей зелени, таинственный потому, что никто из нас не мог побывать в нем.

Уголь грузили полуголые, темные, с непокрытыми, курчавыми, как барашек, головами люди. Они гуськом, цепко ступая плоскими ступнями, взбирались на пароход по доскам, перекинутым с барок на верхнюю палубу, и сбрасывали с худых мокрых спин высокие круглые корзинки, черные от угольной пыли. Пыль, смешанная с потом, лежала на их лицах, на голых плечах, на толстых вывороченных губах и на курчавившихся детских ресницах. Вытянув далеко головы и опустив до самых досок длинные голые руки, они тяжко взбирались на палубу и, выпрямившись, быстро сбегали по гибкой, колебавшейся под ногами сосновой сходне вниз в барку, где шестеро таких же, вычерненных углем людей, большими лопатами набрасывали в корзины тяжелый, смолистый, тускло блестевший на изломах, кардиф. Работали они неутомимо, без отдыха и черный поток угля по их спинам непрерывно поднимался вверх и падал в черную пасть угольных ям. Внизу два человека привычным движением взваливали наполненные углем корзины на подставляемые плечи, мокрые от пота, с проступающими под темною кожей мускулами мышц и костей, а наверху другие два опрокидывали корзины в яму и каждый раз над

ямой поднимался клуб сизой, металлически-блестевшей пыли. Иногда один из них, поднимаясь по доскам, испускал тонкий и продолжительный крик, и тогда все, точно журавлиная стая, отвечали ему жалобными птичьими криками. Работа шла быстро потому, что внизу, отражаясь в воде головою вниз, стоял невысокий, гладкий, крепко-выбритый человек в легкой, надвинутой на глаза шляпе, в просторном летнем костюме и ботинках темно-шоколадного цвета с широкими каблуками. Невысокий человек, оберегаясь от пыли, лениво стоял на борту барки и, заложив за спину крутые маленькие руки, медленно перекатывал в пухлых пальцах костяшки янтарных арабских четок. Круглые, серые, с острыми точками зрачков, глаза его зорко следили за непрерывным потоком угля, вбегавшим на пароход по черным человеческим спинам. Изредка, не разжимая зубов, крапленных золотом, он произносил краткое, горловое слово и тогда вся человеческая очередь двигалась быстрее.

Уголь стали грузить с полудня, когда призрачное, как всегда над морем, все переполнявшее солнце, светом своим пронизывало город и море и от людей на палубу ложились короткие, розоватые тени. С парохода была видна белая набережная, освещенная солнцем, и по ней проходили люди, женщины и мужчины, — женщины в черных, похожих на большие раскрытые крылья, шелковых покрывалах. И весь день на пароходе была та неуютная, досадная суета, которою неизбежно сопровождается всякая стоянка. Матросы работали внизу, в коридорах, мыли стены и бегали с ведрами греть воду, и в коридорах было темно, дул теплый сквозняк, нагретым маслом пахло из машины. За железною дверью камбуза китаец-кок, насквозь прокоптившийся опиумом, худой и высокий, как жердь, сонно возился с кастрюлями, и было слышно, как с грохотом падает в ямы уголь.

На задней палубе, у входа в кубрик, толклись подвахтенные кочегары, в сетках, с голыми руками, и, облокотясь на поручни, глядели вниз, где на тяжелой, медленно вздыхавшей воде, колыхалась короткая, круглая шлюпка. В ней стоял тощий грек и, задрав голову, пошевеливал черными; закрученными усами. Другой грек, в шерстяных полосатых чулках, с непокрытой, седеющей головою, сидел на веслах. На дне шлюпки лежали снятые с дерева апельсины вместе с зелеными, еще не завядшими ветками, коробки с сардинками, шоколад, египетские папиросы и греческий коньяк в голубых бутылках. Кочегары от скуки торговались с греком, пользуясь тем смешным, детским языком, состоящим из набора английских, итальянских, греческих и арабских слов, на котором переговариваются между собой моряки разных наций. Время от времени они опускали на тонкой бичевке корзинку с серебряной мелочью и взамен получали шапку мелких, тугих апельсинов. И на палубе остро и приятно пахло содранной апельсинной коркой.

Под вечер, когда маленький краснотрубый буксир отводил от парохода опорожненные, выросшие из воды, барки и матросы смывали со спардека черную пыль, к пароходу подошла новая, свеже-выкрашенная

шлюпка. В ней, кроме двух гребцов в навернутых на черные головы белых полотенцах, сидели двое пассажиров: молодой румяный человек в пробковом шлеме и стройная девушка, одетая с тою дорогою и тщательной простотой, по которой узнаются очень богатые люди. Молодой человек первый вышел на мокрую решетку спущенного для них трапа и подал спутнице руку. И матросы, протиравшие щетками палубу, видели, как она легко и ловко вбежала по трапу, ступая маленькими, обутыми в низкие желтые ботинки ногами. Бой-кореец, продувной парень, насквозь источенный сифилисом, сухой, как рыбья кость, скатываясь вниз за чемоданами, успел подмигнуть вахтенному, стоявшему у трапа и робко поглядывавшему вслед гостье.

А вечером, когда вышли в море и на пароходе установилась привычная, налаженная тишина, свойственная большим грузовым пароходам, обычно не берущим пассажиров и неделями остающимся в море, о новых людях знал уже весь кубрик. Как всегда, пароходные новости приходили через буфетную прислугу и от толстозадого лакея-китайца, носившего мудреное для произношения имя и переименованного на пароходе для удобства в Иваны, матросы узнали, что пассажир и пассажирка очень богатые люди, владельцы хлопковых плантаций, что едут они до Гибралтара и что брат провожает сестру. Взяли их на пароход по просьбе агента и из уважения к их несметному богатству. Вечером каждый из команды по делу и без дела старался пробежать мимо открытой двери, приготовленной для пассажиров запасной каюты, откудова уже пахло тонкими и приятными духами. И, проходя мимо, маленький матрос Хитрово, из бывших штурманов малого плавания, отвечавший в кубрике за шута, не мог удержаться и, чихнув трижды, со вздохом промолвил:

— Совсем как в Одессе-маме, на бульваре, от наших чудачек!

Весь день пассажиры оставались наверху, на спардеке. Между собою они говорили мало, по-английски, с тем спокойным равнодушием, с каким говорят друг с дружкой близкие люди. Она выходила на мостик и, прислонясь к стойке, смотрела на море, на заходившее солнце, разговаривала с третьим — молодым черноголовым латышем, игравшим под американца. Смеясь, она показывала острые, хищно выдававшиеся вперед зубки, и четкий профиль ее был тверд и настойчив. Помощник притворялся волком, поминутно притрагивался к козырьку и сердито отводил глаза, ловя насмешливый взгляд рулевого, стоявшего над компасом. К концу дня на пароходе не оставалось человека, чтобы невзначай не подошел к трапу взглянуть, как вокруг девичьей головки вьется легчайший светло-зеленый газ. Недаром же моряки — чувствительнейший народ в свете и у каждого моряка под грубой вязаной курткой бьется мечтательное сердце...

Потому-то после ужина, когда дневальный, молодой прыщеватый парень, поставил на выскобленный стол большой медный чайник, сидевший с иголкой в руках матрос Сусликов, во всяком порту оставлявший свое сердце, сказал вздыхая и вкладывая на свет нитку:

— Эх, — он-то за ней ходит. Бережет ярочку, чтобы волк не съел!

И, откинувшись от шитья и почесав ушком иголки жиловатую, те\ ную от загара шею, прибавил:

— Хороша девка!

Ночью пассажиры почти не ложились. Прикрывшись пуховым пледами, они до утра сидели на палубе в раскрытых лонгшезах. Меся почти уже полный, тихо плыл над морем. И в его свете казался пароxo одиноким, большим и призрачным; топовые огни желтели мертво и в неб холодно таяли звезды. Пароход шел серединою широкой серебряно дороги, поднимавшейся к самому месяцу, и жестко в ее мерцающем свет чернел силуэт бака и передние ванты. Два раза мимо пассажиров торопк и деловито пробежал на ют вахтенный к лагу. Прошел стороною бесшумн пассажирский пароход и долго и таинственно светился огненной тонко полоской. С моря тянуло сыростью, туманом и иодом. И уж за-полноч когда отошла в сторону и сгасла месячная дорога, они спустились в кают

А утром, на другой день, на пароходе произошло событие, на цел сутки отсрочившее прибытие пассажиров.

Было так. В тот самый час, когда окончилась ночная вахта и на порозовевшим морем поднималось умытое солнце, на палубе появил два человека, никому до того не известных. Сидели они на крышке задне трюма, на парусине, еще влажной от ночи. Были они худы, черны и почт обнажены. Их головы, покрытые мелкими, завивавшимися в бараш волосами, были малы, блестящи и темны, как сама земля. Больши узловатые, сухие в запястьях руки казались длинными непомерно. То что был выше и старше, обеими руками держался за колено своей прав ноги, ступня которой с уродливо растопыренными пальцами была зали застывавшею кровью, и вся нога дробно и зябко дрожала. Пересилив боль, он старался улыбнуться и бледно скалил широкие голубые зуб

Над ними во весь свой рост стоял кочегар Митя, только сменивши с вахты, бывший борец, огромный и рыхлый, в грязной сетке поверх об того потом безволосого тела, с черными от угля ноздрями, с маленьки глазками, подведенными, как у женщин, угольной пылью. Он стоял упер кулаки в бедра, разминая в пальцах масляную ветошь, и говорил хрипл

— Куда вы, черти?

Они смотрели на него снизу вверх влажными, темными, как у но ных птиц, глазами и скалились жалкими собачьими улыбками.

— Ф-фу, черти, — грубо-сочувственно говорил Митя,—замерзнет

Тогда тот, что был моложе и чернее, почти мальчик, показал Ми длинной голой рукой куда-то в зорявшее море.

— Москов! Москов! — сказал он горловым птичьим голосом.

— Го, го, го, — зареготал Митя, содрогаясь голым телом.— Далек братишки!

К ним спустился со спардека боцман, белясый и крутогрудый, н литый здоровою кровью и ко всему на свете одинаково равнодушны На черных людей он взглянул мельком, не спуская с лица тугой улыбки, спросил равнодушно:

— Зайцы?

— Черти, — ответил не оборачиваясь Митя. — Прятались в яме. Одному ногу перешибло.

И боцман, привыкший ничему не удивляться, еще не проспавшийся, не задерживаясь прошел в кубрик подымать на работу матросов.

Через полчаса матросы, позевывая, выходили из кубрика умываться и, фыркая в полотенца, останавливались над трюмом. А черные люди улыбались им наивно-лукаво и в их темных глазах было сказано: «Мы никому не хотим зла, мы немного вас обманули, но вы нас поймете и разве вы станете возвращаться ради нас — таких бедных и жалких»...

Матросы глядели на них, покачивая головами, посмеиваясь. И опять тот, что был моложе и тоньше, блеснув вдруг зубами, показал рукою на море:

— Москов! Москов!

Мимо еще раз прошел боцман. Был он в фартуке, забрызганном краскою, в рабочем костюме. Он прошел, деловито оглядывая палубу, и, как всегда в это время, поднялся на мостик, где прохаживался старший, — большой и белый, только ставший на вахту и еще пахнувший душистым мылом. Поднявшись по трапу до половины и держась руками за поручни, он почтительно и хозяйственно доложил о текущей на пароходе работе: о кормовых рассохшихся шлюпках, которые следовало перекрасить, о свинцовом сурике, купленном в Александрии и оказавшемся наполовину железным, о перетершемся при нагрузке угля троссе, — и под конец сообщил, что на пароходе находятся два посторонние человека, повидимому, из погрузчиков угля, спрятавшиеся в яме.

Что на пароходе были обнаружены зайцы, разумеется, никого не могло удивить. — Экое, подумаешь, дело и разве можно найти моряка, чтобы не мог рассказать о многих чудаках, предпочитающих угольные ямы грузовиков люкс-кабинам транс-атлантических пароходов... Но пароход шел в страну, где законы были незыблемы и тяжелы, как глыбы египетских пирамид, где после войны, подточившей, кажется, и самые пирамиды, эти законы приобрели вдруг особую и беспощадную остроту. Короче сказать, на пароходе было известно распоряжение правительства той страны, запрещавшее капитанам судов под страхом жестокого штрафа ввозить людей, могущих прибавить лишние рты и лишние неприятности...

Вот почему через десять минут перед людьми, сидевшими на крышке заднего трюма, стоял сам капитан, — невысокий, коренастый, нездоровожелтолицый человек, страдавший, как и многие моряки в его возрасте, сердцем и печенью и по утрам всегда раздраженный. Ободренные общим сочувствием, повеселевшие, они глядели на него смело и доверчиво улыбались. Перед ними на люке стоял жестяной бак с остатками матросского завтрака, который им вынес дневальный. Они брали из бака своими длинными пальцами и, пошевеливая раковинами больших ушей, не торопясь ели. На капитана они взглянули с тем простодушным и лукавым доброжелательством, с которым глядели недавно на матросов. Облизывая паль-

цы, сидели они перед ним и говорили глазами: «Вот, видишь, все хорошо и мы не ошиблись»...

А капитан стоял перед ними плотно застегнутый, в лакированных бальных туфельках, странно неидущих к порыжелой от ржавчины палубе и смотрел на них с растущей и тяжелой досадою.

— Куда? — спросил он по-английски, хмурясь.

Тогда молодой, проглотив свой кусок и вытерев ладонью толстые губы, взглянул на него весело, дружески встряхнул головою и опять показал вдаль:

— Москов! Москов!

— Чорт знает чтó! — сказал капитан, разглядывая их, и, выругавшись солоно, по-морски, чтобы не раздражаться больше, быстро прошел на мостик, где уже подувал просыпавшийся полуденный ветер и было светло, пустынно и чисто.

— Чорт знает что! — повторил он, поднявшись по трапу и, жмурясь на море, приказал быстро:

— Лево на борт!

Рулевой, стоявший на верхнем штурвале, привычно пошевелился и ответил ему в тон, весело:

— Есть! Лево на борт!

Было видно, как чуть накренясь, покатился влево пароход, быстрее и быстрее, оставляя за собою в море широкий, кипящий пеною круг. Когда солнце ударило в глаза и тени побежали по палубе и перед пароходом нестерпимо заблистала солнечная дорога, капитан, уже спокойно, сказал

— Одерживай.

— Есть. Одерживай!—бодро ответил матрос.

— Так держать!

— Есть. Так держать!—тоном выше, весело, точно радуясь, ответил рулевой, быстро перехватывая черные рожки штурвала...

К тому времени, когда проснулись пассажиры, пароход уже шел обратно. Они вышли умытые, освежившиеся, чуть пахнувшие духами в белых легких костюмах, с едва приметною синевою под глазами. И опять она, молодо перехватываясь маленькими руками и показывая обтянутые крепкие икры, быстро вбежала с нижней палубы на спардек навстречу дневному свежему ветру. И на минутку ветер плотно прихлестнул к ногам ее короткую белую юбку. Борясь с ветром, наклонив голову и смеясь, пробежала она, топоча каблучками, мимо матросов, работавших у запасной шлюпки, и в запахе ветра и масляной краски скользнул ее запах,—запах молодой женщины и духов.

А через минуту пассажиры стояли на мостике перед самим капитаном И капитан, недавно бранившийся матерно, объясняясь с ними, был подчеркнуто вежлив тою грубоватой вежливостью, которою щеголяют старые моряки, прошедшие муштру от матросского кубрика до салона океанского парохода. Он говорил по-английски, любезно поблескивая золотом зубов, и, слушая его, пассажиры хмурились недовольно. Он с видом

любезного, но непреклонного хозяина объяснял им суровую строгость законов страны, в которую они идут—и тогда брат пассажирки, уступая его упорству, пожал под белым спорт-джекетом плечами и, притронувшись козырька шлема, прекратил разговор. И так же, как вчера, весь день провели они на спардеке и матросы, проходя мимо, поглядывали, как на ее коленях ветер играет листками развернутой книги.

Все это время полуголые темные люди попрежнему сидели на люке заднего трюма, вытянув тощие ноги. Теперь прямо им в лица светило яркое солнце и ветер обдувал их сухие блестящие головы. В свете утреннего солнца еще отчетливее виделась их нагота и убожество. Ветер пошевеливал лохмотьями их одежды. К ним подходили матросы, дружелюбно хлопали по плечу, смеялись и говорили, показывая на восток:

— Назад идем, домой вас!

А они, не догадываясь о том, что их везут туда, откудова они убежали, скалили матросам зубы и весело глядели своими темными густыми глазами.

— Москов? — спрашивал кто-нибудь, пробегая.

— Москов! Москов! — стремительно отзывались они, кланяясь и прикладывая к грудям длинные голые руки.

Так проходил день. Они сидели на трюме, глядели на море, на дальние золотистые облака, на нестерпимо блиставшую солнечную дорогу, на длинную полосу дыма, относимую ветром, и тот, у которого была перебита нога, тихонько покачивался и изредка закрывал глаза, как это делают птицы — темными набегающими веками. К пяти часам, когда люди, закончив работу, проходили на ужин, они уже освоились настолько, что тот, что был моложе, птичьим горловым голосом запевал свою странную нечеловечески-тоскливую песню.

А под вечер, когда показались берега острова, дымчато-синие, похожие на далекое облако, их опять окружили матросы и, посмеиваясь, показывали на туманную береговую полосу:

— Домой, домой! Понимаешь?..

Поняли они, когда пароход подошел совсем близко и на передней мачте пестро затрепетали флаги, вызывавшие портовую власть. Узнали они внезапно по какой-то примете, открывшейся им на берегу. И так был непередаваемо-выразителен ужас, отразившийся в их темных глазах, что ни у кого не хватило духу, глядя на них, улыбнуться. Они точно окаменели и разом сникли, а когда, колыхаясь на волнах, к пароходу подошла портовая шлюпка и по шторм-трапу поднялись трое—в красных фесках, с бляхами на синих мундирах, они были готовы и сами покорно спустились в шлюпку...

Через полчаса пароход, оставив на волнах шлюпку, вдруг сразу уменьшившуюся, шел в море и в кают-компании, большой и чистой, ветер отдувал сквозившие занавески, а солнце, проникнув в иллюминатор, зайчиком бегало по стенам. Пассажиры сидели за длинным, покрытым льняною скатертью, столом. Они успели позабыть впечатление утреннего объяснения и шутили с капитаном. И капитан, как всегда под вечер,

чувствовавший себя помолодевшим, любезнее им улыбался и глядел на девушку своими непроницаемо-зоркими черными глазками. В подражание океанскому укладу, обедали очень долго. Чуть-чуть качало и бегал по стенам зайчик, и каждый раз, на него глядя, чувствовала пассажирка, как легко и приятно кружится голова, и хотелось беспредметно смеяться.

После обеда, состоявшего из многих тяжелых и острых блюд, когда зайчик на стене стал оранжево-желтым, капитан приказал бою принести из каюты ликер. И за ликером и кофе, поданном в маленьких чашках, впервые вспомнили пассажиры о неожиданной причине их невольного путешествия; вспоминая с улыбкой, румяный брат пассажирки вынул из кармана золотое перо и набросав телеграмму, передал ее телеграфисту, молочно-белому юноше, почтительно присутствовавшему за обедом.

Ночью пассажиры, утомленные путешествием, прозрачно дремали под пледами и опять над морем тихо плыл месяц и таяли звезды. Синим мертвенным светом вспыхивала открытая дверь телеграфной рубки, где работал молочно-белый телеграфист, теперь странно похожий на чародея. Под утро они спустились в каюту, еще сохранявшую духоту дня, и их разбудили только в полдень, когда пароход шел под солнцем и справа был виден лиловый и гористый берег, дымчато-призрачный, с белою полосою прибоя. Маленькие суда с парусами, похожими на крыло чайки, казалось, стояли неподвижно. Было видно, как быстро желтело на горизонте небо и море делалось густым и темным. На ближайшем к пароходу судне, качавшемуся на волнах, два человека в кожаных шляпах быстро опускали парус. Пассажиры — уже одетые — стояли на мостике и в бинокль наблюдали, как идет на пароход ветер, тугой и темный, и как под ним быстро густеет море.

Это продолжалось час: в лица пассажиров летела пена, дышать было трудно, пели ванты и хлестко бились о мачту шнуры сигнальных флагов. Наклонив голову, обеими руками держась за шляпу, девушка смеялась ветру, и голос ее тонул в шуме и свисте. И как всегда в тех местах, через час, — опять над морем сияло солнце, и пароход шел умытый, по кипевшему морю, навстречу ветру, дувшему спокойно и туго, из океана, открывшемуся за берегами пролива...

Было видно, как под пароходом кипит и крутит вода двух сталкивавшихся течений, как далеко и грозно ходят в океане волны. От правого берега, выступившего в море, навстречу пароходу шел катер, махаясь по волнам, ныряя, повернувшись быстро, подвалил к борту и стало видно, что в нем стоят две женщины и мужчина — седой, в панаме. Женщины махали платками и им отвечала пассажирка, смеясь и держась за стойку. Матросы, спустившие трап, опять увидели, как она ловко и быстро сбежала вниз и как седой человек ей подал руку. Она три раза махнула платочком стоявшему на мостике капитану и улыбнулась, сверкнув зубками.

А через час пароход входил в океан, темный и синий, — и, как бывает — о пассажирах, о случае с черными людьми, больше не вспоминал никто.

Нолокола.

(Из хроники 900-х годов).

Иван Евдокимов.

Глава I.

На Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах улицы были узкие. Мостили улицы там фашинником еще при царе Косаре. Проточные канавки в дождяные дни всплывали там паводками, а из канавок шел нехороший дух. Ходили тогда по бревнышкам или перескакивали с фашины на фашину. На каждой улице стояли кабаки, чайные, съестные, а на крестах—ларьки с хлебом и квасом. У кабаков валялись вповалку пьяные: все видно. У кабаков стоял бабий и мужичий горлан. Бабы в ярости строгали своих пьяниц, совали им по загривкам, а потом, натруждая большие животы, тащили их домой, обшаривали на ходу карманы и увертывались от пьяного размаха.

В получку бабы становились у кабаков на дежурку. Сговорчивые мужики из бабьих рук выпивали по стаканчику, озорники куражились и пропивали все. Выли тогда бабы на крыльце, грозили кулаками кабатчикам и вытирали передниками обидно-унылые слезы.

Перед праздниками улицы гавкали глотками, балалайками, гармошками, ухали песнями, бухали по земле сапогами, сапожищами.

В праздники к постовым городовым на подмогу и устрашения ради прибавляли из участков по конному городовому на конец. Постовики стояли на своем месте, а конные ездили взад и вперед и не давали собираться кучками. Ребята сидели на заборах в обшарашку и кричали: н-н-нó, нно́, н-н-н-ó. Городовые сердито оглядывались на заборную конницу. Где можно было подступиться лошадям, сгоняли ребят и замахивались плетками. А ребята сваливались во внутрь дворов, выжидали, как отъедут, высовывались в калитки, в проломы и на́ скору руку пускали из рогаток мелким камнем. Лошади привскакивали на месте и махали хвостами. Конные городовые хватались за спины и скакали на выстрел, злобно стучали в ворота, вызывали хозяев... Выходили бабы, жалели городовых, а потом истошно визжали в защиту своих дитёв.

Для отвода глаз мужики урезонивали баб и подбавляли тем жару бабьему сердцу.

Так до сумерек — время городовым по участкам ехать—с ребятами и бабами, до поту, до надсады, воевали городовые. Вечерами тут посторонним посетителям раздавали затрещины: называлось это «поход дать».

Побаивалась ходить на Зеленый луг, на Числиху, в Ехаловы Кузнецы благородная публика!

Жил тут рабочий люд разного званья: ткачи, мыловары, кожевенники, каменщики, бондари, слесаря, токаря, полотеры, сапожники, железная дорога. Жили грудно, в обхватку, в обнимку. Из окошка в окошко решали дела заводские, любовные, сплѐтенные. Зимами, раздевши, перебегали друг к другу. В город, на чистую половину, ходили только по большой нужде—на базар да за покупками. И то—больше бабы. Покупали не часто—не часто и ходили. Рабочие частили в город после Петрова дня продавать на базаре утятню. На Петров день рабочие артелями уходили за двадцать верст к Николе Мокрому за утками, настреливали уток тьму—лучшие стрелки считались — и продавали потом домоседу-горожанину. Еще первого мая, раз в год, завелось так в недавнее время, выходить на главную улицу и показывать кому следует рабочее изделие—красный флажок.

На бульваре тогда—бульваром благородная публика отгораживалась от черной городской стороны—с большим выбором пропускали в город. А где же убережешь? По задворкам да по закоулкам пробирались к условленному месту. Не все тогда ворочались назад. Ночью нагрянывали гости и шарили в домишках, перерывали скарб, лазили по чуланам, по чердакам, по сараюшкам. Увозили. По улицам рыскали в темноте соглядатаи. Сигали на огонек за ситцевыми занавесками, сторожко и с опаской прикладывали уши к опушкам—не гудит ли где человечий улей? Подсматривали кое-где и не без прибыли, кое-где знали и подсмотреть.

Беспокойная сторона Зеленый луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы!

За Зеленым лугом, на выезде, на московском тракту, махали черными крестами-крыльями коровинские мельницы-столбянки и крупоруши. А поодаль от них на холмике белела часовня белорижцев. Еще подальше плавало на много верст между луговин, осок и камышей низкобережное озеро Чарымское. Не жил там человек, не дымилось его жило. Зимой бегали там матерые волки в метелях и месячных ночах, наскакивали на мужичьи обозы, шли за обозами, светили дороги красными вспыхами волчьих взглядов, выли на поджарое свое брюхо, рвали отставшую сученку на шерстяные кусочки, заблудшего человека уносили в сугробы: нищий люд—богомолки, богомольцы—уложили чарымские дороги косточками.

Веснами Чарыма набухало подо льдом. Колобродили вливные речки с луговин. Качало Чарыма день-другой от берега до берега ледяную свою упаковку. Потом трескалось посередине, выливались закраины через кромочки берегов, убегали вспять речки, речушки, льды плыли в луга лебяжьими косяками поверх ивняковой, ольховой щетины, Чарыма ухало ветрами, дуло холодными пышками на город—надевай шубу.

Не видать и конца-краю Чарыме. Утопли луга, осоки, камыши, сгинули под серебряной крышей людские дороги, только один Никола Мокрый качался белым кораблем вдалеке, будто объезжал свою мокрую землю, едет-едет, а доехать не может.

Доливалось Чарыма до белорижцев, до коровинских мельниц, скатывалось до городской околицы, топило Свешниковскую мануфактуру, кожевенные заводы Бурлова, мыловаренные Марфушкина, кирпичные Прилуцкого, останавливалось у насыпи чугунки, у депо, у слесарно-механического Мушникова.

Высыпала тогда мелкая рабочая челядь к разливам, перескакивала с кочки на кочку, ладила досчатые плоты, на колышках в одиночку правила по летним дорогам, по полянкам, по канавам с лопухами и крапивой. Добиралась она до капустных огородов, выдергивала в наклоне огородные колья—прорывала заторы, перескакивала на льдины и катила враскачку в улицы.

Лопались с лязгом льдины будто железные цепи, челядь барахталась в крутне, плыли по воде шапки, картузы, орущие ребячьи головы. Выскакивали из домов бабы, мужики, папки и мамки. Мамки плакали и жалостливо протягивали вперед руки, наклоняли в дугу корпуса̀, папки с бранью лезли в разлив, брели тяжело в высоких охотничьих сапогах, хватали за шиворот с мясом ребят и вытаскивали на сушу. Мамки драли за волосы челядь и волокли домой на обсушку. Но челяди разве есть уём?

Доплывали ребята на плотах до белорижцев, залезали на крышу часовни, обнимали разноцветную, как набоечный подол сарафана, главку и усаживались верхом на князьке. А ветер хлестал полотнищами парусов, хотел сдуть с крыши, сердитые облака поводили усами, ветер наклонял головы, ёжил...

Плот обрывало с привязи, уносило...

Хохотали озорники, богохульствовали, храбрились на князьке.

А сумерки словно подкрадывались со всех сторон... Вместе с сумерками приходил в гости страх и щекотал спину. Все дальше и дальше казался город, будто относил его разлив, города не было, вместо города стояли у далеких пристаней в огнях ночные пароходы. Вздувались огни — и тухли, тускнели, убавлялись...

По разливу неслись, как улетающие птицы, вопли:

— Спаси-и-ите! Помоги-и-те! Ма-а-ама! Па-а-па!

Плакало материно сердце от надрывных ребячьих голосов, взбаломученно толокся народ в улицах, а не подступишься за темнотой к белорижцам.

Все неясней, все тише в ночном ветре, доносились голоса:

— Ой, касатики! — выли бабы.

— Дитятки, несчастные!

— Да спасите же, спасите, нехристи!

— Сама спасай.

— Стервецы!
— Поезжай на сарафане!
— Шкуру спустить надо с мягкого места!
— Дьяволята!
— Замерзнут в ночь. Простынут.
— Ой закоченеют!
— На крыше сидят.
— Снесет ветром.
— Ручки устанут держаться — и распустятся!
— Как же, братцы?
— Лодку бы?
— Где ее возьмешь?
— Ой и што мне горе-горькой? Сенюшка, Сенюшка, батюшка?
— И пошто тя нечистый понес, баловня окаянного!

Позванивали во мраке льдины, терлись друг о друга с курлыканьем, шушукала вода, выл ветер тысячами глоток — и нет-нет в ветряном хоре плакал жалкий кричонок:

— Ма-а-ма!

Спасальщики разжигали костер у самой воды, только бы не подмочила. Красные мухи винтили густо в темноте, красная метла мела темноту, кидалась в разные стороны, задевала за крыши...

— Не дело надумали, — ворчал старик, — пожара как бы не было. Искра на ветру хуже керосину.

— Спалим улицу. Кто отвечать будет?
— Вишь, какой ветрина?
— Не бросать же ребят без помоги!
— Им разглуска.
— Сердце у ребят, поди, скакуна перескачет с перепугу?
— С огнем легче: людей видят.
— Слышишь?
— Домой просятся. Плачут.
— Часовенки бы не снесло.
— Ну! Часовня сделана на заказ. Не снесет.
— Подмыть может.
— Поркача им завтра прописать надо.
— Достать бы только сперва: а дера будет. Неделю назад оглядываться не перестанут.

— Кстати отцов с матерями отодрать как следует. Чего смотрят? Ребят наделали, а наставить уму-разуму нехватает в калабашке?

— Разве за ними уследишь, дурень? Сам маленьким не бывал?

Ночь спала над Чарымой, над белорижцами. Темным небесным одеялом закрылись звезды, бледная немочь месяца, беленые млечные холсты. Чуялось — клубили, завивались, бодались там облака под шалым ветром, гонимые по небесным бездорожьям.

Ребята не сводили глаз с костра и охрипло закоченело кричали о помощи.

Все убывал и убывал люд. К свету оставались у костра одни отцы и матери. Натаскивали отовсюду досок, чурбаков, сколачивали большой досчаной плот.

Как только брезжили чарымские волны, мелькала белая грудка белорижцев, сталкивали плот и отчаливали... Гнали отцы плот, изгибались на кольях, а ребята на коньке, как воронье, прижимались друг к другу, додрагивали последней дрожью, молчаливо звали плот цветником глаз.

Плот подшмыгивал к часовне, отцы хватались за крышу и снимали ребят на досчаное судно.

— Сво-ло-чи!

— Негодя-я-и!

— В воду головой паршивцев!

Отцы сверкали глазами, а на берегу ждали мамки с платками, с шубенками, вскрикивали на каждый качок плота, тянулись к воде, наклонялись над ней...

— Ванюшка!

— Сеня!

— Мишанька!

Закутывали, обнимали, целовали, волокли домой...

— Промерзли?

— Голубчики наши!

— Да разве так можно?

— Озорники!

— Я вот ему задам дома. Он у меня будет, сукин сын, баловать! — шипел отец.

Шли-бежали. В спину бил, злобясь, ветер с Чарымы, подгонял шаг.

Паводок стихал. Смеялся Зеленый луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы над ребячьим озорством. Смех и горе. А матери озорников не могли наговориться о своем счастье.

— Святые угодники, Манефьюшка, оборонили детей наших, белорижцы батюшки, — говорила мать Ванюшки матери Мишаньки, — не разгневались они на детей малых, несмышленышей... Те ведь по детскому своему разуму на крышку святую с баловством залезли. Виданое ли дело — всю-то ноченьку на ветру, на юру, в худой одежонке, провертеться на коньке, не простыть, смертынька не пришла, кашля и того нет знаку? Без божьей помощи разве усидеть, не сдуть ветру? Да, как щепочку, такой ветер от землй подымет ребенка, не то что с крыши! Мужиков больших у костра шатало за домами, за деревьями, а тут на самом виду! Мой-то Кирила стегал Ваню, ярился, как бык, а я у него на руке повисла, отгормошила, не дала... Ночью мне будто в уши кто нашептал: поняла я все, все поняла....

— И я, и я не дала парнишку лупцовать, — отвечала мать Мишаньки, — у мужика сердце к порядку привыкло: ему обед к свистку, жена бы портки стирала, ребята сидели тихо-смирно, люди бы ничем не попрекали. А как это можно сидеть ребятам старыми стариками? Детство-то бывает не один раз? Насидятся еще, в рот воды набравши, как образумятся. Я твои слова, Анна Ивановна, будто сама в себе слышу.

— Дай вот только обсохнуть хорошенько земле, обещание я дала, Манефьюшка. Пойду к белорижцам, поклонюсь им за Ванюшку. Мой супруженек лясы точит — отчего, грит, за нашего Ваньку святые пристали, а в прошлом году в полую воду пятеро ребятишек утопли в Чарыме? Так бескрестник и говорит, зубы околачивает. Может, потому и потопли, что в родителях веры не было? Не узнаешь всего на свете, Манефьюшка, отчего и как что бывает? Я вот иду летом у часовенки, не пройду мимо, какая не висит на вороту спешка, беспременно зайду. Мне, может, белорижцы добром и отплатили за мое уважение?

— Чего там говорить, Анна Ивановна, — святое это место. Не поставят часовенку где не след...

— И озеро Чарымское по святости произошло. В часовне видала иконку: будто город какой, не наш теперешний, стеной деревянной обнесен, а вокруг стены татары, татары, что те поля̀ ржаные народу? Норовят, видишь, город в полон взять... Подальше там, в уголку, река течет: отвели злодеи реку от города. Ни хлебушка, ни водицы в городе нету. И явись тут на поле два воина в белых одеждах, как Борис и Глеб, вот как раз на месте часовенки—и начни они татарву крошить саблями... Бьют-бьют, перебить не могут: татарина, как песку в поле. Хоть и святые ангелы белорижцы были, а где же двоим осилить тысячи? Уставать стали. А народ на стенах сидит и на чудо глядит. Где бы на подмогу, а им и невдомек. Ангелам тоже людей на подмогу звать не приходится! Бог увидал, ангелов татары-то одолевают, рассердился, махнул рукой на престоле... Рухнула под татарами земля, откуда ни возьмись вода, а в воде рыба... Так озеро Чарымское на этом месте и очутилось. Народ от страха вповалку на землю. Поди, день лежал: голову боялся поднять от земли. Нашелся тут в городе дурачок Гришанька. Он народ-то дубовой палкой ну колотить по спинам, с земли поднимать. Открыли тут ворота городские, пошли всем народом к озеру Чарымскому, а святые белорижцы на холмике лежат, благоухание от них идет ангельское. Похоронили их с почестям на том самом месте: однодневную часовенку выстроили. Гришанька народу открыл — отчего ангелам смерть пришла? В силе своей ангельской обнадежились. Господь бог в наказанье им послал смерть, как и простым людям посылает. Вот какие, Манефьюшка, прежде страсти на свете были: бог людям показывался! А белорижцы, как были спасители нашего города, так и остались. Кто им почтение оказывает, тому и удача и помощь в нуждах. Бог-то, видишь, души не чаял в дурачке в Гришаньке: из-за него и город спас от татар. Чарымское — божье озеро. Бурное оно, сердитое. А отчего бурное? На дне бог оставил татар живьем. Живут они там тысячи лет, стоят будто

лагерем, на город глядят. Бог им тоже в наказанье за Гришаньку да за ангелов обет дал — не будет-де вам смерти, покуда город не возьмете. Так сказал. а с места татары сойти не могут. Вот они и плачут и кричат тысячи лет, руками машут, головами трясут, на воду дуют, оттого и бури на Чарымском.

— Сама, сама слыхала, Анна Ивановна, как кричат. Шла я по бережку, в девках еще, погода такая ветреная, будто насквозь ветер продувает — и стало вдруг не по себе так... Присела я на песочек, кровь глаза обожгла ровно, а в ушах гудут человечьими голосами... у-у-у... татары проклятые. Едва ноги со страху от земли отделила.

— Другие бабы смеются, Манефьюшка, к мужикам подыгрывают, а я верю — так это и было.

— Безо всякого сомненья, Анна Ивановна. Такое дело разве можно выдумать? Вместе пойдем к белорижцам. От сиротства избавили заступники!

— Обсыхало бы только скорее!

Разлив стоял неделю, медленно отплескиваясь назад, оставляя льдины на дорогах, на огородах, на потопленных низких сараюшках, на собачьих будках. А в канавках, в ложбинках, в задворных прудах застревала чарымская рыба. Ловили ее тут намётками и вершами.

Пятился разлив и оставлял по себе короткую память: каждый год особенную. Долго еще летали над улицами чайки, кричали о рыбе, белыми гирьками сваливались за ней в мельчающую воду ложбинок.

По центральным улицам носилась пыль, серели оконные стекла, морил жар, в белых туфлях ходили женщины по начищенным метлами мостовым, а над Зеленым лугом, над Числихой, над Ехаловыми Кузнецами, как в огромной прачечной, повисал балдахином седой пар чарымских вод.

Кашлял в тумане прохожий человек, закутывался тепло, глядел себе под ноги, а земля, будто мокрое белье в чане, хлюпала под ним.

И везли тогда по полой воде на кладбище каждый день хоронить рабочих от Бурлова, от Марфушкина, от Свешникова, от Мушникова. Везли, а за гробом кашляли Марьи, Агафьи, Лизаветы, а за платья держались пристяжные — ребята с мокрыми носами. Увозили, а убыли не было: другие вставали на пустопорожнее место у станков, у котлов, у краснорожих печей, в проходных будках.

И сколько же народу рабочего на свете — не переведешь!

До Петровок — считали бабы — гостил туман-кашлюн, пока не высушали его рабочие груди, пока не впивался он и малым и большим весь и без остатка в нутро.

В первый бестуманный вечер, как на праздник, вылезали посидеть на крылечках, на скамейках под окошками, встретить лето, поглядеть на чистое вечернее небо, какое оно есть.

Переводились туманы, попросыхали улицы до первых дождей, можно было проходить в начищенных сапогах, кабаки торговали хуже и хуже, кабатчики сидели у дверей и шелушили семячки, белые шестерки

от нечего делать лежали брюхами на подоконниках, ловили мух, мужики с бабами проходили мимо, не глядели, кабатчики напрасно делали зазывные поклоны.

Катил летний хозяин по небу золотобровый, обрастала земля зелеными шкурами, наливались деревья ветками, листочками, плодами, шумела над землей мука белая, мука черная, мука пшеничная, от загару растрескивались просёлки, большаки, тропинки, — пережёг, перепалил золотобровый, выпил весенние речки, ручьи, зачерпнул золотыми пригоршнями из больших рек, озер и морей.

Несло над землей болотною гарью, дымом трав, дымом цветов, крепким ржаным ветром, жаром зажженных глин и песков... Захлебывались на земле, как на горячем поду́, и чистая и черная сторона городская.

А ночью на Числихе у Флора и Лавра сторож бил в набат: пожар на Числихе.

В тесных улицах долго и тревожно пахнуло гарью. Просыпался обеспокоенный человек ночью — снился ему пожар — и крестился. Будто смирнее становилось на Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, замолкали гармошки, песни, на сердце ложилась тоска, когда у соседа был неостывший покойник.

А потом, вдруг, в Ехаловых Кузнецах на всю улицу шум. Журжак с журжей не поладили, вынесли сор на улицу. Журжа в разодранной юбченке выскочила в окошко, закричала, завизжала. Пьяный журжак выскочил за ней без пояса, с сапогом... На углу засвистел в свистульку городовой, схватил журжака. Завысовывались из окон, из дверей, из ворот, из калиток головы, подолы, сапоги, руки... Побежали со всех концов. Журжа плакала, закрывая стыдливо голый зад. Журжака ругали, пересмеивали, вязали веревкой и вели в участок.

Журжак упирался, как козел, обеими ногами, бодался головой, оглядывался назад через плечо и кричал на журжу:

— Режиком заножу!

— Что деется, что деется, молодые хорошие! — шамкали старухи.

Журжака толкали в спину, тащили, помогали итти коленком. Журжа глядела вслед, жаловалась бабам на житье горькое, на побои журжацкие... Бабы стыдили за срам и жалели.

Отшумев, отсмеяв, отспорив, люд весело расходился. Мужики, разогретые журжей, лезли к бабам, те брыкались, посылали к журже, не откидывали руки от обнимки, льнули... Ребята-журженята сновали по улицам, названивая в звонкие колокольцы глоток. А журжа покачалась за воротами, выглянула на улицу и, крадучись, заспешила в участок— освобождать журжака...

И опять жизнь пошла по своему кругу, как часовая стрелка, шагая по черным ступенькам.

У кабака Митюшка Козырь в перепляс плясал с гулящей девкой и визглявил:

У-стюшкина ма-а-ть
Собира-а-лась помирать,
Ей гроб теса-а-ть,
Она по полу пляса-а-ть.

По улицам ночью ходил буян Иван Просвирнин со своей артелью. В темных закоулках колотили встречного и поперечного, паляли из бульдогов, показывали большие самодельные ножи, с уханьем уходили в ночь, хохоча и слушая во мраке, как бежит напуганный человек по колкому фашиннику.

Приходили родины, свадьбы у Флора и Лавра, в Рощенье, на Крови, на Подоле, приходили гостины, праздники, именины, похороны. Любили, плакали, смеялись, пели на черной рабочей стороне.

Рвали рассветный и вечерний воздух гудки, ныли над крышами рабочих домишек, замолкали с воем, оставляя долго неумолкавший звенящий зуд в улицах, в тупиках, в переулках...

Над жизнью, над горем, над радостью, никогда не уставая, валил густой сажный дым красных фабричных труб. Будто стояли они дозорными, стерегли люд на Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, ходили за ним по пятам, загоняли в свои рыжие корпуса-корабли изо дня в день от шести до шести, от шести до шести.

Глава II.

Стычка произошла в Ехаловых Кузнецах.

Иван Просвирнин катил свое большое тело на кривых ногах посередь дороги, давил крепко и густо сапожищами весенний чавкающий снег, мотал большой черной головой каждому своему шагу и нёс на отлете стиснутый кулак, как маленький котелок.

За ним подхрамывал Кленин, уставал догонять, напрягался через силу да шел враскачку Кукушкин, засунув руки в карманы ватного пиджака.

Навстречу, не торопясь, двигался Егор Яблоков. Сжав зубы, паля злыми темными глазами, Просвирнин положил на грудь Егору широкую пятерню, скомкал ее вместе с отворотами пальтишка, уперся в снег колесами ног и тряхнул.

Клёнин и Кукушкин невесело заухмылялись, пряча глаза где-то за плечом Егора.

Спокойно глядя в темную муть бесившихся глаз Просвирнина, Егор остановился.

— Ты помни, Егорка! — зашипел Просвирнин, — мы тебе пересчитаем ребра! Ты не мути на заводе. Двум медведям не жить в одной берлоге. По-о-нял?

Егор наморщился, крепко и твердо оторвал руку Просвирнина от пальто, своротил с дороги и сказал:

— Хорошо. Я понял. Но и ты кое-что запомни!..

Просвирнин тяжело и грузно захохотал вслед уходившему Егору. Клёнин тихо подхохатывал, а Кукушкин щурился пьяными глазами.

— Егорка? Слышь, Егорка? — кричал Просвирнин, — отчаливай к себе в Сормово. Ты нам не ко двору. Оглянись, что ли? Не беги!

Егор быстро уходил, глядя себе под ноги и ёжась в пальтишке.

— В другой раз! — сказал Кукушкин. — Никуда не уйдет. Пошли дальше?

— Мы-ста Сормовские! Мы-ста Путиловские! — кривлялся звонко и вызывающе Клёнин, переступая с ноги на ногу.

— Мы ему спесь выбьем, ребята, беспременно! — рычал злобно Просвирнин.

Вечером в окошко Егора забарабанили. Егор отвел в сторону ситцевую занавеску и вздрогнул. К стеклу прилипли глаза Просвирнина. Они смотрели в упор и не мигали — черные, горящие на блестящих больших белках. Просвирнин потянул раму.

— Отвори, Егорка! Надо поговорить. Выдь на улицу! — и криво усмехнулся, продолжая тихо барабанить по стеклу.

Егор задернул занавеску, прислушался к заскакавшему под рубашкой сердцу, вытер вспотевшие вдруг руки о штаны, подошел к столу и сверху в стекло затушил лампу.

— Идет! — сказал торжествующий голос Просвирнина.

На крыльце затоптались. Кто-то пересмехнул.

— Отойдите, ребята, на дорогу! — опять сказал Просвирнин.

Егор слышал в темноте, как ходили в груди часы, и будто каждый удар услышал бы всякий, кто зашел в комнату. Он ждал. Его ждали за окном. Устали ждать. Снова тихо забарабанили. Барабанили долго и настойчиво. Егор порывался к окну и останавливал себя.

— Егорка? — звал Просвирнин. — Егорка? Трус! Выдь на минутку! Честное слово не тронем. Поговорим по душам, Егорка!

Что-то долго и несвязно говорили на крыльце, а потом опять барабанил Просвирнин.

— Егорка? Хуже будет! Выходи на мировую.

Егор, скучая, пережидал, когда уйдут. Ныло где-то в желудке, в горле сохло и жгло.

Уходя, топтались на крыльце, заглушенно ругались, бросили в окно мокрым снегом. Ночью проходили мимо дома с песнями и гармоньей, останавливались, всходили на крыльцо, шарили раму... Егор отодвинул кровать к задней стенке и вертелся всю ночь... Так и началось главное.

За Егором следили, подстерегали его, вели с ним задирающие разговоры на заводе, на улице. Рабочая сторона твердила, шептала, думала о ссоре, ожидала развязки. Егора, крадучись, предостерегали. Зеленый луг, Числиха, Ехаловы Кузнецы робели перед пьяной удалью Просвирнина, терпели давно и молча шум и грохот просвирнинской артели. По ночам боязливо слушали топот проходивших по фашиннику ног, уханье и рёв песен, плотнее прикрывали рамы, тушили огни, с опаской выходили

за ворота, прятались к заборам, убегая от голосов шнырявшей во мраке артели. Городовые заискивающе усмехались на проказы Просвирнина и козыряли ему днем. В кабаках, трактирах Просвирнин пил и ел, ни за что не платя. Вваливался он с опущенной черной головой, хлопал наотмашь дверью, подходил к стойке и кричал:

— На-л-л-ей!

За ним подходили другие. Бежали шестерки, размахивая ручными салфетками. За столиками рабочие будто приседали и становились вровень с бутылками, с пивными кружками, стаканчиками. Затихали пьяные. Кабатчики услужливо торопились, хватали графины, выплескивая щедро водку дрожащими руками, наливали через края...

— Закусочки-то, закусочки-то! — стрекотали голоса.

— Нне-на-до! — хрипел Просвирнин. — Нал-ли-вай ребятам!

У стойки темной грудой громоздилась просвирнинская артель, пожирала закуску, лазила руками в тарелки, опустошала графины, роняла и била посуду, харкала и сплевывала на пол, топталась на плевках — и гомонила между собой, не глядя ни на кого в трактире.

Потом артель проходила на чистую половину. Шестерки таскали туда графины, бутылки, подносы с закусками. Рявкала трехрядка просвирнинского музыканта Сашки Кривого «Дунайские волны» и наполняла кабак плачем и стенанием. Просвирнин запевал, артель подхватывала — начиналась гульба. Из кабака, кто поосторожнее, поспешно уходили.

Иногда уходить не удавалось. Просвирнин рассаживался у стойки и никого не выпускал. А то обходил столы, всматривался в лица, наклоняясь низко горящими глазами, поднимал руку и бил. Завязывалась драка. Бились кулаками, стульями, выхватывали ножи, валили на пол, хрипели на полу и топтались ногами.

Трактир пустел. Тогда Просвирнин подходил к кабатчику, накреняясь вперед своим широким, как полотнища дверей, телом, как бы гладя, брал его за бороду, всматривался в открытые глаза, убегавшие в стороны, и шипел, злобно беснуясь:

— Зов-в-и полицию?

Кабатчик робко делал улыбку. Как собака перешибленной лапкой, махал рукой и выдавливал подобострастно:

— Куда уж, Иван Иванович? На друзей жалоба — срам.

Просвирнин держался за бороду, скрипел всеми зубами, подрагивал лицом и быстро отдергивал руку. Кабатчик вытирал на лбу пот, метался за стойкой, переставлял посуду, выдвигал кассу в замешательстве, звенел рюмками.

Просвирнин молча качался у стойки и, наконец, протягивал поверх графинов и закусок темную и грузную ладонь.

— На артель царских?

Кабатчик радостно совал кредитку и пожимал лапу, со смешком закрывая ее своей ладошкой. Сашка Кривой играл марш, шестерки распа-

хивали двери, и артель гуськом вышагивала на улицу. Так Просвирнин поочередно обходил все кабаки и трактиры на Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

Хмуро и молчаливо бил он кувалдой весь день в кузнечном цеху после бессонной ночи, пил коростными губами воду из бачка, глядел на горящее железо красными глазами и косился на бригадира.

В шесть часов за проходной будкой собиралась из разных цехов его артель и вместе шла в город.

Ночью к ней прибавлялись Свешниковские, Бурловские и Мушниковские. Артель выходила на гулянку.

Была у Просвирнина журжа — Аннушка, мойка на винном складе. Девушки бегали от Просвирнина. Увидал он Аннушку на улице и стал ходить за ней неотступно. И пьяный и трезвый болтался у ворот Аннушки, сидел на мостках и поджидал, опустив голову в землю, просиживал ночи, бил у ней стекла, ломал палисадник. Потом пришел к ней ночью и сделал ее своей журжей. Аннушку утром вынули из петли — отходили. А на другой день она сама пришла к Просвирнину и осталась у него.

Когда приходил Просвирнин в ярость на улице, поперек перегораживала его артель улицу, разгоняла гулянку, била и громила кабаки, разворачивала перила, бежали бабы к Аннушке и звали ее.

Аннушка торопилась с бабами... Тогда люд смеялся. Просвирнин останавливался с занесенной рукой, оглядывался по сторонам, застенчиво улыбался, утихал, охватывал огромной рукой за плечи маленькую, как девочку, Аннушку и, покачиваясь, смолкая, ступая в короткий шаг с ней, уходил.

— Что подол делает? — гоготал люд сзади.

А потом нещадно, мстя за надругательство, побои и страх, били Кукушкина, Клёнина, отрывали планки у гармоньи Сашки Кривого, выдергивали волосы у Алешки Ершова, гнали их с улюлюканьем и гамом вдоль улицы. Ребята на подмогу отцам пуляли по ним из рогаток, бабы кидали чем попало и визжали.

Потом приходила расправа с обидчиками. Просвирнин вымещал за товарищей: пускали в ход ножи, трости, кастеты, проламывали головы, дробили ноги, укорачивали жизнь. Били заодно городовых, отнимали шашки и ломали, били проходящую публику, стаскивали извозчиков с сиденья, гоняли по улицам на извозчичьих клячах, бросая их у кабаков, попадали в участки, где их, в свою очередь, в холодных били пожарные.

После побоев подолгу отлеживались на квартирах и сидели неделями в арестном доме на Кобылке.

Стихала тогда жизнь на Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах, мирно и трудно катясь надсадной работой, плясками, песнями и покоем. Аннушка ходила — краше в гроб кладут.

Но дни прятались за дни. Будто на многих тройках с колокольцами, с ширкунцами вдруг вырывался Просвирнин из-под запора и наверстывал потерянные драки, буйства, поножовщину.

— Вышел! — говорили на Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах.

— Изводу на него нет!

На всех фабриках и заводах раздавался гул от первой ночи, повисали над каждым угрозы расправы, страха и тревоги. Из месяца в месяц, из года в год.

Егор работал с Просвирниным на железной дороге в мастерских. Цехи были рядом: токарный и кузнечный.

Еще не освоился Егор в мастерских, но уже знал всю подноготную Просвирнина: нашептали товарищи, наговорили ночные крики на улицах. А на пятый день Просвирнин подошел в перерыв к станку и сказал:

— С тебя, Яблоков, надо литки с поступлением? Ставь четверть! В получку разопьем. Иде-ет?

Токаря кругом засмеялись.

— Дешево и сердито, — продолжал Просвирнин. — Без отступного ничего не выйдет.

Егор близко всмотрелся в Просвирнина и ответил:

— Я не пью.

— Не вели́ко дело. Мы за тебя выпьем. Верно, ребята?

Токаря снова засмеялись, но ничего не сказали.

— Так приготовляй четверть, Яблоков, — уходя кинул Просвирнин,—дожидаться будем. Не ты первый, не ты последний. Порядок такой.

Красный, Егор усмехнулся и сощурил левый глаз щелочкой.

— Посуленого три года жди. Не пришлось бы тебе, Просвирнин, из своей четверти наливать?

— Поглядим ужо!

Токаря обступили Егора.

— Чорт с ним — поставь! Беда будет!

— Со всех берет. Изувечит разбойник. Все откупались. Раз пристал — не отвяжется. Ты не знаешь его. Плюнь! От греха подальше.

Егор твердеющим голосом заговорил:

— Нет, ребята, этому потакать нельзя. Свой со своего тянет? Его надо в выучку. Он на испуг берет.

— Смотри, Яблоков, каяться будешь. Эта сволочь не в пример другим... Нахрапом возьмет.

В получку снова пришел Просвирнин.

— Яблоков, как насчет литок-то?

— Да, все так же, — отсмеивался Егор.

— Не поставишь?

— Не поставлю.

— Твердо?

— Как камень.

— Твердый ты человек. Только мы не таких твердых видали, — угрожающе загнусил Просвирнин. — Без магарыча ты со мной каши не сваришь. Попомни!

Токаря заотодвигались и стали уходить.

— Я с тобой варить каши и не собираюсь.

— Так... так... — раздумчиво догнусавил Просвирнин: — в наш приход со своим уставом, как попы говорят?

Проходила получка за получкой. Просвирнин приставал. Пьяный поймал Егора на улице и затащил к себе. Дома обхаживал Егора.

— Ты со мной подружись, Яблоков, — бормотал он, — я за тебя, ты за меня. В кулак зажмем завод, как у Аннушки!

— Ты и так завод в кулаке держишь, — отвечал Егор.

— Один ты покориться мне не хочешь. А я тебя согну. Честное слово, согну. Ты передо мной, как моля перед щукой. Я заглотну тебя.

— Костей во мне много.

— А я костоправ. Чавк, чавк и — готово.

И когда Егор вырвался от Просвирнина, тот высунул голову в окошко и долго глядел ему вслед пьяными глазами, будто примеривался, с какого места лучше схватить Егора.

На другой день Егор встретился с Аннушкой. Остановились. Встретились еще раз. Поговорили. А потом зачастили встречами, держали друг друга за руку и не могли накупаться: он в серой, она в синей воде глаз. Люди увидели. Сказали Просвирнину. Тот приметнее заскользил взглядом по Егорову лицу, а взгляд — будто уголь горячий выскочил из красной топки.

И началось: артель на артель, артель Яблокова, артель Просвирнина. Аннушка с фонарями на лавочке у дома сидела, а из окошка на нее глаз не сводил Просвирнин, травинкой доставал до щеки. Вдруг затихло на Зеленом лугу, на Числихе, в Ехаловых Кузнецах после фонарей Аннушкиных, будто шайку свою распустил атаман. Целый месяц Просвирнин ни с кем не сказал на заводе слова, не видали пьяным на улицах, сидел дома сидень-сиднем.

— Очухался, дьявол! — говорил люд.

— Стережет Аннушку.

— Ай да Яблоков!

— В середку ударил.

— В середку не в середку, а около этого.

— Не сдобровать ему, мастеровщинка! Могилевской губернией смердят делишки. Просвирнин, он за Аннушку под кувалду ляжет. И баба тоже сера. Напополам к обоим прилипла.

— Чья только возьмет? Егор тот исподтишка, ребята, ножку подставит, — Ванюха с оглоблей разбежится, а Егор его и пырнет...

— Ишь ты! Егора руку держишь?

— А ты чью? Кому не насолил три раза на хлеб Просвирнин! Кому?

— Да, ясно всем.

— Общее дело. Просвирнин — хуже болезни у нас. Сторона наша — из-за него двор нечищеный: вывозить надо. Зажал, прохвост, всех кучей и в одиночку, как лёд в половодье в зажорах.

— Отдубасить его, чтобы закашлялся... чтобы не для чего было с постели вставать — заживет вся сторона без шуму и скандалу. Ведь выйти, ребята, нельзя без опаски? Бабы будто запрещенные с сумерек носу не показывают.

— Гляди за Егором — и весь тут сказ! Он не промахнет!

А Просвирнин с артелью опять забушевал. Вырвался с черной половины на бульвары, выкорчевали в ночь все скамейки, покидали в канавы, повыдвигали вверх тормашками на дороги и кресты, перегасили уйму фонарей, пооборвали телефонные проволоки и переплели улицы.

Утром водили на допрос. Никто не показал против. Обошлось.

Он гулял, а Аннушка, видели, к Егору ходила: полушалок на глаза.

(Продолжение следует).

Разин Степан.

(Роман).

А. Чапыгин.

(Продолжение).

С ордынской стороны от берега Волги две косы песчаных, на них чернеют смоляными боками обсохшие, покинутые струги. На горе над Волгой кабак — с версту в просторных полях голубеют в знойном тумане бревенчатые стены города с воротной деревянной башней—город четырехугольный, на углах его, кроме воротной, башен нет. За стенами города монастырь, стены церквей высятся — белеют штукатуркой, окна церквей узкие, главы жестяные. На берегу в кабаке прочная из двух половин дверь распахнута — гудят голоса питухов и бабьи взвизги — хмельные, задорные... у угла кабака на камне, прислонясь спиной к толстой жерди с кабацким знаком—помялом наверху—сидит стрелец в малиновом выцветшем на плечах кафтане, в глаза стрельцу с Волги бьет белым блеском, стрелец жмурится, бороздит по песку острием бердыша. Ему хочется делать то же, что перед ним шагах в пяти на откосе делают два солдата с короткими саблями в пыльных епанчах...

Солдаты обхватили пьяную краснощекую бабу, пыля песок, грузно впахиваются в него стоптанными лаптями и потные, хмельные бормочут:

— Ты укройся, милага, в япанчу... Шалая! она даст сдох и младеню твому — вишь палит небушко?..

У бабы на руках в тряпье ребенок посинел от бесполезного плача и больше не издает звука, лишь шевелит ртом.

— Ты титьку ему сунь! И покеда суслит... я-тя... сама знаешь... сласть?

Баба мотает головой.

— Ой, косоротой! Мне ище ране мамонька заказала — мужиков-псов любить с младенем у титьки — бешеной буде, младень-от?..

— Истинно! то мужиков, а мы с Васем — салдаты...

Баба пьяно смеется:

— Салдат не к месту! а хто для салдата миронью запас?

— Во што, чуй! у салдата в кажиной бабе доля... Вась, лапай младеня — я жонку япанчей укрою...

— Краше тогда в кабаке за бочками?..

— За ноги выволокут, не дадут, плоть твою всю огадят. Япанча она-те что баня, — держи, Вась!

Солдат тащит у бабы ребенка, передает, другой держит ребенка вверх ногами. Первый широкой епанчей окручивает себя и бабу — оба валятся в песок, от них пахнет потом, водкой и пылит кругом...

— О, чорт! умял-таки бабу?..

Стрелец расплывается в улыбку, прибавляет громко, бороздя песок оружием:

— Эй, салдаты! вам ужо на ужину батоги-и.

— Молчи, мать твою перекати, разбойничий кафтан!

— Ты рот полой поправь младеня, заклекнется, я на-тя тогда — послух у судьи — в ответ хошь стать?

Солдат поправляет ребенка, качает его на руках, а стрельцу говорит:

— Бабу тебе жальче — не робенка?

— Жалеть? хи! не мало их под вами валяется...

— На-кось, курь! не на Москве, носов за курево не режут...

Солдат тащит из глубокого кармана епанчи трубку и кисет.

— Запасливой ты! — стрелец курит, смотрит на Волгу.

С насадов безмачтовых и низких судовые ярыги таскают в прибрежные амбары мешки с мукой и зерном. Голые спины потны, отливают бронзой — спины ярыжек в шрамах, рубцах и царапинах. Рабочие в крашенинных портках, босые, переваливаясь идут согнутые по длинным плахам. Тощий, загорелый в валяной шляпе, на корме одной насады стоит приказчик, в руке плеть, время от времени кричит и бьет плетью по голенищу сапога.

— Спускай ровно! не дырявь ку-у-ли.

По берегу Волги едко несет соленой рыбой, пахнет дымом. У берега костром сложены бочки — недалеко от бочек с рыбой у самой воды бледный при ярком дне огонь. Трое каких-то босых, лохматых без шапок жарят на коле барана. Колья заготовлены, лежат у костра, парни кричат, и никто их не слушает.

— Робята! Нет ли у кого для жарева натодельной железины?

— Век мясо не сжарить — горит палочье...

— На зубах дойдет! мякка баранина-т...

— Самара! в ней воеводы да бояра — мать их в каленую печь... — ворчит казак в синей куртке, синих штанах, в сапогах запыленных и рыжих. Казак у того же костра кипятит воду в деревянном ковше. У огня калит камни и, накалив, осторожно опускает в ковш.

— Ты чего это, станишник?

— А вот согрею воду, да толокна ухлебну.

— Тебе дольше кипятку добыть, чем нам баранины укусить?

— Я скоро!

Казак, нагревая камни, взглядывает на гору — на двойном фоне снизу желтом, сверху ярко-голубом—на горе над берегом видна конная фигура — лошаденка мохнатая, на ней татарин, подогнувши ноги, без

стремян, за спиной саадак, обтянутый верблюжиной, набит стрелами и лук, — рыжеет шапка островерхая, опушенная мохнатым мехом. Изредка одно и то же казак кричит:

— Кизилбей мурза — гляди коня!

И тоже однообразно отвечает татарин:

— Кардаш урус! ту, коня, ту...

Казацкий конь стоит смирно, лишь мотает хвостом, к его седлу приторочены узел и ружье с саблей.

В кабаке все слышнее шум и ругань — пьяные солдаты играют в карты, на грязном полу сидят в кругу. Кабацкий ярыга—служка в дерюжинном фартуке, в опорках на босу ногу пристает к солдатам.

— Заказано, служилые, на царевых кабаках лупиться в кости, в карты тож!

— Крою! ядрена с поволокой.

— А не лжошь? во, он — туз!

— Туз не туз — крою червонным пахлом! [1])

— В кои веки пахол идет выше туза.

— Эй, служилые!

— Ты поди! бледня тож заказана, а их вон—ну-ко всех? умаешься!

Ярыга идет к целовальнику.

— Гонил я, Иван Петрович, да неймутся салдаты.

За прочной темной стойкой целовальник теребит широкую бороду, не слушает ярыгу, кричит на баб:

— Эй, стервы! кто такой удумал казну государеву убытчить — за приставы возьму?

Бабы носят худым котлом с Волги воду, полощут винные бочки и, опрокинув посудину, лежа на животах, пьют. Одна, озорная, пьяная, шатаясь, идет к целовальнику, повернувшись к стойке, задрав лохмотья, показывает голый зад.

— Эво-ся, борода, твои пропойные деньги — зри-кось!

— Гони ее, стерву, в хребет — дуй! — кричит целовальн

Ярыжка хватает бабу, не дав ей поправить подол, волокет на воздух.

Два солдата вскакивают на ноги, из кучи играющих кричат целовальнику:

— Мы те покажем, как жонок из кабака!

— Не гони баб, коли бороду жаль!

Целовальник кричит слуге:

— Кинь ее, Федько — не трожь! подь ко мне.

Ярыга подходит, нагибается к целовальнику через стойку, целовальник косит глазом на солдат, шепчет:

— Воно стрельцы! може, уймут салдат — скажи...

---

[1]) Пахол—валет.

Ярыга идет к стрельцам. Рыжие кафтаны в углу за столом пьют пенное, бердыши кучей приставлены в угол, лица красны, шапки сдвинуты, говорят стрельцы вполголоса, оглядываясь:

— Век и служи... побежал, имают, бьют кнутом на торгу, в тюрьму шибают...

— Из тюрьмы да битой сызнова служи, а отощал — ни земли тебе, ни торга, ни жалованья...

— В старости за собаку пропадай!

— Эх, в чорной обиде, браты, жисть волочим.

— А что, коли щастье изведать, как лопухинцы?

— Во, во — сказывают на Иловле Лопухин приказ весь сшел к Разину.

— Гляди, робяты! много слухов идет, нюхать надо...

— Оно и то—може, слух ложной? Ярыга! тебе чого? к нашим словам причуеваешься.

— Я, — нет! я, государевы люди, на салдат — унять бы картеж?

— Не мы начальники! у их маэр.

— Не трожь, парень! на то кабак, чтоб значит...

— Драка заваритца.

— Сойдут по добру — худче будет, как погонишь, кабацкое питье изольют, изобьют деи целовальника...

Ярыга отошел. К целовальнику с вестями сунулся приказчик с волжских насад, длинный перегнулся через стойку и, чтоб не замочить — узкую, мочалкой, русую бороду забрал в кулак.

— Тебе-ба, царев слуга, Иван Петров сын, наладить малого,— кивнул на ярыгу,— к воеводе...

— Пошто, Клим Митрич?

— А вот — тут за кабаком на горе поганой в справе стоит с двумя коньми... с поганым заедино козак, да у огня трое гольцов барана жарят... народ по всему пришлой, воровской... пожога-ба, грабежа какого ради упреждение потребно... у гольцов же рубы худы, портки кропаны, обутки нет — барана жарят! не окупной баран, сквозит грабеж?

— По ряду сказываешь, да вишь мой муравельник, без слуги меня затомашат — я же пуще головы берегу казну государеву! с кого, Клим Митрич,— с меня ведь сыщут пропойные деньги? коли пропажа, отвернись лишь... людей у тебя нѣ мало — выбери — за мое спасибо, верного кого, да и к воеводе... а?

— Правду баю, Иван Петров сын! судовые ярыжки теи ж гольцы, народ с Волги — почесть все были в тюремных сидельцах до Волги-т?.. Шепни-кось, головы не сыщешь? Про воеводу — беда...

Подошедший солдат стукнул кулаком по выгнутой спине приказчика.

— Спрямься, жердь! душа ценного ищет, а ты застишь...

Приказчик отскочил от стойки:

— Без притчины хребет ломишь, разбойник! Ужо начальству доведу...

— Доводи! по доскам ходишь? Волга-т глубока, не мерил.

— Грозить? утоплением грозить! ужо, вот целовальник в послухи, я-тя укатаю...—крича, махая валяной шляпой, приказчик выбежал из кабака.

— Ярыги! робяты-ы, пихни вашего захребетника в Волгу-у!—крикнул солдат из дверей кабака, а в ответ с Волги послышался громовой голос:

— Вты-ы-кай челны—браты!

В кабаке стрельцы, схватив бердыши, кинулись на берег Волги.

— Разин!

— С пожогом ли, с грабежом?

— Гуляй, народ! у черного люда крест, да вошь и живот весь...

С Волги голос, какого не было окрест, прогремел:

— Не бежи, пропойной люд! без худа в гости идем...

Целовальник перекрестился и бестолково засовался у стойки, бормоча под нос:

— Ой, матушка! казна государева—быть мне биту кнутом. Смерть моя, ой!

Ярыжка вбежал за стойку, приткнулся к бороде целовальника.

— К воеводе? в город?

— Пожди ты — уловят!

Солдаты спрятали игру, привалились к стойке, стуча кулаками.

— Пожжом бороду — или боченок пенного ставь!

— Приехали гости—пить зачнем!

— К чорту маэра!

За солдатами лезли бабы пьяные, растрепанные, рваные, голые руки тянулись к солдатам.

— Не обходи чаркой! нам питья, питья.

Золотился желтый атласный зипун, черный кафтан висел на одном плече. Разин вошел в кабак. Солдаты и бабы от стойки хлынули в сторону.

— Столы на середь кабака!

Столы мигом передвинули, кабацкий ярыга обтер фартуком верх столов, приставил скамьи.

— На скамьях питухи, а мы — соколы!

Разин сел на стол. На другой рядом поставили боченок с водкой и железные кружки.

— Гей, стрельцы! пейте.

Стрельцы по очереди подходили, принимали из рук Разина кружку с водкой, пили и, кланяясь, отходили, уступая другим место. Когда вышли все, старший из стрельцов выступил вперед, поклонился:

— А, вот мы, атаман-батько! — я за всех своих сказываю... надоела неволя боярам служить, воли занадобилось спытать... хотим с тобой головы положить — бери нас! мы твои... служить зачнем, не кривя душой.

— Будете мне служить, то еще пейте! а салдаты? или с нами бою хотят? гей, салдаты!

— А нет, атаман! зорю мы прогуляли и ныне ежели к полку придем, будут нам батоги...

— Так не пойму — воли вы, аль батогов норовите?

— Воли хотим, атаман! с тобой идем! стрельцы по тебе и мы по ним...

— Добро — пейте и вы!

С Волги казаки привели троих парней, поставили к атаману.

— Куда ваш путь, браты?

— Куда глаза и ноги ведут... шли искать работы — не сошли ее... голодно, съели с себя все!

— А нынче?

— Нынче на наше счастье пало — ты пришел; возьми с собой пищали не свычны, в грѐби гожи.

— В греби сядете — пищали обучим. Ну, гуляй!

Пришел казак с берега Волги.

— Ты отколь слетел, куркуль?

— Сам ты куркуль — я с Дона сокол! мне к батьку.

— Вот он батько!

— Ты отколь?

— От Ивана Серебрякова атамана! с мирным мурзой все за тобой по берегам гоняли — лошадей умаяли и оводно местом—беда!

— Ну?

— Погнал нас за тобой, батько, Иван Серебряков, наказать велел — «донской-де голудьбы низовиков с тыщу под Царицын привел», да Мишка Волоцкой в верхних городках набрал столь же и больши охотников ведет... под Царицыном челны и струги захватили... в островах на Волге тебя ждут...

— Пей, не зря гонил!.. у меня не хмельному место узко.

Разин сам налил казаку кружку водки.

— Пей и гони с мурзой в обрат — упредишь нас, скажи Серебрякову: «кто конной, пущай гонит берегом на Черный Яр, да ордынским с коньми ходить днем не можно — ночью ладнее... озер много, овод, изрону в конях не мало будет»...

— Чую... извещу по-твоему, батько, — спасибо!..

— Тебя как зовут?

— А Федько Шпынь!

— Ты завсегда в есаулах ходил с Васькой Усом?

— Тоже сбирается к тебе!

Казак ушел.

Бабы, продираясь сквозь солдат, полезли к водке. Атаман глянул на них через головы, сказал:

— Жонки в походе и не хмельные, на зем гоните этих, да чтоб ни одна из них в город до солнца не пошла.

— По слову справим, батько!

— А как дозор на дороге и в полях?

— Учинен... без пароля никого...

Выступил один из стрельцов:

— А так что, батько, один из наших в город утек!

— Эге-ге! когда?

— А так, что когда ты с Волги в челнах шел, ен сидел на камени у кабака, а к берегу стал, ен и утек!

— Ну я б его матку и бабу старую! справится воевода—дадим бой... нынь же пить, гулять и за дело, по которое пришли.

— Какое укажешь?

— Поднять с кос кинутые струги, починить в ночь, оснастить, побрать муку с анбаров, рыбу и в ход с песнями. А где прикащик?

— С насадов прикащик, батько, в Волге плавает—как лишь ты в кабак сшол, ярыги того прикащика в петлю, да кончили и в воду... лютой был с работной силой! ярыги теи нынче у воды костры жгут, все к тебе ладят...

— Добро! гуляйте, браты...

Разин иногда вскидывал глаза на целовальника, видел, как ярыжка сунулся к нему, и целовальник что-то сказал. Разин окинул кабак взглядом — ярыжки не было. Когда гнали баб, он исчез в суматохе.

— Гей, кабатчик! пущай твой ярыга кружки сменит.

— Да где он? не ведаю, вот-те Христос.

—. Христос у тебя в портках! ты ярыгу угнал с поклепом?

Целовальник начал теребить себя за бороду и бормотать:

— Народ вольной, атаман... я не ведаю... слова не несет... наемной, едино слово — ярыга!

— Сатана! жди суда — ежели окажется поклеп.

У кабака зашумели, плачущий голос ярыги взывал.

— Да, казаки - браты! я за хлебом сшел в город.

Кабатчик задрожал и сел на ящик за стойкой.

Разин крикнул, когда втолкнули в кабак ярыгу.

— Перед кабаком накласть огню, еще сыщите желизину!

— Батько!—сказал один рабочий с Волги,—мы тут барашка жарили на кольях и все тое желизины добирались, потом-таки нашли, у костра лежит.

— Волоки!

Рабочий мигом сбежал с горы, вернулся с железным прутом. Казаки против дверей кабака, натаскав головешек, разожгли огонь. Железину кинули калить.

Ярыгу держали стрельцы.

— Скиньте ему портки! — приказал Разин.

— Вот, парень! ежели ты не скажешь правды, пошто потек в город? — мы тебе спалим то место, без коего мужик бабе не гож.

— А-а! яй, яй! — ярыга начал сучить ногами.

— Стрелец! вот на рукавицы, сними с огня железо.

Ярыга метнул глазами на целовальника и закричал:

— Вон Иван Петров, атаманушко, меня с ябедой наладил!

— С какой?

— Молви-де воеводе скоро, — «пришли-де воровские казаки, сам Стенько Разин с ими, кабацкое де питье пьют безденежно, не платя николи, да разбой, пожог чинить сбираются».

— Киньте железо! парень все сказал.

— Ты, сатана-кабатчик, чего дрожишь? аль суда ждешь?

Целовальник выбежал из-за стойки, упал на пол перед столом, где сидел Разин, заговорил:

— Мутится разум, атаман вольной, разум мой помешался... послал парня — мой грех! Потому государеву казну пропойную беречь указано— хучь помереть правду молвю — бьют за нее кнутом, царю крест целовал беречь деньги, кабацкого питья в долг не отпущать и безденежно ни отцу, ни брату, ни родне какой не давать?

— Поди на свое место! мы подумаем, как быть. Гей, товарищи, за дело — струги волокчи!

— Чуем, батько!

Кабак опустел, остались лишь целовальник за стойкой, ярыга в углу натягивал крашенинные портки, да у дверей на карауле два стрельца с бердышами. Ни кабатчик, ни ярыга не говорили ни слова. Стрельцы были угрюмы, лишь один закуривал трубку, другой таки не выдержал молчания — сказал:

— А надо-ть, брат, воли-вольной хлебнуть! ну его вечное, служилое дело — за нуждой к тыну и то голова едва спущает.

Другой курил и молчал.

С высот за Самарой на Волгу понесло вечерней синевой, за высотами спряталось солнце. По воде широко и упорно запахло свежим сеном.

На косах против кабака, около заброшенных стругов плещутся в воде люди.

— Ма-ма-ть!

— Тащи! закрой гортань.

— Под днище за-а-води-и!

— Подкрути вервю, лопнет!

— Ду-у-бину-шка-а!

Трещит гулко дерево.

— Не ломи-и!

— Все одно — починивать!

— Ге-гей, товарищи! справляй.

Один из стругов подведен недалеко от берега к насаду, через насад[1] по сходням ярыжки таскают из амбара обратно на Волгу мешки с мукой, иные катают бочки с рыбой. Треск и уханье.

— Берегись—ты-ы!

— Розмать твою, по ногам, чорт!

[1]) Насад—барка, ладья, с короткой мачтой, иногда на мачту вешали парус.

— Подбирай на чем ходишь!

Волны бьют в берег. Струг под стуком и хлопанье тяжестей дрожит. Синяя Волга серебрится просветами, посылает к далекому и ближнему берегам белесые волны. Волны, наскакивая одна на другую, торопясь, шумом своим как бы повторяют тревожный говор питухов кабака.

— Ра-а-зин!

— Ра-а-зин при-шо-о-л!

Еще из-за круч самарских не встала утренняя заря, а струги, снятые с отмелей, законопаченные, подшитые по смоляным бокам белыми заплатами дерева, уходили оснащенные. На корме переднего рыжела шапка, чернел кафтан и слышался голос:

— Береги, собака, цареву каз-ну-у!

Многоголосым уханьем ответила Волга грозному голосу атамана. Рассвело. На одной из отмелей сидел на зеленом сундуке, набитом медными деньгами, голый человек с железным ошейником, через ошейник к сундуку была привязана веревка.

Человек с широкой, рыжеватой бородой дрожал и крестился. На сундуке с боку виднелась надпись:

«Тот вор и пес, кто убытчик казну государеву питии не пьет на кабаке, а варит на дому без меры».

Потный, уперев локти в отвислый на стороны живот, воевода лежа читал издержечную записку старосты:

«Июлия во вторый день, воеводи Ивану Иванычу Хабарову несено свинины полтора пуда, рыбы па-л-то-си-ны на десить а-лт-ын»...

Записка упала на шелковую голубую рубаху вместе с пухлыми волосатыми руками — воевода всхрапнул. Курная приказная изба была жарко натоплена, слюдяные окошки задвинуты плотно: иначе одолевали мухи. Солнце за окнами пекло. Жар улицы усиливал духоту прокопченной избы. В избе пахло потными волосами и еще чем-то кислым. За длинным столом на широкой лавке, к лавке была придвинута скамья, воевода лежал на двух матрацах, положенных один на один. За дверями в сенях шептались дьяки, не смея ни ходить, ни двигать скамьи.

Что-то беспокоило рыжебородого боярина, он мычал во сне, свесив с ложа бороду, почесался, вздрогнул. Еще почесался и, не открывая глаз, начал шарить рукой под рубахой. Пожевал толстыми губами, проворчал проснувшись, подремывая:

— Продушили избу дьяки, клопы из поруба тож лезут.

Шлепнул себя по животу, кряхтя сел. С него сползли желтые шелковые портки, расшитые узорами, обнимая волосатые ляжки. Воевода залез руками в портки:

— Эк, жрут! — нащупав клопа, оскалил зубы: — Я тя на пытку, дьявол... на,—и раздавил клопа.

На столе липовая чашка с квасом, козьмодемьянского дела—резная. Воевода отпил квасу и начал оглядывать ложе:

— Малая животина, а как пес, столь кусает... и с чего зародится? даже удивление — от духу... как же без духу быть? на корм просился у государя и обонял—от него шел тот дух... и коли же царь испущает, так нам как без оного? а чорт! я—те, а-а, на!

Воевода снова показал зубы и раздавил клопа. Поднял голову. В сенях становилось шумно. Крикнул:

— Эй, кто тамашится? ведомо всем, что воевода почивает!

Дверь приоткрылась, просунулась взъерошенная, волосатая голова дьяка:

— Прости, отец-воевода — тут, я не пущаю, стрелец лезет к тебе.

— Пошто ему?

— С тайными де вестями.

— А ну, коли — пусти!

Вошел стрелец в малиновом выцветшем на плечах кафтане, без бердыша, поклонился поясно:

— Челом бью воеводе!

— Ты пошто лез ко мне?

— С вестями, боярин!

— Величай полностью! скажи, да не путай, не таи и не лги.

— Воевода, боярин-отец! сегодня рано к кабаку с Волги в челнах...

— Ну-у?

— Воровские козаки — Разин с товарыщи пристали.

— Ой, что ты? эй, не лги, парень!

Воевода вскочил на ноги, портки с него сползли. Ширя ноги, боярин ходил по избе, портки волочились за красными сапогами, из-под рубахи свешивался низ сизого живота.

— Стервы девки! сколь приказано пугвицы отставить, опушку раздвинуть, застегнешь — брюхо режет... стрелец! на низ мой не гляди, сказывай...

— Только не все ведаю, боярин.

— Таить? я-те порву твою сивую бороду—мотри!

Воевода шагнул к стрельцу, запутался в портках, покраснел, сгибаясь с трудом, натянул узорчатый шелк и не мог нащупать пуговиц.

— Стервы! так молышь — Разин? а нынче где?

— Должно, уплыл вниз...

— Уплыл? пошто пригребли к Самаре? не зря воры пригребли? пошто сивая борода не дознался — куда они сошли, — а?

— А вот, боярин! был я у кабака на Камени...

— Сказываю, величай полностью.

— Воевода и боярин, был я у кабака на Камени — зрю на Волгу и вижу плывут теи козаки...

— Воры!

— Плывут воры — я в ход, чтоб упредить тебя, да не поспел: следом за мной на гору лезут, и по полям козачий дозор стал, я в ров, уполз в траву, а слух вострю — что-де зачнут говорить?

— Что подслушал? годи мало! окаянные скрутили совсем ноги — сдену портки, ты не баба, а там вон на лавке мой озям—дай!

Стрелец подал воеводе кафтан узкий, длиннополый.

— Я, воевода-отец, лежу и чую: «Снимем с луды струги, починим — да к Царицыну». И мекаю я: Разин уведет с собой кинутые струги?

— Не велик изъян! худче не чинили ли чего? Пожога, грабежа, не познал о том?

— Мекаю я, — сошли на Волгу, боярин!

— И-и, воевода-а! сколь говорю. Сошли ежли, то нам без убытку и отписки не надобно... не люблю отписок.

— Тогда лишь, воевода боярин, я с оврага сдынулся да скрозь траву глянул, а шапку сдел и зрю: на гору заскочил прикащик с насад, государев недовезенной хлеб в Астрахань правил, кричит, руками машет, а за ним судовые ярыги гонят — дву человека... вервю на шею ему кинули, поволокли к Волге, стало — топить.

— А, стрельцы? стрельцы ж даны прикащику в бережение и понуждение тых ярыг!

— Чул я — воевода-боярин, что стрельцы к Разину дались...

— Сошли? все вы крамольники, изменники, не радеете великому государю, ну, а там еще салдаты?

— Салдаты, воевода-отец, когда еще был я у Камени, сплошь бражничали, в карты лупились и тоже, думно мне, сошли?..

— Картеж заказан? целовальника к ответу!

— Целовальнику чего поделать? а как я лежал в овраге, целовальник должно наладил ярыгу к тебе, да его дозор перехватил и поперли к кабаку в обрат... в тое время травой уполз к городу и перед тобой стал.

— Стать-то стал, да мало знаешь... но вот, ежли, как довел ты — воры угребут не чинив худа, ты, стрелец, не полоши народ в городу и кого увидишь — слухи о ворах пущает, аже [1]) грамоты — листы подметные дает, волоки в приказную ко мне, не идет—бери караул и волоки... где целовальник? а ярыга где?

— Думно мне, воевода-отец, сыщется целовальник — водкой откупитца, а ярыге куда деться? — сыщется тож...

— Ну, поди! гляди и слушай, будешь у меня в доверьи.

Под вечер жар дневной спал, но в воздухе парило, заря украсила золотом жесть на главах монастырских церквей...

Два конюших воеводских ко крыльцу приказной избы подвели коня, воевода, застегнув на все пуговицы озямный кафтан, с помощью конюшего сел и поехал домой, оглядывая хозяйским оком улицы, по которым ехал.

---

[1]) Аже—если.

В просторной горнице, душной от запаха какой-то травы с белыми цветочками, раскинутой под лавками на низком, широком стульце, обитом бархатом, дремала грузная воеводша в шелковом зеленеющем сарафане, в таких же нарукавниках, застегнутых на жемчужные многие пуговицы. Сарафан вздымался и топырился у ней на животе. Воевода, о чем-то думая, потряхивая головой, ходил, заложив руки за спину:

— Митрий Петрович, боярин! што ты все трудишься, устал, чай, думать с дьяками? — воеводша подняла голову.

Воевода подошел к жене, взял ее волосатой рукой за полный живот, потряс:

— Максимовна, мать, чай тут у тебе детем не быть?

— Благодарение Христу! пошто так? я здорова.

— Жир, вишь, занял место...

— Ой, хозяин, сам-от ты жиром заплыл — не я, я еще не чревата?.. вот маэрша, та оно чревата есть...

— Мне вот думается...

— О чем много думается — кинь!

— А и кинул бы, да не можно... на Волге, вишь, опять воровские козаки гуляют...

— Не по нонешной год они гуляют — пошто думать?

— Вишь, Максимовна, ежли заводчики у них сыщутся атаманы удалые, то нам с тобой на воеводстве сроку не высидеть... сниматься надобно будет... холопей у нас не мало, и холопям ни ты, ни я — поблажки не даем... злобятца, посацкие, да и чорной люд — скаредно говорит... глядит зло.

— Распустил ты всех, хозяин, поблажку даешь, от того злые люди тебе снятца, а babприпри-ко всех ладом... вон тоже земского старосту зачастил звать хлеба есть?

— Зову не даром! с посулами, да выпытать от него, нет ли в волостях крамолы какой?

Воевода потянул носом:

— Вот слышу сколь и не познаю — что душит горницу? углядел — понял. Да пошто, Максимовна, сеновал в избе?

— По то сеновал, что это клопиная трава; ты, Митрий Петрович, из своей приказной натащил клопов, развелись—нет покою...

— Вот ладно, боярыня! ты гляди!

Воевода распахнул полы кафтана.

— Ой, стыд! родовитой муж и воевода без порток ходит—пошто так?

— С травой твоей упомнил: сколь раз наказывал, чтоб опушку у портков шире делать, пуговицы шить не близко — не ярыга я, боярин! и вот без порток срамлюсь перед дьяками да низким служивым народом — тебе вот тоже не ладно зреть?

— Ой, хозяин! каждоденно девке Настахе твержу: «Воеводе портки де шей ладом!». Она же вишь неймет, а чуть глянул, сигонула в холопью избу — должно, о женихах затевает?

— О женихах, то — ладно! холопы закупные рабы и холопьи дет наши рабы, холоп для нашего прибытку плодится...

— Так вот! вчера ее вицами била и нынче должно отхвостать девку

— Хвощи! батог разуму учит, — холоп битье любит.

Воеводша задышала тяжело, стулец начал трещать:

— Ты не вставай, не трудись — чуй!

— Чую, хозяин!

— Сей день довел мне стрелец, что атаман Стенько Разин к Сама ре пригреб!

— Ой, хозяин-воевода! ты бы маэра, да салдат и стрельцов бы спо лошил, да пищали, пушки оглядел, а где он страшной? худые сказки иду про него...

— То-то, Максимовна, вишь стрелец не все ведает — послал я свои людей прознать толком да сыскать целовальника, притащить в приказную— целовальник все ведает, как и где были воры, а на маэра худая надежа бражник... в приводе по худым делам был не раз и салдаты его не любят не кормит, не одевает, как положено, забивает на смерть — салдаты от него по лесам бегут... моя надея на мужиков, и ты хоть меня колешь, да умыслил я земского старосту звать хлеба есть в воскресение...

— Ой, да в воскресение-т Оленины имянины, хозяин!

— Вот-то оно и есть.

— Зови с подношением, чтобы шел староста... скажи ему: «Воеводша де в обиде, что восьмь алтын дает»... пущай хоть десять—и то на румяна, притирание лица будет?..

— Скажу... только, Максимовна, везде однакое подношение: восьмь алтын две деньги.

— А ты скажи!

— Воскресение день праздной — в праздной день лучше чествовать имянины дочки?

— Батюшка! посулы [1]) мне кто принесет и какие?

Грузная, обещающая быть, как сама воеводша, вбежала в горницу воеводская дочка в девичьем венце кованом, в розовом шелковом сарафане, в шелковой желтой рубахе — на широких, коротких рукавах рубахи жемчужные накапки.

— Ой, свет ты, месяц мой! — ласково сказала воеводша.

— Месяц, солнце, а только не гоже бежать, дочка, в горенку из своего терема... чужой бы кто увидал — срам!

Воевода говорил шутливо, глядел весело, подошел, обнял дочь, понатужился, с трудом приподнял, прибавил:

— Не площадной дьяк, воевода, да весчие знаю — пуд на пять она будет в теле?..

— И слава те боже, кушат дородно!

— Эх, выдать бы ее за кого родовитого, стольника, ай крайчего?..

[1]) Подарки, подношения.

— Батюшка! ищи мужа мне, хочу мужа, да помоложе и потонявее, да не белобрысого... я тонявых люблю и черных волосом. .

Воевода засмеялся...

— Ужо за ярыгу кабацкого дам! те все тонявы, родовитые тем и берут, что дородны...

— Хозяин! Митрий Петрович, ну, как тебе хотца судить экое, что и во снах плюнешь—за ярыгу! ой, скажет...

— Дочка! подь к себе... мы тут с матерью судить будем, кого на имянины твои звать, да и опасно тебе — сюда чужие люди забродят — поди!

Боярышня ушла.

Воевода шагнул к двери горенки, стукнул кулаком. В двери просунулся, не входя, слуга:

— Потребно чего боярину?

— Боярину и воеводе—холоп! кличь, шли Григория.

Слуга исчез. Вместо его в горенку степенно вошел и закрестился на образа старый дворецкий с седой длинной бородой, лысый, в узком синем кафтане.

— Ты, Григорий, у меня как протопоп!

Слуга поклонился ниже пояса, молчал. Воевода ходил по горенке и, когда подошел обратно, встал около слуги, глядя на него; дворецкий вновь так же поклонился:

— Какой сегодня день?

— Постной, боярин и воевода, пятница!

— Та-а-к! знаешь, ты поди завтре к земскому старосте, Ермилку, зови его ко мне на воскресение хлеба есть... о подношении он ведает, а воеводше Дарье Максимовне особо — она у меня в обиде на мужика, что дает ей восьмь алтын две деньги [1]), а надобе ей носить десять алтын и сколько к тому денег, знает сам козья борода! Ты тоже бери с него позовного четыре деньги иль сколь даст больши... поди! можешь то извести сегодня, да колач имянинннице...

— Спит он, — думаю я, — боярин и воевода!

— Взбуди! мужик, ни што — на боярской зов пробудитца.

Слуга поклонился воеводе и воеводше — ушел.

Воеводша сказала:

— Григорей из всех слуг мне по разуму — молчит, а делает, что укажешь...

— Не молод есть! и батоги ума дали... батогов нечетно пробовал... молчит, а позовное из старосты когтьми выскребет.

— Батоги разуму учат. Нынче я девку Настаху посеку вицами — ты иди-ко, хозяин, не гоже воеводе самому зреть девкин зад.

— Умыслила тож! да мало ли холопок бьем по всем статьям в приказной?

— То, гляди — мне все едино!

---

[1]) Три алтына две деньги—около 1 р. 50 к.

— Позовешь девок, наладь кого в приказную за портками — дела делать я-таки буду в ночь, да чтоб моя рухледь на глазах не лежала... прикажи подать новые портки — шире...

Стулец опять затрещал, воеводша встала на ноги:

— Девки-и!

Переваливаясь, грузно прошла по горнице, поправила лампадки в иконостасе, замарала пальцы в масле, вытерла пальцы о ладонь и потерла рука об руку. От золоченых риз желтело широкое с двойным подбородком лицо.

— Девки, стервы-ы?!

Неслышно вошли две девицы в кичных шелковых повязках по волосам, в грубых крашеных сарафанах, прилипли плотно к стене горницы— одна по одну сторону двери, другая по другую.

Воеводша молилась.

Сморщив низкий лоб, повернулась к девкам:

— Кличьте Настаху, да ивовых, нет лучше березовых—погибче, виц два, три пука в огороде нарежьте!

Девицы неслышно исчезли. Воевода из-под лавки выдвинул низкую широкую скамью:

— И не видал хозяин, а знает на чем девок секу?..

— Козел-ба тебе, Максимовна, поставить в горенке. Плеть тоже не худо иметь!

- Ужо, Петрович, заведу.

Накурено и душно в холопьей избе — окно в дымник открыто, да не тянет, и только в то окно мухи летят.

Весело в холопьей избе до тех пор, пока воевода или воеводша не потребуют кого на правежь.

Из девичьей русая, приземистая и полногрудая Настя зашла в избу, готовая скоро уйти, встала у двери.

Кабацкий ярыга, чернявый, гибкий парень с плутоватыми глазами, сегодня пришел, как всегда; ходил он часто от кабатчика с поклепами, и воевода по его доносу посылал в кабак стрельцов. Парня знала Настя: он ей не раз подмигивал, пробовал взять за руку мимоходом и шептал:

— Эх, милка! — полюби?

В девичьей ночью Настя иногда думала:

«Полюбить такого? нам и так худо от хозяев, он же клеплет и сколь людей за то волокли в приказную стрельцы... от своих стыдно, ежели свяжусь с приказными — ярыга,—едино, что приказной...»

— Я вольной человек!— шептал иногда Насте ярыга,— служу кабатчику, а будет иной лучше, буду лучшему служить... одет, не гляди— деньги есть, одежа на торгу... не пьяница... грамотной я!

Ярыга не таился Насти, считал ее своей, при ней говорил в избе, на кого указано довести воеводе. Холопи его побаивались, но дружбу водили:

— Где подневольному взять, а он иной раз и водкой попотчует.

Сегодня ярыга был какой-то иной, смотрел гордо, а не хитро. Водки кувшин принес, угощал всех; когда подвыпили, начал сказывать сказку:

— Эй, ярыга! забудешь, пошто к воеводе пришел.

— Пришел я к вам, братие, гость гостем, к воеводе кончил ходить. Кабак кинул — пущай иного зовут.

— Ой, не веритца нам, парень?

— Пущай ране сказки поведает, что нынче на Волге было!

— Сами узнаете! лучше не сказать.

— Вот то и есте — запрет положен!

— Вирай, коли сказку.

— Эй, молчок!

«Жил да был малоумный парень — родители у него были старые... а был тот парень, как я,—холостой и жениться ему пора было... — ярыга посмотрел на Настю, она потупилась. — И как всегда глупые належны по хозяйству, было у него хозяйство хрестьянское налажено: дом новой, кони в конюшне, двор коров... Позарилась на малоумного одна девка, и девка та была уж не цельная — дружка имела! Посватался за ту девку малоумной, она и пошла...»

— Ты бы нам парень лучше довел, что там на Волге-т?

— Потом, робята, чуйте дальше... «так вот, братие! пошла замуж девка, а она в первую же ночь и ну над мужем узорить; выгнала весь скот на улицу, да когда зачали спать валиться, говорит: «Нешто кто из твоей родни был худой?

«— А што, жонка?.

«— Да полой двор — коровы, лошади убрели, а нынче скот крадут!

«— Ахти—крадут! дайкось я сыщу? — хотел оболокчись, она не дала.

«— Бежи наскоре — должно, недалеко убрели!

«— И выбежал малоумной еле не нагой. Старой да прежний дружок у ей в клети ждал. Заперла она двор, избу на крюк и ну по-старому тешиться с другом...

«Побежал глупой по улице, собрал скот, а ворота глянь на запоре. Колотится, дрожмя дрожит — зуб на зуб не уловит во рту — зима.

«— Пусти, Матрена! я твой Иван.

«А молодая высунулась в окно:

«—Лжошь! мой Иван дома, только что пир отпировали, поезжан-гостей спать по домам наладили, и сами полегли — поди, шалой.

— Сказывают твово целовальника атаман Разин к сундуку с пропойной казной на луду приторочил? эй, ярыга!

— Я не ведаю того.

«Побежал братие глупой к попу — стучит в окно:

«— Батюшко! у меня дома не ладно — батько, матка глухие, древние, а молодуха в дом не пущает — ты венчал.

«— А што-те надобно?

«— Уговори бабу — пущай домой пустит.

«— Не мое то дело, свет!

«— Как же не твое? ты поп, всех учишь...

«— Давай пойдем коли — усовещу!

«А поп-от знал, что девка путаная, да денег ему дали—он и скрыл худое — венчал... Поп надел шубу, да шапку кунью — студено в ночь стало, пришли. Стучал, колотился поп. И почала их та молодуха ругать:

«— Ах, вы — мать вашу! неладные — чего, куда лезете?

«— Покудова малоумной к попу бежал, она скот застала и еще крепче ворота приперла.

— Сказывают — эй, ярыга! и тебя пытали козаки-т каленым железом?

— Кабы пытали, так и к вам не пришол — вишь сижу, вино пью... «Муж мой Иван дома, сам же ты долговолосой венчал, а тут гольца какого привел, навязываешь в дом пустить — пойду ужо воеводе жалобиться!

«Спугался поп, зрит и теперь лишь углядел: что парень в одной рубахе: «Впрямь тут не ладно». Пошел поп прочь, малоумной не отстает, ловит попа за шубу, поп бежать, Иван не отстает — в шубе жар сдолил попа — кинул шубу и шапку, натдал по холоду, Иван подобрал шубу, оделся, а за попом бежит, но поп угонил, забежал домой, двери замкнул, и остался малоумной на улице.

«Слезно стало Ивану и хоть зябнуть не зяб, да к жене охота... выл, выл по-волчьи, вспомнил: «А дай пойду к бабке?»

«— Жила была та баба старая недалеко, слыла колдуньей, но обиженных из беды вызволяла и за то судейских и иных посулов не брала. Прибрел малоумной к ей — плачет, а она ему: «Ляжь спать — дело твое в утре!»

«Лег и зауснул Иван.

— Эй, ярыга! ужли не видал: с луды, сказывают, струги сволокли, закропали, да на теи струги с анбаров всю муку стащили судовые ярыги.

— Гляньте сами, робята! я не ведаю.

— Ну-ка уйди на Волгу, воевода так выпарит, что из спины палочье сколь вымать придетца!

— От того нам не сказывает, что к воеводе тайно налажен.

— У кого ноги, глаза да уши, время пришло тем! воевод не боятся они...

— Вишь, что сказал? знать не к воеводе сшол.

Холопи пошептались, потом один крепкий парень придвинулся к ярыге:

— Ты не бойсь! меж нас языков до воеводы нет... мы все глядим, ищем леготы, чтоб боя нам меньше и в козаки уйдем — голов на дело не жаль...

— То ладно! потом увидите, что к вам пришел, я не доводчик на вас воеводе...

— А, ну вирай коли до конца сказку...

«Утром старая сказала Ивану:

«— Вот те плат! приди домой, бабе слова не говори, на глаза ей не кажись — тайно, залезь под кровать, и как твоя жена с любым своим лягут, а ты на плате узел завяжи. Сам узнаешь, что делать с ними, да попа сдуй — он знал кого венчал и за что с худой девки деньги принял!

«Так и сошлось, братие: ночь накатила, залез Иван под кровать, а молодуха с миляшом на кровать, и завязал малоумной на плате узел первой... слышит, завозились на кровати, баба ругается, гонит миляша от себя, а ему от ее оторваться не можно... утро пришло, а бабин миляш, как был — чего людям казать нельзя с бабой ночью, так и остался... Баба воет — и туда и сюда повернется, а мужик к ей, как прирос... надо уж скот назрить— поить, доить коров — лошади ржут, стаи ломают, а баба с мужиком мается — хоть на деревню в эком виде катись, аль к воде. Пришел старик отец, мать старуха, крестятся, плюются — глядят: сноха приросла к чужому мужику, старуха их ухватом — не помогает!

«Послали за попом: «пущай и крест несет — неладное в дому!».

«Суседи попа привели.

«Поп молитву чел—не помогат, дьякон кадил — не помогат, все пели молитвы, а дьячок подпевал, нет, все ни што! Иван под кроватью ну узлы на плате вязать: завязал узел, попа кинуло на мужика и бабу, даже крест уронил и прилип поп, от иного узла на плате — дьякон прилип, и дьячок прилип, тогда малоумной из-под кровати вылез, дубину сыскал:

«Ра-а-з дьячка! развязал узел — отпустил. Ра-а-аз, два — дьякона, узел развязал, спустил, попу дубин десять дал, спустил, а миленка на бабе уби-и...»:

В избу вбежали две девушки:

— Настаха! сколь ищем, воеводча велит к ей итти...

— Вот наше житье! — сказал кто-то, — уж ежели воеводча девок послала за какой, да иных звать велит, то быть девке стеганой!

— Помни, Настя! я тебя от боя воеводчина выручу,—крикнула ярыга.

Девка вздрогнула, коротко вскинула глаза на сказочника и потупясь пошла в горницу воеводы.

— А, ну! снимай сарафан.— Воеводша подошла к Насте, сорвала с ее волос повязку, кинула на пол,— будешь помнить, как ладом боярину пугвицы пришивать...

Девица, раздеваясь, начала плакать.

— Плачь не плачь, сука, а задом кверху ляжь!

Настя разделась до рубахи, села.

— Не чинись, стерва, ляжь! — приказал воевода.

Девка легла животом на скамью, подсунула голые руки к лицу, вытянулась.

— Что спать улеглась!

Воевода велел заворотить девке рубаху. Воеводша отстегнула шелковые нарукавники, в жирные руки забрала крепко пук розог.

— Стой ужо, боярыня, зажгу свет!

Воевода высек огня на трут, раздул тонкую лучинку, зажег одну свечу, другую, третью.

— Буде, хозяин! Не трать свет.

— Свет земской — мало свечей, старосту по роже — соберет...

Грузная воеводша, сжимая розги, ожила, шагнула, расставив ноги уперлась и ударила — раз!

— Чтите бои, девки.

— Чтем, боярыня!

— Вот тебе, стерво! вот! сколько боев дать, хозяин?

— Двадцать за мой срам не много.

Воевода продолжал зажигать свечи.

— Сколько бито?

— Девки-и?..

— Чтем мы! тринадцать, четырнадцать...

— Мало ерепенится... должно, не садко у тя идет, Дарья?

— Уж куды садче — глянь коли.

— Дай, сам я — знакомо дело!

Воевода взял у девки новый пук розог, мотнул в руке, крякнул и, ударив, дернул на себя.

— А-ай! о-о-о!—завыла битая.

— Ну, Петрович! ты садче бьешь.

— Нет, еще не... вот! а вот!

Воевода хлестал и дергал при каждом ударе — идет садко, зад у стервы тугой.

К двадцати ударам девка не кричала. Воевода приказал вынести ее на двор, полить водой. Он поправил сдвинутые рукава кафтана, задул свечи и, подойдя, крепко за жирную талию обнял воеводшу.

— Да што ты, хозяин, щипешься?

— Дородна ты!.. щупом чую, как из тебя сок идет.

— Какую бог дал.

— Дал-то он дал, а покормиться не лишне, проголодался я, — сбери-ка вели ужинать.

— Ой, и то? я тоже покушаю.

— Дела в приказной к полуночи кончу без палача с дьяками.

Из холопьей избы в окна и приоткрытую из сеней дверь глядели холопи: девки на дворе отливали водой битую.

Ярыга сказал:

— Вот, братие! досель думал, а нынче решил — сбегу в козаки.

— Тебя так не парили и то побежишь, а нас парят по три и более раз на дню.

— Да это што вицой?.. нас батогами!

— Зимой на морозе битая спина, что овчина мохната деется.

— Много вы терпите.

— Поры ждем — придет пора!

— Я — удумал, нынче же в козаки... Только, робята, чур не итти на меня с изветом к воеводе... атаман дал еще листы, в городу да мужикам роздать... дам и — в ход...

— А что сказывает народу атаман?

— Много вам сказал, то листы честь буду, только угол-бя где?

— Вон за печью.

Устроились в углу. Выдули огня, один светил лучиной, ему кричали:

— Ладом свети, светилка, береги затылка!

Тонявой, черноволосый ярыга встал на одно колено, вытащил желтый лист из-за пазухи сермяжного кафтана, пригнув близко остроносую голову с короткими усами, топыря румяные губы, читал тихо и почти по складам:

«Все хрестьяне и горожане самарьские — ждите меня Степана Тимофеевича, жив буду, то сниму с вас воеводскую, боярскую неволю... горожанам, посацким людям дам я торг и рукодель беспошлинно, хрестьянем землю собинную дам, а кто чем владает — владай. Подьячих же и судей, бояр и воевод пожгу, побью без кончания. Атаман Разин Степан».

— Да, вишь парень, ладно, только о холопях нас и слова нету?

— Ой, головы! побьет бояр — кто вами навалится владать?

— Оно так, а надо бы в листе...

— Берегись, Хфедор, стрельцов.

— Тут один тасканой кафтан лазал к воеводе и нынь все доглядывает...

— Знаю, кого берекчись! вот листы верным людям суну и сей вечер утеку...

— На торгу кинь, иные, небойсь, подберут!

— Вы, парни, тоже, не вмоготу кому—бежите к Разину.

— Поглядим...

— Меня одно держит — Настю-ба глянуть, — полслова сказать...

— Того бойся — ай, не ведашь? покеда не станет к службе, в клеть запрут и стеречи кого приставят... уловят с листами — целу не быть!

— Вернешь ужо козаком — выручишь!

В приказной избе, с лучиной, воткнутой на шестке печи в светец, и при свече на столе—свеча горела перед воеводой — воевода сидел на своем месте на матрацах в малиновом бархатном опашне в накидку поверх голубой рубахи. В конце стола прикорнул дьяк, склонив длинноволосую голову, повязанную по лбу узким ремнем, дьяк, светя в бумагу зажженной лучиной, читал.

— Дьяк! кого сыскали мы?

— Жонку, воевода боярин, Дунку Михайлову.

— Эй, ярыги! поставить ко мне посацкую жонку, Дуньку.

В задней избе в перерубе заскрипело дерево, ярыга приказной избы впихнул к воеводе растрепанную миловидную женщину, лет тридцати. Кумачевый плат висел у женщины на плечах, миткалевая горошком, светлая рубаха топырилась на груди и вздрагивала. Женщина сдержанно всхлипывала.

— Пошто хнычешь?

— Да как же, отец боярин!

— И воевода — величай, блудня!

— Боярин и воевода, бeзвинно взяли с дому... кум у меня сидел, в гости заехал...

— Сидел и лежал, а заехал он к тебе не теми воротами, что люди— вишь не во двор, под сарафан заехал...

— И ничевошеньки такого не было! все сыщики твои налгали...

— Сыскные—государевы истцы!

— Сыскные... воевода-боярин! пошто нынь меня тыранят безвинную, лают похабно и лик не дают сполоснуть... напитца водушки нету... клопов—неборимая сила, ни спать, ни голову склонить.

— Дьяк! поди с ярыгой в сени — надобе жонку поучить жить праведно...

Дьяк и ярыжка ушли.

— Ты вот что, Евдокея! нынче я тебе худа не причиню, а ежели в моем послушании жить будешь, то и богата станешь... Поди и живи блудно, не бойся: я, воевода-хозяин, тебя на то спущаю, только вот: кои люди денежные по торговым ли каким делам в город заедут, тых завлекай, медами их хмельными пои, не сумнись—я тебе заступа! ты прознавай, у кого сколь денег? можешь схитить деньги — схить! не можешь, сказывай мне — какой тот человек по обличью и платью, а схитишь—не таи от меня, заходи ко мне сюда в приказную и деньги дай, а я тебе на сарафан, рубаху из тех денег отпущу. Что немотствуешь? гортань ссохлась?

— Боярин, отец!

— И воевода...

— Боярин-воевода — я тое делы делать зачну, да чтоб сыщики меня не волокли на расправу, срамно мне, я вдова честная была...

— Кто обидит, доведи мне на того, да не посмеют! я сам иной раз к тебе ночью заеду попировать, а?

— Заезжай, отец, боярин! заезжай, приму...

— И все—чего хочу—будет? Эй, дьяк! сядь на место. Ярыга, проводи жонку до дому ее...

Женщина поклонилась, ушла.

Вошел дьяк, зажог лучину от воеводской свечи и снова уткнулся в бумагу.

— Дьяк! кто там еще.

— Еплаха Силантьева, воевода боярин!

— Эй, ярыга! спусти из клети колодницу Силантьеву, путы сними веди.

На голос воеводы затрещало дерево дверей, второй служка приказной ввел к воеводе пожилую женщину, черноволосую с густой проседью, одетую в зеленый гарусный шугай. Женщина глядела злобно, как только подпустили ее к столу, визгливо закричала на воеводу:

— Ты, толстобрюхой, што экое удумал? да веки-вечные я в застенках не бывала, николи меня клопам не кармливали беспритчинно и родню мою на правежь не волочили!

— Чого ты, Силантиха, напыжилась, как жаба? должно, родня твоя праведных воевод не знавала! — у меня кто в тюрьме не бывал, тот под моим воеводством не сиживал.

— Штоб-те лопнуть с твоим судом праведным!

— Сказываешь беспритчинно? а ты, жонка Силантьева, притчинна в скаредных речах — на торгу теи речи говорила скаредные, грозилась на больших бояр и меня, воеводу, лаяла непристойно, пуще всего чинила угодное воровским козакам, что нынче под Самарой были... ведомо тебе от кого, того не дознался, что не все воровские козаки погребут Волгой, что иные пойдут на конь берегом, так ты им взялась отвести место, где у Самары взять коней... а ты не притчинна, стерво?!

— Брюхан ты этакой! крест-от на вороту есте у тя, али закинут? путашь, вяжешь меня со смертным делом.

— О крестах не с тобой судить, я не монах, по-церковному ведаю мало... но ежели... дьяк! иди с ярыгой в сени, учиню бабе допрос на глаз с одной...

Дьяк и ярыга вышли.

— Вот что, баба буявая, супористая...—воевода облокотился на стол, пригнулся. — Ежели ты не скажешь, где у мужа складена казна, то скормлю я тебя в застенке клопам...

— Ой, греховодник, ой, брюхатой бес!.. ой, помирать ведь будешь, а без креста весь, без совести малой... ну, думай ты—скажу я тебе, где мужнины прибытки хоронятся, и ты их повладеешь, а вернется с торгов муж, да убьет меня? нет! уж лучше я до его приезду маяться буду... помру — твой грех, мне же мужня гроза,— докука худче твоей пытки.

— Дьяк, ярыга,— ко мне!

Из сеней вошли.

Дьяк сел к столу, ярыга встал к шестку печи. Воевода сказал дьяку:

— Поди к себе. Буде, потрудился, ненадобен нынче.

Дьяк, поклонясь, не надевая колпака, ушел, ярыга ждал, склонив голову.

— Забери, парень, бабу Силантиху! спугай — да толкни в поруб — справишь с этой, пусти ко мне целовальника...

Баба ругалась, визжала, кусала ярыге руки, но крепкий служка уломал ее и уволок. Когда смолк визг и плач, затрещало дерево, и раздались дряблые шаги.

Вошел целовальник. Отряхивая на ходу синий длиннополый кафтан, целовальник поклонился воеводе.

— Как опочив держал, Иван Петров сын?

— Ни што! одно боярин-воевода, клопов таки тмы-тем...

— Садись, Иван Петров сын! благо, мы одного с тобой отчества, будем, как братья, судить, а брат брату худого не помыслит...

Целовальник сел на скамью.

— Надумал ли ай нет, чтоб нам, как братьям, иметь прибыток?

— Думал и не додумал я, Митрий Петрович!

— И воевода.

— Воевода Митрий Петрович... боюсь... как я притронусь к ей, матушке? ведь у меня волос дыбом и шапку здымает...

— Да ты, Иван Петров сын, ведаешь меня—воеводу?

— Ведаю, воевода отец...

— Знаешь, что я все могу — и очернить белого и черного обелить? вот, скажем — доведу, что твой ярыга Федько к воровским козакам сшол по твоему сговору.

— Крест, воевода, целовать буду—людей поставлю послухов — что на луду [1]) с государевой той казной меня нагово на вервю за ошейник воры приковали...

— Да ярыга сшол к козакам? — и ты притчинен тому!

— Крест буду целовать — не притчинен!

— Хоть пса в хвост целуй, а где послухи, что меж тобой и ярыгой сговору не было? я, воевода, указую и свидетельствую на тебя—притчинен в подговоре!

— Боярин отец! да пошто так?

— А вот пошто: понять ты не хошь, Иван Петров сын, что ни государь, ни бояре не потянут тебя, ежли мы собча с тобой тайно,— вчуйся в мои слова — ту государеву казну пропойную меж себя розрубим... или думаешь, что царь почнет допрашивать вора — «сколь денег ты у кабатчика на Самаре во 174 году вынул?». Послушай меня, Иван Петров сын! будут дела поважнее кабацких денег — деньги твои нам лишь надобны на то, чтоб от Волги подале быть, а быть ближе к Москве...

— Боярин! крест царю целовал, душу замараю!.. сколь молил я, и Разин — меня приковал, а казны не тронул...

Боярин неуклюже вылез из за стола, цепляясь животом, сказал вошедшему ярыжке:

— За колодниками стрельцы в дозоре — ты же запри избу, иди! Пойдем, Иван Петров.

В сенях целовальник зашептал:

— Боярин, ярыга на меня ворам указал, что тебя упредить ладил...

— Ярыга твой углезнул—взять не с кого и вот, Иван Петров, с тебя сыщем, допросим, пошто ярыга в козаки утек?..

— Крест буду целовать! послухов ставлю...

---

[1]) Луда — отмель.

— Я так, без креста, рубаху сымаю и—ежели крест золотой—сниму и его! Ты в кабаке сидишь, а за все ко кресту лезешь — весчие такому целованию я знаю, Иван, у меня вот какое на уме, и то тебе поведаю...

— Слышу, отец воевода?..

— Клопы, вишь, тоже к чему-либо зародились, а ежели зародились, то грех живую тварь голодом морить, и вот я думаю: взять тебя в сидельцы, платье сдеть, да скрутить, и ты их недельку, две, аль бо месяц покормишь и грех тот покроешь?..

— Ой, што ты, отец воевода боярин! пошто меня?

— Не сговорен... розрубим пропойную казну, тогда и сказ иной — нынче иди и думай, да скоро! не то за ярыгу в ответ ко мне станешь.

Стрельцы зажгли фонари, посадили грузного боярина на коня, и часть караула с огнем пошла провожать его.

В воскресенье, после обедни, на лошадях и в колымагах ехали бояре с женами на именины воеводской дочери. Боярская челядь теснилась во дворе воеводы. От пения псалмов дрожал воеводский дом. В раскрытые окна через тын глядела толпа горожан, посадских и пахотных людей.

Все видели люди, как дородная воеводша, разодетая в шелк и золото с жемчугом, вышла к гостям, прошла в большой угол, заслонив иконостас встала. За тыном говорили:

— Сошла челом ударить!

— Эх, и грузна же!

— Бояронн кланяютца поясно!

— Да кабы низко, то у воеводчи брюхо лопнуло.

— Стрельцы-ы!

— Пошли! чего на тын лезете?

— Во... бояра-т в землю воеводчи!

— Наш-от пузатой, лиса-борода гостям в землю поклон.

— С полу его дворецкой подмогат...

Видно было, как воевода подошел к жене, поцеловал ее, прося гостей делать то же.

— Фу-ты! Што-те богородице?

— Не богохули — баба!

— Всяк гость цолует и в землю кланяетца.

— Глянь! староста-т, козья борода.

— Как его припустили-т?

— Земскому не цоловать воеводчи!

— Хош-бы и староста, да чорной, как и мы...

— Воевода просит гостей у жены вино пить?

— Перво, вишь, сама пригубит?

— У, глупой! по обычею — перво хозяйка, а там от ее пьют и земно поклон ей...

— Пошла к бояроням! — В свой терем — к бояроням.

— Запалить-ба их, робята?

— Тише, стрельцы!..
— Ужо припрем цветные кафтаны!
— Читали что атаман-от Разин?
— Я на торгу... ярыга дал...
— «Ужо-де приду»!
— Заприте гортань, стрельцы!
— Тише... берегись ушей...
— В приказной клопам скормят!
— Ярыга-т Федько сбег к Разину.
— Во, опять псалмы запели с попами.
— Голоса-т бражные!
— Ни, што им! холопи на руках в домы утащат...
— Тише, стрельцы!
— Эй, народ! воевода приказал гнать от тына.
— Не бей! без плети уйдем.

Ночью при лучине, ковыряя ногтем в русой бороденке, земский староста неуклюже писал блеклым чернилом на клочке бумаги:

«Июлия... ден андел дочери воиводиной Олены Митревны, воиводи и болярину несен колач столовой, пек Митка Цыган... Ему же уток покуплено на два алтына четыри денги. Рыбы свежие... налимов и харюзов на пять алтын... В той же ден звал воиводя хлеба есть — несено ему в бумашке шестнадтцать алтын четыри денги. Григорею ево позовного пять денег...»

«— Э, годи мало, Ермил Фадеич! бояроню-то, воеводчу ево, куда? после Григорея! штоб-те лопнуть кособрюхому! до солнышка пиши, не спишешь, чего несено ему в треклятые имянины... ище в книгу исписать, да письмо ему особо. «Ты-де не лишку ли исписал?» — Лишку тебе, жручий чорт! «Как крестьяня». «Так вот я-те и выложу — как?» А не видал ли, кто листы чтет воровские, да кому честь их дает?». Видал и слыхал, а не доведу тебе! и когда этта мы от тебя стряхнемся?

Староста положил записку на стол, разгладил ладонью:

— Уй, в черевах колет — до того трудился письмом!

По столовой доске брел таракан с бочкой, почуяв палец старосты, ползущий за ним, таракан потерял бочку, — освободясь от тяжести, бежал к столешнику:

— Был черевист, как воевода, а нынче налегке потек? Эх, кабы воиводу так давнуть, как тебя, гнусь!

Староста еще поскоблил в бороде, зевнул, зажог новую лучину и, встав в угол на колени, склонив голову к правому плечу, поглядел на черную икону. Крестился, кланялся в землю. У него на поясе, белея, болтался деревянный гребень, постная фигура, тонкая с козьей бородкой, чернела на желтой стене. Из узких окон, вдвинутых внутрь бревна в сторону, смутно дышало безветренным холодком.

(Продолжение следует).

Блаженные.

Пантелеймон Романов.

Поезд шел от германской границы. Народ набился в вагон, заполнил все проходы, верхние полки, уборные, площадки. Окна были выбиты, двери не закрывались. И с площадки все высовывались лица солдат, приподнимавшихся на цыпочки и старавшихся через головы заглянуть в вагон.

— Да что ты все жмешь? — сказал, сердито обернувшись, солдат с повязанным накрест по груди башлыком на какого-то без шапки человека, напиравшего на него.

— В вагон, может, пробиться можно, — отвечал тот, — а то дюже холодно без шапки.

— А шапку куда дел?

— Украли. Как границу переехал, так и смахнули. Дозвольте, пожалуйста, пройтить.

— Да куда тебе?.. что ж в вагоне-то — лучше, что ли? — сказал раздраженно солдат.

— Может, ветер потише.

— Потише, — отозвался недовольно какой-то старик с черным носом и щеками, в морщины которых набилась угольная пыль, очевидно, кочегар, — тут так свистит, хуже, чем в поле.

— Они привыкли, что — вагон, и прут, — сказал сидевший на мешке в проходе бородатый мужик в армяке, — а каково в этом вагоне — не разбираются. — И он, завернув с одной стороны лицо армяком, привалился головой к стенке, как приваливаются, когда едут в санях в метель.

— Ну, что за сукины дети, шапку уж с головы волокут! Вот разбойники-то.

— Прямо ездить нельзя, — сказала старушка, стоявшая в проходе с узлом. — За карман держишься, от узла отойтить боишься. Сейчас поезд на станции пяти минут не простоял, а уж двоих обчистили.

— Да, народ способный.

— Плохо смотрите, вот у вас и воруют, — заметил какой-то угрюмый человек с лавки, — глаза распустите по сторонам, вот и... Только людей-то в грех вводите.

— Плохо смотрите... Глазастый какой нашелся! — отозвался сердито какой-то солдат, лежавший на верхней полке: — я на вокзале служил, уж на что смотрели в десять глаз, и то все ложки и стаканы за эту зиму перетаскали, не говоря уж об том, что без денег полопает, да улизнет.

— Значит, и в десять глаз плохо смотрели.

— Заладил свое... где ж за ними усмотреть, кабы это жулики были, тех сразу видно, а то они всем народом воруют.

— Это хоть правда, за всем народом не углядишь, — сказала старушка. — Уж на что аккуратны стали. Я вот на вокзале кушала, так с меня деньги вперед взяли, и человек за стулом все время стоял, пока тарелку с ложкой не сдала. Стаканчик чайку взяла, с меня тридцать целковых залогу за стакан положили.

— К стойке-то к буфетной подойдешь, так за тобой как за жуликом смотрят, — проговорил какой-то человек в чуйке: — даже обидно.

— Чего ж обижаться, ведь он на тебя не кричит, а смотреть — господь с ним, пущай смотрит.

— Обижаться тут нечего, — сказало несколько голосов: — кабы за тобой за одним смотрели, теперь за всеми смотрят.

— Сколько ни смотри, все равно ни черта не поможет, — сказал солдат с верхней полки, лежа на спине и глядя в потолок. — Ежели их триста человек набьется, триста служащих надо, чтоб у кажного за стулом стоять.

— Да еще за этими, что стоят, тоже по человеку надо, — сказал какой-то веселый мастеровой.

— Для контролю...

— А то что ж.

— Иначе и не обойдешься.

— Что они за войну, что ль, так изворовались?

— Кто их знает.

— А я вот из Германии еду, — сказал человек без шапки, кое-как протеснившись в вагон, — так пока до границы ехал — ничего, а как только границу переехал, так шапку и мешок с сухарями уперли.

Все посмотрели на его голову.

— С приездом на родину поздравили, — сказал веселый мастеровой.

— Зазевался, небось, — вот и уперли, — заметил угрюмый человек.

— Отвык, дюже давно дома не был, два года на французском фронте был, да в плену восемь месяцев держали.

— Два года... пора отвыкнуть, тут и без порток приедешь, а не то что без шапки.

— А там, ай не воруют? — спросил голос с верхней полки.

— Никак... Вот какие, окаянные, честные, ну, просто...

Головы всех бывших в вагоне повернулись к солдату. Только угрюмый человек, глядя в окно, сказал:

— Глазами по сторонам не водят, вот и не крад т.

— Нет, они какие-то блаженные.

— Там, бывало, выходишь на станции, — берешь сам, что тебе понравится, а потом расплачиваешься.

— Господи! — воскликнула старушка. — Вот, небось, обчищают-то...

— И даже не проверяют, сколько ты съел, вроде как совестятся.

— И у вас не проверяли?

— ...Первое время нет, — сказал пленный, не сразу ответив.

— Вот, сволочи, благородные какие.

— Там благородно. У нас вот тут за стаканы залог берут, да еще смотрят все за тобой, а там, бывало, съешь целковых на три, а скажешь на полтинник. И ничего, сходит.

— Прямо блаженные какие-то. Вот обувать-то кого...

— И жилось же спервоначалу хорошо. А потом один из наших прошмыкнулся, — ложку с вилкой упер, — тут уж туже стало.

— Гонять стали? — спросил мастеровой.

— Нет, гонять не гоняли, а только подойдешь к буфету, — как увидят, что русский, то руками не велят ни до чего дотрогиваться. А обращение такое же, и *вы* говорят, и все как полагается.

— Скажи на милость, какой душевный народ. А говорили — бусурмане, звери. Они, может быть, еще получше нас.

— Получше не получше, а худого сказать ничего нельзя. Вот в другой раз тоже: один из наших ложку украл...

— Да что они на ложки-то накинулись,— дорогая, что ль?— спросила нетерпеливо старушка.

— Блестела, говорит, очень. Да... так его не били, ничего, а подошли двое и говорят: вы по ошибке нашу ложку взяли... ну, конечно, на своем языке.

— Тут бы его смертным боем бить, — сказал угрюмый человек. — Воруй, да не попадайся. Мозги курьи, а туда же лезет — воровать.

Старушка вздохнула и пощупала свой узел. Потом, оглянувшись на своего соседа, подвинула узел поближе.

— Как наслушаешься этого всего...— сказала она,— и так-то едешь...

Поезд остановился у станции. Пленный с мастеровым перелезли через старушкин узел и протискались к выходу, чтобы итти в вокзал.

Старушка, долго переминавшаяся с ноги на ногу, вздохнула и сказала:

— Счастье вот у кого вещей с собой нету, а то выйти нужно, а боишься.

— Это счастье тебе в одну минуту устроят.

— О, господи, батюшка. Ну, прямо сил никаких. Батюшка, кормилец, посмотри за узелочком, я сейчас приду, — сказала она, обратившись к угрюмому человеку.

— Ладно...

Старушка пошла, но около двери оглянулась на свой узел и сказала, обращаясь к солдату в башлыке:

— Батюшка, посмотри за тем человечком, что за моим узлом смотрит..

В зале вокзала, куда вошли пленный с мастеровым, за столами без скатертей, без посуды, сидели пассажиры и мешали лучинками чай в стаканах без блюдец. Другие — среди неубранных объедков, пролитых щей, ели из глиняных мисок большими деревянными ложками, какими едят крестьяне в деревнях. На других столах сидели, лежали солдаты с мешками, женщины с кричавшими младенцами на руках.

А сзади обедавших пассажиров стояло несколько лакеев, которые, как старосты на полевых работах, зорко смотрели по всем направлениям.

— Нечего вылизывать, сдавай тарелку и уходи, — кричал старый бритый лакей с грязной, как тряпка, салфеткой, на маленького обросшего солдатика, который взял тарелку в обе руки и вылизывал языком остатки.

— Чего лаешься, нужна мне очень твоя тарелка.

— Место освобожай, вот чего... Лижет, лижет, — проворчал лакей, сердито убирая за солдатиком и поглядывая ему вслед, — а чуть отвернулся—и тарелку слизнет.

— Куда стакан поволок, залогу тридцать рублей давай, — кричал буфетчик на какого-то человека в валенках и овчинной куртке, подпоясанной ремнем.

— Нельзя ли повежливее, не видите — интеллигентный человек.

— Все равно залог давай. Интеллигентный... чорт вас теперь разберет, оборвались все, чисто арестанты, а тоже обижаются, — проворчал буфетчик, сунув залог в ящик.

— Господ-то тоже, знать, не очень балуют? — спросил пленный.

— Теперь одна честь всем.

— Это что ж тут первый класс, что ли, был?—спросил бывший пленный, оглянувшись кругом.

— Да. Классы-то эти им теперь прочистили.

— Скатерти, цветы-то эти убрали, что ли?

— Что потаскали, что успели убрать.

— Чудно, — сказал пленный, опять оглядываясь.

— Это тебе с непривычки, а дальше поедешь, там обтерпишься.

— Вон ложки в буфете прибраны, — сказал мастеровой.

— Граждане, отходи дальше от буфета! — крикнул, выйдя из-за самовара, толстый буфетчик.

— Потише кричи, когда поймаешь, а раз рук не протягивают, помалкивай, а то по шее.

1917 г.

* * *

Не криви улыбку, руки теребя,—
Я люблю другую, только не тебя.

Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.

Проходил я мимо, сердцу все равно —
Просто захотелось заглянуть в окно.

Сергей Есенин.

Октябрь 1925 г.

* * *

Прощай, Баку! Тебя я не увижу.
Теперь в душе печаль, теперь в душе испуг.
И сердце под рукой теперь больней и ближе.
И чувствую сильней простое слово: друг.

Прощай, Баку! Синь тюркская, прощай!
Хладеет кровь, ослабевают силы.
Но донесу, как счастье, до могилы
И волны Каспия, и балаханский май.

Прощай, Баку! Прощай, как песнь простая!
В последний раз я друга обниму...
Чтоб голова его, как роза золотая,
Кивала нежно мне в сиреневом дыму.

Сергей Есенин.

Май 1925 г.

Собаке Качалова.

Дай, Джим, на счастье лапу мне,
Такую лапу не видал я сроду.
Давай с тобой полаем при луне
На тихую бесшумную погоду.
Дай, Джим, на счастье лапу мне.

Пожалуйста, голубчик, не лижись.
Пойми со мной хоть самое простое.
Ведь ты не знаешь, что̀ такое жизнь,
Не знаешь ты, что жить на свете стоит.

Хозяин твой и мил и знаменит,
И у него гостей бывает в доме много,
И каждый, улыбаясь, норовит
Тебя по шерсти бархатной потрогать.

Ты по-собачьи дьявольски красив,
С такою милою доверчивой приятцей.
И, никого ни капли не спросив,
Как пьяный друг, ты лезешь целоваться.

Мой милый Джим, среди твоих гостей
Так много всяких и не всяких было.
Но та, что всех безмолвней и грустней,
Сюда случайно вдруг не заходила?

Она придет, даю тебе поруку.
И, без меня в ее уставясь взгляд,
Ты за меня лизни ей нежно руку
За все, в чем был и не был виноват.

Сергей Есенин.

Весна 1925 г.

Кемп „Нит гедайге" [1]).

Запретить совсем бы
ночи негодяйке
выпускать
из пасти
столько звездных жал.
Я лежу.
Палатка
в Кемпе «Нит гедайге».
Не по мне все это.
Некчему...
и жаль...
Взвоют
и замрут
сирены над Гудзоном.
Будто бы решают:
выть или не выть?
Лучше бы не выли.
Пассажирам сонным
Надо просыпаться,
думать,
есть,
любить...
Прямо
перед мордой
пролетает вечность,
бесконечночасый распустила хвост.
Были б все одеты,
и в белье конечно,

---

[1]) Кемп — лагерь (англ.). Нит гедайге — не унывай (еврейск.). Название летнего рабочего поселка, сорганизованного под Нью-Иорком еврейской комгазетой «Фрайгайт».

если б время
ткало
не часы —
а холст.
Впречь бы это
время
в приводной бы ремень.
Спустят
с холостого —
и чеши и сыпь.
Чтобы
не часы показывали время,
а чтоб время
честно
двигало б часы.
Ну, американец...
тоже...
чем гордится.
Втер очки Нью-Иорком.
Видели его.
Сотня этажишек
в небо городится.
Этажи и крыши.
Только и всего.
Нами
через пропасть
прямо к коммунизму
перекинут мост,
длиною —
во сто лет.
Что ж
с мостища с этого
глядим с презреньем вниз мы?
Кверху нос задрали?
загордились?
Нет!
Мы
ничьей башки
мостами не морочим.
Что такое мост?
Приспособленье для простуд.
Тоже...
без домов
не проживете очень

на одном
таком
возвышенном мосту.
В мире социальном
те же непорядки.
Три доллара за день, —
на
и отвяжись.
А у Форда сколько?
Что играться в прятки.
Ну, скажите, Кулидж, —
разве это жизнь?
Много ль
человеку
(даже Форду)
надо?
Форд
в мильонах фордов, —
сам же Форд
в аршин.
Мистер Форд,
для вашего
для высохшего зада
разве мало
двух
просторнейших машин?
Лишек
в М. К. Х.
Повесим ваш портретик.
Монумент, —
и то бы, —
вылепили с вас.
Кланялись бы детки,
вас
случайно встретив.
Мистер Форд —
отдайте.
Даст он...
чорта с два!

За палаткой
мир
лежит угрюм и темен.

Вдруг
ракетой сон
звенит в унынье в это.
«Мы смело в бой пойдем
за власть Советов...»
Ну, и сон приснит вам
полночь негодяйка!
Только сон ли это?
Слишком громок сон.
Это —
комсомольцы
Кемпа «Нит гедайге»
песней
заставляют
плыть в Москву Гудзон.

В. Маяковский.

20/IX. Нью-Иорк.

Земля родная.

Артему Веселому.

Не задаром жестоко тоскую,
Заглядевшись на русскую сыть.
Надо выстрадать землю родную
Для того, чтоб ее полюбить.

Пусть она не совсем красовита,
Степь — желта, а пригорок уныл.
Сколько дум в эту землю убито,
Сколько вырыто свежих могил!

Погляжу на восток и на север,
На седые, как иней, края.
— Это ты и в туманы и в клевер
Затонула, родная моя!

Пусть желтеют расшитые стяги,
Багровеют в просторах степных
Не задаром родные сермяги
Головами ложились за них!

Слышу гомон ковыльного юга,
Льется Волга, и плещется Дон.
Вот она, трудовая лачуга,
Черноземный диковинный сон!

Не видать ни начала, ни края.
Лес да поле, да море вдали...
За тебя, знать, недаром, родная,
Мы тяжелую тягу несли!

Каждый холм — золотая могила,
Каждый дол — вековая любовь.
Не загинь, богатырская сила,
Не застынь, богатырская кровь!

В черный день я недаром тоскую
Стерегу хлебозвонную сыть.
Надо выстрадать землю родную,
Для того, чтоб ее полюбить!

Петр Орешин.

Бессонница.

Не усну в постели,
За окошком ночь.
Будто в самом деле
Стало жить невмочь?

Темное окошко,
Снежный тополь бел.
А ведь я немножко
Будто поглупел.

Не гляди тревожно,
Месяц, на загон.
Все на свете ложно,
Все на свете сон.

Все на свете сказка,
Что ни говори.
Призрачная пляска
Ночи и зари!

Все перемешалось
В горькое вино.
Утренняя шалость
Звякает в окно.

Хорошо ли, плохо ль,
А ведь надо жить,
И снега и тополь
Видеть и любить.

Дорожить минутой,
Не темнить лицо,
Подарить кому-то
Доброе словцо!

А сказать короче,
Не вгоняя в стыд,
Всем, кто в эти ночи
До зари не спит,

За земную муку,
За тоску в тиши,
Пожимаю руку
Я от всей души!

Петр Орешин.

Конец года.

Весною весел крыш потоп.
Светла стеклянная грязь.
Но в этот день декабрь потек,
Желтея и дымясь.

Весною легок росчерк птах,
Но этого числа
Каждый вороний взмах
Был, как удар весла.

Река была нехороша.
И в продолженьи дня,
Как лошадь, тяжело дыша,
Ходила в полыньях.

И в сердце города, в нутро
Мучительно расперты,
С трудом проталкивали кровь
Трамвайные аорты.

В наборных с утра зажгли свет,
И гневные речи вождей
Стекали в резервуары газет
Потоком свинцовых дождей.

И светловолосого, в темном костюме,
Без памяти и без сил,
Хоронили поэта, который не умер,
А сам себя убил.

И на черных плечах, узок и мал,
Поплыл коричневый гроб.
И бронзовый Пушкин шляпу снял,
Смотря на свинцовый лоб.

А в это время, у станка,
Быть может и даже наверно,
Железную гайку сверлила рука
Математически мерно.

И полным голосом пел металл,
Что если свинца мало,
То есть железо. Один устал —
Другое начнет сначала...

День окончен. Завинчен. И тот,
Кто гайки сверлить привык,
Причесался, надел воротник.

Посмотрел на часы. И вот
Кончился 25-й год.
И 26-й возник.

Вера Инбер.

31/XII—1925 г.

Паровоз.

Василию Казину.

Еще вагонные глаза
Глотали горечь дали —
Еще с шипеньем тормоза
Колес не отпускали —

Коротким ревом паровоз
Из степи душно-звонной
Степную гарь сюда привез
Душисто-пропыленный.

В дыму толкается вокзал.
Свистки и грохот в шуме.
А поезд сумрачно стоял
В железной мертвой думе.

Как-будто с мертвого лица
С железа без движенья
Сходила страстная мечта
В туман изнеможенья.

Был мглой уже объят чугун.
Стал каждый шорох светел.
И вдруг — с цветочных, пыльных струн
Пахнул, как тайна, ветер.

И средь вагонной суеты,
Среди людского шквала
В окне шатнулась мгла — и ты
Смеялась и дышала...

А поезд стал из синевы,
И будто нес в объятьях —
Всю — в шумном запахе травы,
Всю — в жарких ласках платья.

Но ты кивала мне... Сошла
И шла, шурша цветами,
Моя... живая... Пьяно мгла
Тебя звала свистками.

И слабый ветер тайно звал,
Вагоны звали, звали...
Ты шла — с тобою нес вокзал
Цветы, поля и дали.

Ты, вот... спешишь... Твой милый шум
На грудь, лукаво тая,
Упал — и средь железных дум —
Я слышал — там во мгле угрюм —
Как паровоз вздыхает.

Ник. Зарудин.

На посадку тополя.

Благоговейно, мягкою землей
Я засыпаю корни молодые,
И радость ясная и кроткий свет
Взволнованную душу обнимают.
Как будто бы родное мне дитя
С любовью нежной бережно беру
Уснувшего с игрушкою в руках
И в колыбель кладу, и покрывалом
Смягчаю свет и удаляю звуки.

Иван Ерошин.

Портреты декабристов.

Лариса Рейснер.

I. Барон Штейнгель.

Жизнь и злоключения барона Штейнгеля продолжались, собственно говоря, 129 лет. Неправильно отделять их друг от друга, 53 года отца и 76 сына. Они сливаются вместе и лежат перед нами, пересекая историю целого века длинной печальной чертой, похожей на великий сибирский тракт. Жизнь поразительная и печальная, какой не было никогда до этих пор. Обрывки ее записаны в некоторых сочинениях самого Штейнгеля — «О кнуте», — например, или об устройстве мещанского сословия в России. Но большая часть рассеялась по судебным книгам захолустных судов, утонула в неразобранных делах правительствующего сената, обратилась в прах вместе со всею бумажной рухлядью того времени. Давно сгинули имена крючкотворов, чрез руки коих проходили безнадежные тяжбы Штейнгеля, несправедливые против него приговоры и никого не достигавшие жалобы.

Вообразите себе придворный театр маленького маркграфства — Анштах-Байрейтского. На сцене представляют «Эмилию Галотти», или другую бюргерскую пьесу, главное лицо которой — бедный, но честный чиновник. В особенно значительных местах зрители тихонько поглядывают, кто на местного аптекаря, кто на самого князя, ища подобие выведенного господином Лессингом притеснителя в своем ближайшем начальнике. Атмосфера насыщена гражданской добродетелью. Представители третьего сословия занимают задние скамейки. На них сюртуки табачного, темнозеленого и песочного цвета. Они с важностью посматривают на молодых дворян, мешающих представлению своей болтовней.

Они еще молчат, еще полвека будут молчать, но выпрямленные спины, но сознание своей безукоризненной чиновничьей порядочности, чистота нравов и ученость уже окорбительны для крошечного двора и крошечной аристократии этого малейшего из малых немецких княжеств. И вдруг герой «Минны фон-Барнхельм», человек, послуживший моделью для «Натана Мудрого» или Тельгейма — попадает в Россию XVIII века. Он заеден сибирскими клопами, поражен черной оспой. Камчатский капрал Угренин (он же Козлов) — против Фридриха-Иоганна Штейнгеля. Жена унтер-офицера Се-

керина, матроска и потаскуха, скачущая по камчатским снегам в превеличайшей повозке со своим любовником, растаптывает ногами честное семейство, неподкупность и трудолюбие немецкого чиновника.

Решение Штейнгеля поступить на русскую службу с самого начала не предвещало ничего хорошего. В Петербурге Фридрих-Иоганн, не знавший русского языка, не решился вступить ни в один порядочный полк, но выбрал какой-то сборный астраханский, под началом графа Строганова. А кто же в Петербурге не знал, что Строганов в немилости, что имя Строганова противно Румянцеву, что ни один из офицеров Строганова не дождется награды. И не получил Штейнгель награды, хоть служил с отличием и храбростью против турок, таскался по песочному прикаспийскому краю и украинским степям, и с реляциями о победах летал в Петербург.

О, скучная армейская лямка, солнцепек и непогода, гамаши в проселочной грязи, и курные избы, и щи с капустой, шлагбаумы дремлющих от скуки провинциальных городов, пыльные площади, где производится учение. И походы, походы, походы. По окраинам, по диким местам, где псковскому мужику страшно, а не то что Штейнгелю из игрушечного городка Байрейта.

Но есть в сыром куске, в этой неразбуженной, нетронутой России что-то страшно притягательное для таких людей, как Штейнгель. Она возбуждает в них какое-то вожделение, какую-то дикую охоту рыть, строить, перестраивать, управлять. Снега казались этому истинному, в лучшем смысле слова, чиновнику огромными неисписанными листами. Боже, он видел во сне перо — большое, как столетние сосны где-то на уральских кряжах, ползающее по этим белым поленам, выводящее гигантские всероссийские буквы каких-то самых разумных, самых порядочных приказов. Чернильница в сорок сороков и вокруг нее армия чиновников, макающих туда свои перья.

Все, о чем мечтали Штейнгель-сын и Рылеев на балконе трактира «Лондон», называя оный балкон «Америкой» — обновление государства при помощи корпуса честной и интеллигентной бюрократии, набранной по способностям из низших слоев,—все это уже смутно предчувствовал Штейнгель-отец. Удивительные ощущения волновали его во время полковых экзекуций, когда кнут палача наносил багровые полосы на послушно-склоненную, широкую и белую крестьянскую спину. Он видел этот кнут вырванным из рук нелепого самодура, и врученным не ему, но тому просвещенному, трезвому, не берущему взяток, чиновнику, идеал которого так томился в сердце Штейнгеля, так беспомощно искал себе применения в павловской и екатерининской России. Бог с ним, с мундиром. На восток отправлялись первые ученые экспедиции, восходила слава сибирских руд, гремела Камчатка. Штейнгелю померещились широкие возможности. Соблазненный генералом Кашкиным, двинулся он в пермскую провинцию вместо того, чтобы возвратиться к себе на родину. В Екатеринбурге барон встретился с дочерью богатого купца Разумова и погиб безвозвратно, применив к этой рослой и веселой российской девице, мазавшей косу коровьим маслом и лущившей каленое семя — дух великой просветительной литературы и принципы Натана Мудрого о ра-

венстве сословий. Ему представилось, что Варенька есть то дитя природы, воспитанная в простоте, свойственной времени и месту своего рождения и своего звания, о котором мечтал сентиментальный век. За неравный брак Штейнгелю пришлось итти в капитан-исправники, ехать в город Обву, — но в любви он не ошибся. Варвара Марковна очень скоро научила детей ругать отца проклятым немцем, где только могла, хватала и бросала в печку его любимые книги, ненавидела и гнала немецкий дух, отличавший несчастного Штейнгеля от русских чиновников, сделавший его помелом и посмешищем того людоедского круга, — но любила нежнейше до последнего дня. Честно валялась за мужа в ногах у разных начальников, вырывала бесчувственного из рук пьяных солдат, не позволяла раздражаться, цеплялась за ноги и за руки, когда, доведенный насмешками до ярости, старик, ничего уже не разбирая, кидался на мучителей. Стирала его рубахи в остроге и с верным плачем и криком шла за мужем до дверей сумасшедшего дома, куда его, наконец, запрятали.

Почему же такой нелепой, такой безобразной вышла жизнь? Скатываясь все ниже и ниже, все дальше забираясь в Сибирь, Штейнгель руководился не одной случайностью. Его толкал на Восток особенный инстинкт торговой предприимчивости, еще слепой и неосмысленной. Четверть века спустя Штейнгель-сын прошел тот же путь, но уже с открытыми глазами. Он пересек Сибирь, чтобы встретиться с представителем первой русско-американской торговой компании в Охотске, и итти ему было легче. Стоило протянуть руку, чтобы ухватиться за крепкую нить деловых отношений, протянутых от Петербурга до Камчатки. Но в 1786 году через тайгу только прорубалась торговая дорога; поколение, которое этой дорогой должно было воспользоваться, даже еще не родилось. Штейнгель был его преждевременным, совершенно одиноким предшественником. Он тащился по Сибири в обозе колонизаторов. А эти колонизаторы набирались из последних отбросов. Проворовавшиеся офицеры, бывшие камер-лакеи, полицейские, просто проходимцы — один другого грубее, жаднее и невежественнее. Совершенно безнаказанные, эти наместники один после другого вытаптывали край своими солдатскими сапогами, строили остроги, заводили российские суды, драли и брили рекрутов. Население терпело, нищало, и постепенно истреблялось. В тундры ехали не для того, чтобы зевать. Рвали все, взяточничали все, все вместе. Система грабежа и вымогательства держалась круговой порукой. Притом у каждого наместника была своя особенность. Один сжег камчадалку-старуху, живую, за колдовство, в коем ее подозревали. Другой — путешествовал вверх по реке Камчатке на нарочно устроенной яхте, которую тянули на себе камчадалы от зари до зари в поте лица своего, между тем как сей камчатский капрал пьянствовал и веселился со своей любезной. Мог ли Иоганн Штейнгель смотреть на это равнодушно? И может ли быть положение мучительнее того, в котором он очутился? Вернуться назад невозможно, связи с остальным миром порваны, впереди ледяное поле, которое на несколько месяцев оттаивает, и тогда в пустынную гавань входит английский или американский корабль. Но Штейнгелю запретили встречаться

с иностранцами. Из своего угла он должен был видеть качавшийся на волнах корабль Кантонской торговой компании, слышать, как невежественный пьяный урядник ведет переговоры с англичанами и закоснелым языком лопочет то, к чему сам Штейнгель готовился целую жизнь. Наконец, корабли подымают паруса и уходят. Уж он под судом, уж его таскают по острожкам и крепостям, давно отрешили от всех должностей. Штейнгель без мундира, без косы, с кучей детей и длинным хвостом недоказуемых, но и неопровержимых обвинений. Штейнгель идет пешком через какие-то дебри, комары жалят его лицо, ночью нельзя развести огонь на болотистой земле. Ребенок умирает от оспы, умирает единственный друг — кормилица-камчадалка. Наконец, большой город. Но в Иркутске уже ждут новые бумажки, приговор верховного вместилища правосудия, в силу которого заочно осужденный немец лишается чинов, приговаривается к телесному наказанию и заключению в дом умалишенных. Тюрьма, смирительные рубашки. И вдруг смерть Павла Петровича, помилование, собственная изба у заставы, где Штейнгели живут, стряпая для продажи очень вкусные сдобные пирожки. Маленький Штейнгель уезжает учиться в Петербург в кадетский корпус. Варвара Марковна утирает старику нос. Старик стоит на крыльце и плачет. Но в промежутке между печением пирожков и продажей кваса он все еще пишет и отсылает в Петербург неведомо кому проекты наилучшего устройства Камчатки (на немецком языке). Эта склонность к преобразованиям и составлению проектов погубила в последнем счете и Владимира Ивановича.

Как не верить в переселение душ? После смерти Иоганна-Фридриха дух его целиком переселился в сына. Новый выдумщик вступил на жизненное поприще. Провидение определило его в морской кадетский корпус как бы для того, чтобы еще лучше показать необходимость всяких перемен. Первый пласт жизненного опыта у Штейнгеля: сибирские капралы, отец, прыгающий по снегу, а за ним стражники, мальчишки и любопытные. Второй пласт: кадеты, оборванные и босые. Взявши их за ноги и за руки, двое дюжих барабанщиков растягивают учеников на скамейке и со стороны так бьют розгами, что тело раздирается в куски. Училищный повар Михайлыч и краденые белые булки. Учитель Балаболкин с вечной каплей на носу, пьяный и развратный в наказаниях. Пятая книга Евклида, зазубренная наизусть без смысла и понимания. Побои, унизительная служба у старших гардемарин, по ночам поручения с записочками. Короче — первая школа, как, служа, наживаться, кривить душой и грабить, из которой мальчики выходили невеждами, без жалости к младшим, с низостью перед вышестоящими. Так Иоганн-Фридрих, он же Владимир Иванович, прибавил к прежнему опыту мерзость российских школ. Этот честный немец родился Агасфером. Он блуждает по разным ступеням различных ведомств, меняет службу, переодевает мундиры. Какой-то неутомимый следователь путешествует по России, собирая огромный обвинительный материал против всего ее государственного строя. Он видел окраины — Сибирь и Астрахань, — прожил там долгие годы под видом старика Штейнгеля, вместе с колодниками и ворами прошел весь крестный путь ее неправых судов и грязных острогов. Потом, обернувшись маленьким

мальчиком, разведал невежество и запущенность училищ, пошел в армию, где видел несправедливое производство, протекцию и сословную исключительность.

Наконец, с очками на носу шагает Штейнгель вслед за своим генералом, неся за ним бумаги, чернила и походный письменный прибор. Он на службе московского главнокомандующего Тормасова. Никто не признает теперь в этом почтенном чиновнике — оборотня, обрыскавшего уже всю страну от Кронштадта до Берингова моря в поисках все новых злоупотреблений, зол и обид. Он строит. Москва после пожара лежит в развалинах. Как некогда отцом, сыном овладевает лихорадка деятельности. Штейнгель счастлив со своими планами, лазает по лесам новых домов, заводит чистоту, пожарную команду, трезвых будочников. Аракчеев обращает свое внимание на этого умницу, который не хуже его самого умеет вставать в 6 часов, у которого бумажки в таком порядке. Аракчеев сидит с ним за маленьким ломберным столом, покрытым бумагами, напротив дремлет генерал — слушает звонкий голос Штейнгеля, вдохновенно летающий вверх и вниз по кривым лестницам самых запутанных дел — и дает себя провести этой безобидной внешностью, этим усердием. Не так Александр. Всего несколько раз видел он Штейнгеля. Знал о нем мало, и то по доносам вельмож, взятки которых не были им приняты, и дрянные родственники не определены на службу. Может быть, пробежал бегло какой-нибудь проект. Этого достаточно. Царь узнал Штейнгеля, как будто видел собственными глазами весь его сорокалетний бунт, там, в Сибири, и всю жажду ломки, преобразования, да, да, революции, милостивый государь, которая скрывалась за всеми этими, повергаемыми к стопам, самыми верноподданническими проектами. И, не задумываясь, поставил точку на Штейнгелевой карьере. Аракчеев брал его к себе, Новосильцев выпрашивал для министерства иностранных дел — Александр отказывал резко. И письменно и устно, и в будние дни и даже под Пасху. Владимиру Ивановичу пришлось уйти со службы и после некоторых блужданий поступить в должность к богатейшему московскому военному поставщику. Частный капитал узнал своего человека, и оценил и обласкал. Но Иоганн-Фридрих все еще переворачивался в гробу, по ночам Штейнгель слышал, как старик кашляет и кряхтит и не хочет итти в рай, пока все остается по-старому. Не мог Штейнгель отказаться от борьбы.

Что он не хотел брать взяток, что спасал от разорения и ссылки каких-то невинно-осужденных — это еще ничего. Но у Штейнгеля была другая черта, гибельная. Он должен был додумывать до конца свои мысли. Голова его была устроена, как чудные часы, которые можно завести только один раз. Заведены, ключ вынут, и часы идут, пока не кончится весь завод. Ни остановить, ни вернуть стрелки обратно — нельзя. Чтобы устроиться снова на государственную службу, Штейнгель написал и передал Аракчееву докладную записку «Нечто о кнуте». Знал, кому пишет. Но золотые пружинки логики пошли в ход. Защелкали колесики, кружки потянули за петельки, граненые зерна хрусталей разошлись по своим местам: и высказались с неудержимой правотой все тайные мысли, продуманные гораздо раньше.

Батоги, которыми били отца, розги камчадал, линьки морского училища. Все палки и плетки собрались в огромный пучок и выскочили прямо на письменный стол к Аракчееву. То же самое с проектом о городских мещанах. Чик, чик, — и вышел план реформы, от которого затряслись стены. Уж после гибели Штейнгеля резали, резали его мысль чиновничьи ножницы, — и то хватило на целое царствование.

Человеком 42 лет, довольно полным и даже обрюзгшим, имея в Москве квартиру и оклад, приехал Штейнгель в Петербург по делам своего Варгина, когда в удивительный аппарат его мышления попала новая, ему самому неприятная идея: никакими бумажками, никакими чернилами не остановить этого бешеного российского произвола. Нет легальных способов борьбы. Следовательно, — протикал логический хронометр, — нужно изыскать методы нелегальные? Это выскочило само собой как кукушка из часов. Рылеев взволнованно встал со своего места, схватил Штейнгеля за руку:

— Хотите быть членом нашего тайного общества?

Тут завод кончился. Штейнгель пришел в себя и кое-как прекратил разговор, который не возобновлялся до 1825 г.

Приехав в Петербург для определения детей своих в школу, Влад. Иванович попадает в самую гущу заговора. Всякие тайные общества — вроде масон — были глубоко противны его холодному, как ключевая вода, рассудку. Штейнгеля тошнило от шутовских обрядов и клятв. Революция поразила этого рационалиста с иной, необычайной стороны. Он остался членом общества, плененный строгостью и чистотой политических линий, которые так умел воспринимать его мозг. «Не мог не прилепиться мыслью к изящности такого правления, которое обеспечивало бы личную безопасность». Жалкая судьба отца, собственное беспорядочное скитание забыты и отброшены. Из темной личинки этих двух, слитых вместе жизней выходит совершенно готовый социальный тип. Мятежник не по чувству, но по голому расчету, в силу почти математически-точных рассуждений, которые можно записать и проверить с карандашом в руках. Штейнгель — революционер, умеющий хранить секрет своей партии, как нотариус завещание, а банкир — деньги своего доверителя. Недаром Владимир Иванович был связан с русско-американской компанией. Чистокровный янки, буржуазный революционер начала XIX века не ответил бы следственной комиссии лучше, чем сделал это Штейнгель. Почему не донес? Потому, что был «депозитором чужой тайны». Это уже третье сословие во весь свой рост.

Другие терялись. Чем ближе к катастрофе, тем студенее голова Штейнгеля, тем ровнее стучит секундомер его мысли. Он не терпит неряшества, российского «авося» в деле заговора, как не терпел его в своей бухгалтерской книге. Штейнгель против цареубийства, но уже если бить, то без промаха. Благочестивый и аккуратный Владимир Иванович был единственным среди своих друзей-атеистов, который предложил схватить августейшую фамилию в церкви за золотой решеткой, всех сразу, как кур в клетке. Ни пасхальные колокола, ни заутреня не помешали ему додумать до конца

этот разумный план. Еще 14 декабря ни у кого не был готов манифест. Штейнгель его написал за 2 часа до восстания.

Для декабристов, попавших в тюрьму, тишина алексеевского равелина была первой минутой отдыха. «После долгого томительного дня наконец я остался один. Это первое отрадное чувство, которое я испытал в этот долгий мучительный день» (Оболенский). Для одних началась агония— большинство отдыхало, освобожденное, наконец, от своих революционных обязанностей.

Штейнгель в это время решал последнюю свою алгебраическую задачу: смерть. Его мозг, как машина, схватил за темное крыло эту шмыгавшую из камеры в камеру тень и, как она ни вырывалась, всю ее втащил в свои жужжащие колеса, переварил, размолол на мельчайшие атомы и выбросил вон смятую, обезвреженную, уже не опасную.

«На второй или третий день по заключении, ходя из угла в угол каземата с напряженным духом, я испытал себя, в состоянии ли я умереть на эшафоте с полным присутствием духа, и проследил весь процесс. Казнив себя таким образом, я лег и заснул».

Бывали дни, когда следственная комиссия, когда лошадиные копыта Левашова не могли выдержать Штейнгеля. Его спрашивали. Наконец-то! Всю жизнь он говорил, и его никто не хотел слушать. Теперь не только слушали — но ловили на лету и записывали каждое слово. Не давали молчать. В камере была приготовлена стопа наилучшей бумаги и прекрасно очиненное перо. Штейнгель знал—ни один листик не потеряется, не попадет под сукно. К вечеру того же дня, перебеленные лучшим писцом, его бумаги будут отвезены во дворец. Все, что было заброшено, сдавлено в течение стольких лет, — вырвалось теперь наружу, обрушилось ливнем блестящих идей, планов, проектов на головы оторопелых судей. Мозг Штейнгеля был в огне, напрягал все свои силы, истекал творческой энергией, жадно утоляя в могильной тишине равелина страшный свой голод. Этот заключенный вцепился в своих слушателей-жандармов, сдавливал их за воротник и не хотел отпускать. Его жизнь и жизнь отца выходила у него через глотку. Штейнгель умер бы, если бы еще раз ему приказали замолчать.

Николай Павлович слушал. Многое потом использовал. Но между тем придумал для Штейнгеля особенную казнь. Этого, прилепившегося к революции за изящество ее форм, человека, у которого сквозь толстую немецкую кость просвечивали мозговые извилины несравненной тонкости, — но не пугайтесь — ничего страшного, — его на несколько лет оставили без бани. Посадили в тюрьму и не позволили мыться.

Когда заключенный в первый раз увидел свою камеру, то встал на колени перед окном и молился свету. Штейнгель понял и принял унизительный вызов, брошенный его ясному человеческому разуму. Старый рационалист не позволил себе разрушиться в одиночке. Из крепости он вынес свой ум неповрежденным. Когда Сварттольм сменили на каторжные работы и вечное поселение, у Владимира Ивановича еще раз достало сил начать с начала. В Нерчинске, в дикой глухой стороне, Штейнгель сейчас же устроил

себе умственную гимнастику, выдумал трапецию духа и влез на нее с ловкостью молодого человека. Работая днем на рудниках, старик по вечерам брал уроки латыни. Мускулы его памяти напряглись, старый материалист уже мог прощупать их железные узлы сквозь грубый рукав арестантского халата. Собравшись с силами, он сел писать письмо графу Орлову. Штейнгель обратился к нему с челобитной — но, как всегда, логика понесла, пока и сам сочинитель, и его бумага, и его смиренная просьба не повисли где-то на краю обрыва. Не то что колодник, — никто не смел в России разговаривать подобным языком.

«Есть же бог, вечность, — потомство, — писал Штейнгель всесильному временщику.—Страшно посмеваться ими». Это 70-летний старик, которому давно простили, как трупу.

Такие люди, как Штейнгель, не уходят из жизни бездетными. Речь не о настоящих, кровных его детях. Но разум этого склада — как бдительный ламповщик. Он не даст угаснуть последнему огарку, пока не увидит, что от его мигающего фитиля тонкий пламень перекинулся на будущее. Слишком немец, рационалист и купец, чтобы не верить в разумную и неизбежную преемственность идей. Декабристы-аристократы умирали безнадежно.

Они шли в пустоту. Штейнгель — единственный, который был совершенно уверен в том, что будущее за ним и за его классом. Он никогда не притворялся героем, не становился в позу, не изображал российского Брута. Но от этого спокойного, трезвого и делового немца Николай Павлович услышал вещи, гораздо более для себя страшные, чем все кинжалы Каховского и покушения Якубовича, вместе взятые. И притом высказанные с прозрачной ясностью и простотой. Коротко, как параграф латинской грамматики, и точно, как бухгалтерское вычисление. К прошлому вернуться нельзя, потому что «Россия так уже просвещена, что лавочные сидельцы читают газеты, а в газетах пишут, что говорят в палате депутатов в Париже». Русский лавочник с газетой в руках! Действительно, для старой крепостнической России это оказалось непоправимым.

Уж он вернулся в Петербург, раскаялся, сподличал даже (помолился на могилке императора Николая) — полиция не верила ничему. За 76-летним наблюдали, как за опасным преступником. И Штейнгель еще раз посмеялся над этим грубым солдатским режимом. Чувствуя приближение смерти, он написал и спрятал от сыщиков свое настоящее политическое завещание.

— «Записки».

— Кто осудит страдальца, если бросит наудачу несколько слов в океан времени, с последней надеждою — авось перехватят внуки...

Но и эта надежда обманула. Внуки не перехватили. Они не были Штейнгелями и не посмели поднять руку на империю.

II. О Каховском.

Вот что потребовал Рылеев от Каховского. Он хотел, чтобы этот человек убил царя, а в случае неудачи принял на себя всю вину, и не подозревал при этом, что в Думе решено его выбросить за границу сейчас же после покушения, а если попадется, то отдать под суд и судить, как последнего преступника. Судить даже после переворота, даже в случае самой полной и блестящей победы. Таким образом покушавшийся непременно попадал на виселицу — если не на николаевскую, то уже наверно на трубецкую. В обоих случаях Общество отрекалось от своего агента.

Ни одна капелька грешной крови не должна была забрызгать белые княжеские штаны.

Если Трубецкой ставил Рылеева в фальшивое положение, позволив вербовать молодых людей, «готовых на все» за пределами союза, где-то на отлете, с черного хода, то эта фальшь удесятерилась, перенесенная на Каховского.

Весь план Сергея Петровича основывался на том, что убивает царя не Общество. Значит и не член Общества: авантюрист или наемник. Но на примере Якубовича декабристы попробовали, что значит агент, не связанный с партией ни идейной близостью, ни дисциплиной. Каждый день он выдумывал новый план покушения. Никто не мог поручиться, что этот героический хвастун не начнет действовать без ведома Общества, никого не предупредив и ни с чем не считаясь. С величайшим трудом удалось уговорить его подождать. У Якубовича выклянчили сперва месяц, потом год. Рылеев был близок к тому, чтобы пойти и донести на него в полицию. Значит, Обществу нечего было делать с авантюристом. Рылеев увидел: нужен верный и послушный товарищ. Каховский принят им в общество, сделался ревностным членом, привлек многих. В день 14 декабря гренадеры, как один человек, прибежали на площадь. И Панов, и Сутгоф, и Кожевников, и Глебов сдержали слово, данное Каховскому.

Провалилась и вторая часть плана Трубецкого. Нельзя было держать этого беспокойного человека вдали от остальной отрасли. Петр Григорьевич был энтузиаст, очень беден, очень несчастлив в любви и ожесточен против общества, не пускавшего таких, как он, дальше передней. Заговор внес свет в эту душу, всеми пыльными окнами выходившую на задворки, на теневую сторону, на черные дворы и мансарды старой Галерной, где прозябают мелкие чиновники. Работа в Обществе отняла все унизительное, что было в обидах Каховского, повыдергала длинные, нарывающие занозы, которыми мучилось его самолюбие. Сквозь призму своих букашечных страданий Каховский увидел огромное социальное зло, раздавливавшее его малую поручичью жизнь вместе с целой Россией, и всей душой бросился в движение. К человеку же, который его разбудил и ввел в среду революционеров, к Рылееву — привязался горькой любовью титулярного советника, отвергнутого всеми генеральскими дочками.

Раз сделав Каховского членом Общества, Рылеев не мог помешать его сближению с остальными товарищами. Ближайшие друзья Кондратия становятся и его друзьями. Он входит в их тесный кружок, делается его равноправным членом. И тут Петр Григорьевич замечается: он единственный бедняк, единственный не светский человек среди этих блестящих офицеров гвардии, являющихся на сходки прямо с придворных балов, из приемной герцога Вюртембергского, из дворца. Он один бежит пешком, куда другие приезжают в собственных каретах. И ему, нищему, человеку без имени, без состояния, эти богатые люди, эти аристократы, поручают самое трудное и славное дело — убийство царя. Они отказываются от известности Зандта, от имени Брута в пользу его, Каховского, владельца жалких 200 душ в крошечном смоленском имении. Польщенный, испуганный, полный благодарности, Каховский упивается своей ролью. Звание тираноборца позволяет ему быть на равной ноге с молодыми князьями, даже ставит его на высоту, с которой их аксельбанты и родовые имения ничего не значат. А между тем, глаза Каховского невольно смотрят пристальнее других; у него наблюдательность бедняка, зоркость нищего, замечающего всякую мелочь в хоромах, куда его впустили с улицы. Из всех декабристов, может быть, самый наивный, безусловно верный своему слову и верующий — нищета всегда верит в революцию сильнее богатых, — Каховский не мог совсем ослепнуть, не мог лететь к своему подвигу, закрыв глаза, как бы этого хотелось Рылееву, как ему самому хотелось. Не мог не заметить в своих товарищах разницы темпераментов и социальных окрасок, им самим еще не ясных. Глаз постороннего, завистливый, подозрительный, прошедший школу жизни, глаз Каховского раньше всех должен был остановиться на трещинах, на скрытых противоречиях, которые разделяли его друзей — баричей. Он заметил, как Бестужев ходит к Одоевскому, садится у камелька и дразнит его насмешками над немецкой философией. Не было для этого холодного дельца радости большей, чем выманивать романтиков на их любимое поле и выжать им на голову губку уксуса, когда они разболтаются. Тихонько позванивала шпора, и розовые щечки Бентама морщились от кислоты. Каховский узнал: Трубецкой не любит Рылеева, эту смесь «торгашеской» американской компании и пламенных стихов, этого мечтателя, который, однакоже, первый заговорил о деньгах и потребовал у князя отчета в 10.000 растраченных им общественных денег. Не могли не быть на разных полюсах тот же Марлинский — и Никита Муравьев — идеолог северян, автор Конституции, человек, усовершенствовавший тюремную азбуку перестукивания, составленную и распространенную уже в равелине. От одного повела свое начало романтическая русская повесть, от другого этот расчерченный квадрат с буквами, тихая речь мельчайших стуков. Заключенные научились ударять в стену косточкой согнутого пальца, встав спиной к окну, не спуская глаз с глазка, слыша войлочные туфли жандарма в коридоре, шорох его рукава у закрытых дверей. Стены тюрем на Петропавловском островке, которые теперь рассыпаются, — памятник величайших человеческих страданий и прилежной мысли, которая сквозь камень прижимала свои тишайшие уста прямо к чужому сердцу, гово-

рила ему и наполняла освежающим шопотом, музыкой своего неуловимого разговора. Каховский не мог не слышать, как зло и несправедливо судили в их кругу о южанине Пестеле. Как раздосадован был Рылеев его предложениями, как безукоризненный Трубецкой стучал кулаком по столу при одном упоминания этого имени: «он бредит, Пестель бредит».

Каховский успел узнать своих друзей по болтовне, за которой никогда не следовало дело. Между ними и им легло столько ночей, когда договаривались до последних предпосылок революции — и столько трезвых будней, к которым ночное красноречие не имело ни малейшего отношения. Революционная фраза стала хорошим тоном аристократического кружка: как дым табаку, как крепкий горячий чай в 3-м часу ночи. После сходки лакей проветривал и подметал комнату — и страшные слова вылетали вон вместе с чадом и окурками. Общество никого не стесняло, Трубецкой мог сделать блестящую карьеру, а Пущин—бросить ее и стать мелким чиновником в суде, чтобы там, на месте, бороться со взятками и злоупотреблениями — это было их частное дело. Встречи друзей даже приобрели особенную прелесть от полной их противоположности. Энтузиазм, ни к чему не обязывая, смывал грязь с души. Чем больше расходились, тем больше иронической нежности вносили в эти отношения. Декабристам было не к спеху с революцией. Они могли ждать. Но Каховский ждать не мог.

Рылеев раз навсегда запретил ему говорить с остальными членами Общества об его ближайшей задаче, о цареубийстве. Каховский соглашался: конечно, заговорщик должен скрываться перед посторонними. Но почему все остальные болтали, никто в этом отношении не стеснялся? Возили сплетни из придворных кругов, рассказывали о новых скандальных историях, порочили царя и его правительство вкривь и вкось, и только он один должен был молчать? Каховский ревниво прислушивался к резким выпадам своих друзей против Александра. Нет, не осторожность удерживала их от последней откровенности. Они попросту ничего не знали о его договорах с Рылеевым. Они ощупью бродили вокруг, почти дотрагивались до его тайны, чуть не натыкаясь на нее впотьмах. Еще другое. Принимая его, Рылеев прямо назвал цель Общества: истребление всей царствующей фамилии и введение Правления Народного. Каховский же, присоединяя новых членов, ни в коем случае не должен был им говорить об этой цели. Как же? Ведь он втягивал в заговор своих лучших друзей, чувствовал себя ответственным за их будущее. Тревога не оставляла его до конца.

— «Господа, не погубите лейб-гренадеров нерешительностью».— Каховский думал дальше. Почему же эти люди, рисковавшие жизнью для Общества, не должны были знать правды? А он, рисковавший больше всех, — разве он действительно знал эту правду? По разговорам друзей было трудно что-нибудь проверить. У каждого своя точка зрения, свои планы... Разноголосия и спор по всякому поводу. «Может быть, — успокаивал себя Каховский, — эти рядовые члены такие же пешки, как и я сам? В Петербурге есть высшая отрасль, есть верховная дума. Нужно увидеть, узнать диктаторов,

услышать от них самих, какими силами, где и когда будет произведен переворот, и что станется с Россией после него»...

Как понятен острый интерес Каховского к этому «потом». Во-первых, желание вырваться из неизвестности. Знать определенно, за что идешь на виселицу? Во-вторых, отстранить от себя призрак какой-то неминуемой гибели, наводимой на Каховского уклончивым разговором Рылеева. Когда офицер не хочет сказать солдату утром перед боем, куда ему итти обедать и спать после сражения. Когда на все вопросы о завтрашнем дне начальник отмалчивается или отвечает небрежно, явно не допуская возможности никакого завтра, — он этим разлагает волю своего подчиненного. «Что тебе до вечера? Что до завтрашнего дня? Доживи до них, тогда поговорим». Вместо точных сроков, вместо краткой дислокации, Рылеев старается размягчить чувства. Он умащивает Каховского, ласкает и нежит его, как жертвенного барашка. Вся история, все ее страницы служат для каждодневных иллюстраций. Воображение разожжено, голова кружится от высоких сравнений, душа пухнет от этой сладкой дурманящей пищи. Но Каховский не романтик, не поэт и не артист, хотя и говорит о себе в письме к Николаю: «Мы в молодости более управляемся сердцем, чем рассудком». Это верно. Но чувства его зажигались иначе, и другим огнем, чем у его товарищей, людей пушкинской эпохи, с которыми навсегда отгорел, уже перешедший за свою золотую половину, ясный эпический день дворянской культуры. Он шел из разоренного дворянского гнезда, из затоптанного мелкого землевладения. Целесообразность и польза толкали его на покушение гораздо больше, чем примеры античной доблести.

Каховский пробует даже доторговаться с Рылеевым о политической цене своей жертвы: «Итти убить царя — мудреного ничего нет, и всех зарезать не штука, но, низвергнувши правление, надо иметь возможность поставить другое. Мной хотят воспользоваться как орудием». Эта мысль еще за порогом сознания. А за ней уже ползет другая — тоже пока без лица, и прескверная: они собираются играть Россией, как играют мной. Кучка князей, захватив власть, начнет хозяйничать по-своему в стране. Вот откуда отвращение Каховского к крупнейшей и единственной революционной мысли, перенятой Рылеевым у Пестеля, — мысли о временном правлении, вышедшем из восстания и захватившем власть, под защитой которой собирается великий собор от всех сословий. Каховский боялся, что революционная диктатура обернется диктатурой придворной, среди которой он задыхался уже теперь, до переворота. «Правление может назначить число депутатов, но каких именно, богатых или бедных, оно в сем распоряжаться не может». Вероятно, Каховский сделался бы горячим защитником Временного Правления, на сто лет опередившего свое время, если бы слышал, с каким бешенством его благонамеренные друзья нападали за него на якобинца и еретика Пестеля. Стараясь составить собственное мнение, Каховский достает и зачитывает том Лафайетта, доводит Рылеева до отчаяния своей косностью: «Он не соглашался... а, напротив, представлял, что Обществу все должно сделать для блага отечества, но ничего не брать

на себя». Маленький клубок сомнений и разноголосий катится дальше, к нему прилипают оброненные слова, недомолвки, взгляды, интонации. Клубок вырастает в гору. Гора эта обрушилась уже в Петропавловской крепости и раздавила Рылеева. Об этом потом.

Любопытство Каховского начинает мучить его друзей. Он преследует их назойливыми, упрямыми, однообразными вопросами: «Кто члены Общества, как их зовут, есть ли среди них люди с именем, в чинах, пользующиеся доверием страны?». Он надоел Рылееву своими вопросами: — «Кто тут замечательные люди?» (А. Бестужев). Декабристы не видели в этих розысках ничего, кроме привкуса тщеславия. Выскочка, которого, как запасное блюдо, постоянно держат в подогретом состоянии, втерся в круг людей выше стоящих и жадно вынюхивает их имена.

Настроение Рылеева все продолжает описывать полные круги между роспуском Общества и революцией, между цареубийством и мирной высылкой за границу. Он ведет подготовку на обе стороны, подзадаривает Каховского, «назначая его для нанесения удара» — и кстати присматривает в Кронштадте корабль для августейших пленников. Удивительно, как Рылеев и Керенский — первый и последний буржуазный революционер России — сошлись на этой мысли. Каждое из качаний разбивает Каховского. Его нервы лопаются, как стакан, в который по очереди наливают кипяток и ледяную воду. Его уже не приходится уговаривать — он сам рвется вперед, истерически требует быть представленным думе, торопит, настаивает на покушении во что бы то ни стало. Теряя власть над своим партнером, Рылеев увеличивает дозы ревности, которую испытывал Каховский к Якубовичу. Как только Петр Григорьевич ослабевал, — а он ослабевал все чаще, — перед ним тотчас рисовалась бравая фигура усатого и ненасытного в своем мщении кавказца. И, почувствовав эти шпоры, Каховский тащился дальше.

От членов Общества не укрывалось ни состояние Каховского, ни тревога Рылеева, все больше выпускавшего его из рук. Летом, проходя под окном, князь Одоевский уже слышал голос, с раздражением повторявший, и видно не в первый раз: «Для блага моего отечества я бы готов был и отцом моим пожертвовать... только необходимо нужно тому, кто решится пожертвовать собой, знать, для чего он жертвует, чтобы не пасть для тщеславия других». Еще больше встревожился Бестужев. Он был плох насчет немецкой философии, но зато хороший солдат, и решил обрубить постромки. Каховский считал Бестужева своим искренним другом. Он, пожалуй, так и умер бы, не узнав правды и не переменив мнения, если бы не последние очные ставки. Покинутый, оплеванный друзьями, которые дружно, в семь рук тащили его на виселицу, Каховский, как мог, сохранял искру последней благодарности к Бестужеву, единственному, как он думал, пожелавшему его спасти. Между тем на суде никто не говорил о Каховском в тоне такого ледяного равнодушия, как Бестужев. Когда сегодня, через сто лет, читаешь страницы его показаний — гладкие, грамотные, спокойные, — лицо горит от

пощечина, и все внутри корчится от нестерпимой обиды. Другие обвиняли Каховского, обременяли его, и без того обремененного на-смерть, ложными показаниями. Все это ничто по сравнению с совершенной холодностью Бестужева. В лице многих декабристов соединялись два начала: последняя фронда дворянства и первое революционное движение молодой буржуазии. Этой двойственностью отмечены прекрасные черты Рылеева и Штейнгеля. Но она имеет и обратную сторону. В отношении к Каховскому тоже соприкоснулись, идущие на смену друг другу, эпохи. Им пренебрегали, как крепостники своей, отпущенной на волю, душой, и как богатые пренебрегают бедным. Вотчинник и растущий кверху делец — оба оставили следы своих грубых пальцев на его искривленном от боли лице. Положим, Бестужев не церемонился и с Рылеевым. Но это только небрежное пожимание плеч насчет человека своего круга. Так можно было посмеяться в хорошей гостиной: он «один из самых ревностных членов Общества — человек весь в воображении. Но кроме либерализма, составляющего, так сказать, точку его помешательства — чистейшей нравственности». Называя имя Каховского, Бестужев не поворачивает даже головы в его сторону, не узнает его, не видит. Между ним и столом Бенкендорфа стоит не живой человек, не товарищ по партии, — а воздух, пустое место, ноль. Если бы Каховский служил у Бестужева, ну в лакеях, в поварах что ли, а потом ушел и проворовался на другом месте, и прежнему хозяину пришлось бы тащиться в суд и давать показания по этому грязному делу — вот тон Бестужева. Сам в цепях, но против Каховского — Бестужев с Бенкендорфом заодно. Они шушукаются, они оказывают друг другу маленькие услуги по части розыска. Жандармский генерал и ад'ютант герцога Вюртембергского могли ссориться, и даже очень крупно — но против третьего — стена. Гладкая, ледяная стена солидарности, о которую напрасно колотился Каховский. Смотрите, как это сказано: — «Каховский... мне не очень нравился, ибо назначался для нанесения удара. Я хотел удалить его и, видя, что он надоел Рылееву своими вопросами... подстрекнул его и довел до того, что Рылеев о т к а з а л е м у о т О б щ е с т в а». Даже слова похожи: «отказал от общества», или «отказал от места».

В один прекрасный день Бестужев повел Каховского гулять. И в Летнем саду, в тихой боковой аллее, где бегали дети и на лавочке скучала какая-то няня — в полчаса, просто и деловито раскрыл ему глаза на настоящее его положение в Обществе. Этот разговор, в точности сохранившийся в показаниях обоих его участников, похож на быструю операцию. Едва началось — они не успели дойти до ближайшей Дианы, выставлявшей из кустов свое белое колено — и уж конец. Каховский не почувствовал боли. Он занемог только на следующий день.

Такая странная, легкая пустота внутри — и этот голос, мелькающий, как точеное блестящее лезвее.

— Представь, Рылеев воображает, что найдутся люди, которые не только решатся пожертвовать собой для цели Общества, но и самую честь принесут для нее в жертву.

— Что ты говоришь?

— Тем, которые решатся истребить фамилию, дадут все средства бежать из России. Но если попадутся, то должны показать, что не были в Обществе, потому что оно через сие пострадать может.

— И даже если победим?

— Цареубийство, для какой бы то ни было цели, всегда народу кажется преступлением.

— Если это преступление теперь, и во время свободы будет так же видеться, то лучше не приступать?

Теперь уже Каховский хотел знать до конца.

— Наверно и люди на сие не найдутся?

— А Рылеев, — возразил Бестужев, — все толкует о тебе, что ты на все решился...

Слезы душили Каховского. Честь, которую он, может быть, добровольно и отдал бы во имя «отечества», у него хотели стащить, украсть, как носовой платок из кармана.

— Напрасно, если он разумеет меня кинжалом, то, пожалуйста, скажи ему, чтобы он не укололся. Я давно замечаю, что он тонко меня склоняет, но обманется. Я готов жертвовать собой отечеству, но ступенькой ему или его умникам к возвышению не лягу.

Бестужев засмеялся. — Какой же сумасшедший захочет это сделать? — когда и самые товарищи его не признают, и на него же изольют хулу и казнь. А прочие будут в славе, в силе и на первых местах.

Бестужев попал прямо пальцем в рану. «Каховского поразил не самый поступок, — но наказание за оный — худая за то слава даже в свободном правлении». Пока была вера в партию, Петр Григорьевич не колебался. Во всяком случае не больше, чем должен был колебаться сто лет тому назад русский дворянин и офицер, в первый раз, на протяжении целой истории, поднимавший руку на царя во имя республики.

Но после этой прогулки все развалилось. Интересы общества и интересы революционной России больше не совпадают — может быть, между ними вообще не было ничего общего?

Тут Каховский вспомнил о своей материальной зависимости от декабристов. Недавно купленный лиловенький фрак вдруг облепил ему грудь, как будто он был сшит не из сукна, а из чугунных листов.

А даровые обеды у Гака, устрицы и вино, за которое платили другие? А поездки в Смоленск, а жизнь на чужой счет целыми месяцами? Его прикармливали с хозяйского стола, за него ручались портному, ему совали карманные деньги. Эти господа давали ему на-чай, а он, Каховский, брал подачки и ничего не замечал, ничего не понимал. Да как же было не брать?

Ведь он несколько раз порывался уехать из Петербурга, когда «обширные намерения при ничтожных средствах» и вечное дерганье из стороны в сторону подорвал веру Каховского в революционные намерения Общества. Да и петербургская жизнь была ему не по карману. Он собрался потихоньку и пошел к Рылееву прощаться. Но Рылеев не отпустил. Если когда-нибудь

нежная дружба и чувство глубокой духовной близости связывало этих двух людей, то наверное в ту незабываемую ночь.

Рылеев говорил о революции, о том, что она близка, что ей каждый день может понадобиться последняя жертва. «Все почти готово, членов достаточно — остается приготовить солдат». «Это будет, — и Рылеев взглянул на образа, — непременно будет в 26-м году». Потом о Наташе, маленькой дочке, потом о стихах — и снова о революции. В эту ночь романтики ясно слышали ее легкий шаг и предрассветное дыхание в белом свете белых петербургских ночей. О любви, о революции, о девочке и опять о любви. Конечно, Каховский остался.

А когда выходил, и на лестнице уже, глядя сверху вниз, увидел тонкого Рылеева, его хрупкую шею, о которой пел Мицкевич, и руку поэта на подсвечнике, и особенный блеск, который пролила ему на его крутой лоб молодая бессонница, — то назвал его братом, и совсем не заметил, не придал никакого значения ассигнациям, всунутым в руку дружеской рукой. Он, не считая, опустил их в карман. Общество, которое его держало наготове, давало Каховскому средства к существованию. Чего же проще?..

После прогулки с Бестужевым, Каховский написал письмо к членам думы и требовал настоятельно быть оной представленным. Рылеев сжег письмо и отказал. Убедился, что все правда. Возненавидел Рылеева. Ушел из Общества.

Но Каховский был глубоко предан движению. Как только разнеслась весть о кончине Александра, и Общество обновилось новым духом, он «опять соединился в него, не будучи в силах удержаться, не участвовать в деле отечества». Но прежние отношения уже не могли восстановиться. Каховский подозрительно прислушивался к каждому слову, каждое предложение долго рассматривал на свет, как фальшивую бумажку, и потихоньку сличал с тем, что в его смутном политическом понимании представляло интересы беднейших классов, мелко-дворянской, канцелярской, захудалой Руси, от которой уж рукой было подать и до «Униженных и оскорбленных», и до шубы Акакия Акакиевича, и к которой принадлежал сам Каховский. Среди флигель-ад'ютантов и князей бодрствовал представитель тех безыменных пешеходов, которые утром, в худом пальто и с папкой бумаг подмышкой, бежали через туман и слякоть к своим департаментам между седьмым и девятым часом утра. Он крепко задумал после переворота «в случае злых намерений для отечества от думы — восстать против нее». Все эти мысли очень знал Рылеев — удалялся от Каховского и, как мог, старался скрывать свои намерения. А качка все продолжалась. Дня за три до восстания, опять едва не распустили Общество по домам.

Сборища офицеров, которые приходили за планом, за приказами — это не мирная болтовня у себя в кабинете. Рылеев уже прикоснулся к живой революции, плыл по ее течению. И логика событий, казалось, заставляла его рвать с Трубецким и Бестужевым, с Оболенским, со всем правым большинством как раз по вопросу о цареубийстве. «Если государь император не будет схвачен нами, — рассуждал Рылеев, — непременно последует междо-

усобная война. Для избежания междоусобия должно принести его на жертву. С истреблением же всей императорской фамилии... поневоле все партии должны будут соединиться или, по крайней мере, их легче будет успокоить». Мысль была верная. Если бы Рылеев позвал к себе Каховского и об'яснил ее так же внятно, как он это сделал в крепости для Бенкендорфа, Николай Павлович не сошел бы живым с Сенатской площади, а может быть, и со своего дворцового крыльца. Но Рылеев не посмел сказать. Наоборот. Они еще раз вместе с Бестужевым накинулись на Каховского «дня за два или за три до 14 декабря».

— Теперь же все в недоумении, все общество в брожении, — кричал Каховский. — Достаточно одного удара, чтобы заставить всех обратиться на нашу сторону. Правда ли, что положено Обществу разойтись? И когда оказалось, что правда: — «Я говорю вам, господа, что ежели вы не будете действовать, то я донесу на вас правительству».

А его все поливали холодком, умеренностью, старым криводушием: «цель Общества... преобразование правительства заключается не в убийствах, Обществу совсем не то нужно» — и одобрение получил самый трусливый план. Царь должен был погибнуть как бы случайно, в суматохе, раздавленный где-то между дверьми во время занятия дворца. Не казнен приговором революционной партии, а затоптан при погроме. Кем, как, когда, — неизвестно...

Но после самого беспорядочного из собраний, последнего — 13 декабря, уже в прихожей, когда все расходились, Рылеев не выдержал. Он бросился на шею к Каховскому, обнял его со слезами и просил убить Николая утром, еще до восстания. Каховский чувствовал, как ему царапает щеку накрахмаленный галстух Рылеева, жалкое и жгучее прикосновение слез и какое-то равнодушное удивление. Его упрашивают — зачем? Разве он когда-нибудь уклонялся? И первое же слово, сказанное Рылеевым, заслонило, отодвинуло его так далеко, что Каховский с трудом мог узнать растрепанную фигуру, которая откуда-то, из бесконечной дали, протягивала к нему свои маленькие, умоляющие руки. — «Ты сир на сей земле, ты можешь быть полезнее, чем на площади. Истреби императора». Зачем нужно было еще раз вспоминать про эту сирость? Ведь это значило: ты беден, нищ, гол, тебе нечего терять, пойди и освободи нас от царя.

Каховский не был трусом. Он достаточно доказал свое мужество на другой день в каре. Раз за разом брал он из рук своих друзей их великолепные пистолеты, которых они сами не смели пустить в ход, — чтобы согреть себе пальцы... Им был застрелян Милорадович, и убит Стюрлер. Он прогнал митрополита так решительно, что старый лис, Сперанский, полюбовался им из своего окна.

— Полно, батюшка, не прежняя пора обманывать нас — поди на свое место.

Каховский ударил по лицу свитского офицера. Каховский убил бы великого князя Михаила, если бы вокруг не были разор и безначалие, и царя, если бы царь осмелился под'ехать к мятежникам. Видя дымящееся оружие в руке Оболенского и генерала, который скакал прочь, прижимая руку к ране,

какой-то солдат вышел из рядов, обнял князя и благодарил его со слезами. И солдатское об'ятие и слезы были по нраву Каховского. Он один, несмотря на все сомнения, по-настоящему дрался за чуждый и враждебный северянам призрак своего народного правления. Но тут его взял страх. Выступать в самый великий день опять на основании своей сирости... Довольно, он глотал ее в течение целой жизни. А предложение Рылеева к тому и сводилось: опять остаться одному, отщепенцем, опять итти не со всеми вместе и не в ногу, а где-то сбоку или даже впереди — нет. Каховский не послушался, не пошел во дворец, а прямо на Сенатскую площадь. Думал, что там от него — если и захотят — не смогут отказаться. Каховский ошибся. Все равно отказались. В тот же вечер, в ночь на 15 декабря. Сейчас же после восстания, заговорщики с'ехались на квартиру к Рылееву, и уж тогда дружеская рука Штейнгеля отодвинула от себя почерневший кинжал Каховского, который он так настойчиво навязывал кому-нибудь на память о себе — и тихонько положила его назад на стол. Декабристы были цветом своей эпохи, самыми тонкими, самыми блестящими людьми того времени. Но удивительно, сколько грубости проявили они по отношению к Каховскому. «Он полагал, что очень тонок, — а на самом деле груб», — говорит где-то Каховский о Рылееве. Правда, груб. Пусть жест с кинжалом был немного театрален и не у места, — но как можно было отказать Каховскому, у которого, чуть не у одного из всех, руки были в крови по самый локоть, в подтверждение общей солидарности. Нужно было одно слово, чтобы успокоить его, разуверить, показать, что товарищи от него не отрекаются. Каховский этого слова не дождался.

Дело его отличается от дел всех остальных декабристов одной характерной чертой: оно состоит почти исключительно из очных ставок. Начавшись в первых числах мая, они продолжаются целый месяц, повторяясь все чаще. Наконец, Каховскому дают уже по две в день. Дознания, писанные сухим канцелярским пером, в нескольких местах прерываются криками отчаяния. Иначе нельзя назвать то, что писал Каховский в декабре, или 2 и 11 мая:

«Просил и прошу не спрашивать меня ни о чем, и делать со мной все, что заблагорассудится».

«Извините меня, я больше в комитет ходить не могу». — Но после каждого признания, которым Каховский думал откупиться, следовал новый нажим. Очные ставки каждый день выбивали у него из-под ног ту шаткую опору, на которой он еще держался. — Так что после последних двух — с Штейнгелем и Бестужевым — Каховский буквально болтался на перекладине. Не было товарища, который не приложил бы руки к этому повешению, не стянул бы потуже петлю, уже заброшенную ему на шею. Все предавали всех, но ни у Трубецкого, ни у Оболенского, ни у Рылеева не находим сцен, которыми пестрят листы Каховского. Его называли убийцей в присутствии жандармов, «не устрашались оскорблять». Кюхельбекер даже выдумал напраслину. Как будто мало было тех «преступлений», которые в самом деле совершил, и которыми мог гордиться Каховский. После очных ставок жандармская ласка казалась ему верхом человечности и великодушия. Генерал

Левашов сумел снять пенки с этой благодарности. Каховский рассказал все, что знал. Удар, нанесенный им в спину Рылееву, был для того решающим.

Но главная пружина всех разоблачений Каховского — не месть и не глубокое разочарование в прежних товарищах — но желание во что бы то ни стало, хотя бы собственной кровью, вписать в обвинительный приговор декабристов — Пестелевский, Тульчинский, революционный параграф о цареубийстве, которого так боялись декабристы севера. Каховский ни за что не хотел дать себя повесить из-за Рылеева или Бестужева, Оболенского или Трубецкого. Он твердил — с первого дня и до последнего, от первой очной ставки до последней — с первой страницы своих показаний до той, которая заканчивалась Кронверкским валом, — что и петлю, и смерть, и поругание принимает за свою политическую партию в целом, за революцию, за «отечество», пославшее его на цареубийство. Каховский не устрашился казни, но в ужасе отскакивал назад, когда вместо революционера, исполнившего волю своей партии, ему пробовали навязать звание ее агента, наймита, пособника.

Разочарование самого Каховского было полным. По дороге на виселицу он громко молился за царя. Но на спине всех повешенных, на доске, переброшенной им на спину, поверх савана, большими буквами было написано: «Цареубийца». С этой славной надписью и вошли они в историю русской революции.

1905 год. Пробный удар по Совету.

Е. Кривошеина.

I.

...Реакция приближалась быстрыми шагами... Она спешила уже затянуть петлю на шее рабочего. Контр-революция била верно и метко... Она не отступала от поставленной цели — удушения революции. Она спешила воспользоваться поражением пролетариата, чтобы занести новый удар над его головой. Пролетариат был сражен в двух битвах. Он был подавлен этим, обессилен собственной неудачей. Он не сможет оказать достаточного сопротивления в этот момент. Следовательно, сейчас его легче всего добить. Еще недавно, после октябрьской стачки казалось, что он всесилен, что он все может. И Совет был силен этой всемогущей силой пролетариата. И так думало сначала буржуазное общество, так думало правительство, и так думал сам рабочий класс. Но неудачи, понесенные в битвах, разрушили славу непобедимости пролетариата. Самодержавию стало ясно, что революцию нужно бить скорей, пока пролетариат еще не об'единен с крестьянством, пока он находится под психологическим прессом собственных неудач. Припертого к стене противника легче добивать, нанося удары один за другим. Благо буржуазия уже протянула руку царизму и взывала о необходимости порядка, требуя обуздания взбунтовавшегося врага.

И с первого взгляда кажется странным, почему самодержавное правительство дало возможность развернуть Совету свою деятельность в течение почти двух месяцев, — открыто на глазах у себя, в городе, где были сосредоточены все опоры царизма. Как могло оно позволить рабочим вести борьбу с собою и по существу проявлять, хотя и в зародышевой форме, функции второго правительства?

Но в действительности самодержавие прекрасно понимало, что до поры до времени придется потерпеть существование этой организации. Оно поставило себе прямой задачей воспользоваться передышкой, предоставленной ей пролетариатом, чтобы собраться с силами и перейти в наступление. Мелкими, но верными ударами, оно отвлекало пролетариат от основной цели — подготовки вооруженного восстания — путем отдельных стычек оно стремилось обессилить врага, побивая его порознь. После манифеста 17 октя-

бря оно то-и-дело заставляло Совет реагировать на тот или иной свой реакционный удар.

Отступление революции и в ноябрьской стачке, и в борьбе за 8-часовой рабочий день уже показали царизму, что головка революции — петербургский пролетариат — во многом обессилен. В последние дни ноябрьской стачки, когда она самопроизвольно ликвидировалась, в правительстве уже был поднят вопрос об аресте Совета.

Уже в пятницу, 4 ноября, был созван совет министров специально для всестороннего обсуждения вопроса о том, своевременно ли произвести арест Хрусталева и Совета РД. Правительство прекрасно учитывало, что, устраняя Совет, оно срезывало руководящую верхушку, в которой сосредоточивались нити борьбы. В заседание совета министров были приглашены специальные лица, хорошо осведомленные о положении и настроении рабочих масс.

При этом, как указывает докладная записка, «имелись многочисленные свидетели, что действительное настроение масс далеко не всегда соответствует тому, что им приписывалось в резолюциях и прессе». Но все-таки этот момент еще не был признан подходящим для нанесения пробного удара.

«Прямое и решительное выступление правительства против опьяненной еще прежним успехом массы представляло еще некоторую опасность. Немедленный арест организации при тогдашнем приподнятом настроении пролетарской массы мог, пожалуй, даже подвергнуть столицу ужасам Парижской Коммуны».

Так расценивал момент один из представителей самодержавия [1]). В действительности, приподнятого настроения уже не было в эти дни. Но пролетариат все-таки был уверен в своей силе и в частности в успешном проведении им и в окончании начатой уже борьбы за 8-часовой рабочий день.

И правительство не рискнуло еще сделать свой первый шаг по ликвидации зародыша революционного правительства.

Оно решило продолжать свою тактику мелкой борьбы, постепенно давая в небольших сражениях обессиливаться врагу. Отлив революционного настроения способствовал ему.

«Поэтому в интересах верного успеха», — было решено в этом заседании совета министров, — «ограничиться пока выжиданием упадка и разложения в настроении рабочих и избегать крутых мер воздействия, дабы не возбудить массу еще более и тем не создать искусственной поддержки ее настроения».

При этом высказывалось мнение в указанном заседании «осведомленными людьми», что «организация и успешная их деятельность являются только показателями настроения масс, а по мере обессиления последних и организация подвергается разрушению сама собою. Поэтому трудно согла-

---

[1]) А. Морской. «Исход российской революции 1905 г. и правительство Носаря». стр. 105.

ситься с утверждением, будто Совет РД и Союз Союзов могли по произволу поддерживать революцию».

На вопрос одного из членов совета министров, чем же об'яснить в таком случае такой обычный факт, что по приказу «этих именно организаций предпринимаются решительные действия, вроде забастовок», последовал ответ, что эти организации только суммируют и об'единяют разрозненные почины движения, «обусловливающие возбужденное состояние умов и революционное настроение самих рабочих масс».

Таким образом осведомленные лица из департамента полиция высказывали и подмечали совершенно правильное и характерное положение для революции 1905 года, а именно то, что организации отставали от стихийного роста движения и часто post factum шли за массой, повторяя ее требования, а не руководя движением полностью и не всегда направляя его согласно поставленной цели. Поэтому арест Совета, когда настроение еще было сравнительно бодрым, был признан несвоевременным в этот день 4 ноября.

«По этой причине, пока в массе царит еще бодрое настроение, сам арест тех или иных организаций, — указывалось на этом заседании совета министров, — вызовет еще более разгар движения, а выбывшие организации заменятся новыми».

Правительство вполне правильно учитывало положение, когда 4 ноября, в день самоликвидации ноябрьской стачки, уже поставило вопрос о возможности ареста Совета РД. То, что стачка прекращалась самопроизвольно, без постановления Совета и не достигнувши прямых результатов, для самодержавного правительства было очень показательным. Очевидно, силы революции не так велики, как показала их октябрьская стачка. Очевидно, настроение петербургского пролетариата уже стало понижаться, поскольку он уходил с поля сражения без победы.

Поэтому, учитывая момент, в этот же день был уже поставлен вопрос об аресте Совета.

Но настроение массы было признано еще достаточно бодрым. Оно не было еще совсем подавленным. И, приписывая настроению большое значение, члены совета министров решили еще подождать, пока начавшийся революционный отлив не потечет еще дальше вниз. Они были правы, когда придавали большую роль настроению масс. Оно, действительно, имело огромное значение в революции 1905 года, где стихийная классовая ненависть и чувство превалировало над сознательным политическим уровнем.

И правительство решило выждать, пока пролетариат продолжением борьбы за 8-часовой рабочий день вызовет сопротивление буржуазии и, не добившись победы будет еще более подавлен собственными неудачами. Таким образом хорошо осведомленные лица, приглашенные в совет министров, как указывает докладная записка, «решительное значение усвоили за настроением рабочей массы и по ходу тогдашних событий высказывали опасения, что преждевременность ареста Совета Депутатов вызовет прямо обратные успокоению результаты и даже укрепит дальнейшее движение; а т. к. на-

двигающиеся события давали возможность предугадать, что рабочее движение, будучи повернуто против промышленников и кровных их интересов, встретит отпор и неотвратимо станет падать от самой своей безрезультатности».

Невольно напрашивается для сравнения, высказанное нашим историком М. Н. Покровским, положение, что петербургский пролетариат был сражен собственными политическими неудачами, а не материальным истощением.

В итоге — на этом заседании рекомендовалось осведомленными лицами ограничиться пока выжиданием и терпеливо ждать, «пока не об'явятся неизбежные последствия необдуманных забастовок, в смысле окончательного поражения рабочего движения».

Расчет был вполне правильный.

И, подводя итоги прениям, развернувшимся в этом заседании совета министров, 4 ноября, С. Ю. Витте предложил решительные действия по отношению к совету отложить, впредь до окончательного выяснения «неминуемых последствий забастовки». С правильностью такого решения согласились все члены совета.

В принципе совет министров тогда же решил произвести арест Носаря и всего Совета РД, «но положил повременить с приведением этой меры в исполнение, пока не последует распоряжение о том гр. Витте».

Последующие события сыграли еще больше на руку царизму. Неудачи преследовали петербургский пролетариат. Одно поражение вело за собой другое. Рабочему классу перед тесным кольцом предпринимательского фронта пришлось уже отступить и еще раз констатировать свое бессилие.

И в заседании 12 — 13 ноября, отказываясь от борьбы за 8-часовой рабочий день, Совет подытожил уже это настроение. Характерно, что уже в эти дни среди членов правительства снова подымается вопрос, не своевременно ли начать ликвидацию Совета?

«Около 10 ноября, — как указывает один из современников, соприкасавшийся с правительственными сферами, — гр. Витте имел уже веские основания для уверенности в том, что арест Носаря и Совета Депутатов может состояться без кровопролития и не создаст для правительства затруднений. Поэтому были сделаны по министерству внутренних дел соответствующие распоряжения».

14 ноября было арестовано в Москве, на основании положения об усиленной охране, бюро Крестьянского Союза, и около того же времени, как свидетельствуют современники, в Царском Селе был решен и вопрос об аресте Совета.

По имеющимся у нас данным, около 10 ноября были сделаны по министерству внутренних дел распоряжения. Но окончательно решив произвести пробный удар, администрация все-таки медлила с выполнением этого постановления.

На процессе Совета одним из свидетелей Святловским (ред. «Сына Очечества») приводятся следующие любопытные сведения по этому вопросу:

«В своих показаниях Святловский ссылается на крупного фабриканта Белова, сообщившего ему, что приказ об аресте Хрусталева был подписан

в начале ноября, но благодаря Витте не приводился в исполнение. Тот же Белов сообщил о желании Витте легализировать СРД».

Любопытно, что в делах департамента полиции имеется одно анонимное письмо, адресованное председателю совета министров Витте, датированное 6 ноября, предлагавшее повременить с арестом Совета, так как этот факт может повести лишь к усилению революционного брожения [1]).

Письмо было написано на пишущей машинке и на основании шрифта департаментом полиции было установлено, что авторство этого письма и принадлежит фабриканту В. С. Белову, о чем и сообщалось Витте. Возможно, в связи с этим письмом Витте его вызывал и имел конфиденциальный разговор, о результатах которого и узнал Святловский от Белова.

Во всяком случае, уже в середине ноября по министерству внутренних дел было отдано распоряжение о ликвидации Совета.

Так, в делах департамента полиции имеется документ, указывающий, что 16 ноября управляющим министерством внутренних дел было отдано по особому отделу следующее распоряжение: «Необходимо приказом как можно скорей арестовать Хрусталева».

В тот же день, т.-е. 16 ноября, начальнику С.-Петербургского охранного отделения за № 14527 сообщалось:

«Господин управляющий министерством внутренних дел изволил признать необходимым как можно скорее арестовать известного вашему высокоблагородию — Хрусталева.

О таком приказании его высокопревосходительства, — добавлялось при этом, — департамент полиции сообщает вашему высокопревосходительству для зависящих распоряжений, прося о последующем безотлагательно уведомить».

Подписи: за вице-директора — *Пятницкий.*
за завед. отделом — *Н. Зайцев».*

Но было ли решено сразу арестовать Носаря и Совет в тот момент, или сначала пробным ударом — арестом председателя — произвести рекогносцировку, — нам не удалось выяснить. Во всяком случае, судя по разыгравшимся впоследствии событиям, арест Носаря должен был явиться первым шагом по ликвидации Совета.

И в эти же дни соответствующим образом департамент полиции и министерство внутренних дел решили предварительно обработать и подготовить общественное мнение. Возможно, поэтому, администрация медлила с выполнением распоряжения по министерству внутренних дел, предполагая первоначально подготовить почву и устной и письменной черносотенной агитацией. Очень любопытно, что в эти дни начинает повсюду распространяться огромное количество пасквильной литературы, направленной по адресу членов Совета, Исполнительного К-та и революции вообще. Все они преследовали одну цель — обработать общественное мнение против Совета. При этом

[1]) Дело департамента полиции № 6409/I т.—1905 г., дело Хрусталева-Носаря.

любопытно, — что задачи департамента полиции ставились очень широко и среди рабочих стремились особенно заронить сомнение в добросовестности членов Совета, пытаясь всяческими способами подорвать его авторитет.

Департамент полиции развернул весьма широкую деятельность.

Станок работал без перерыва, выпуская одно воззвание за другим, за различными подписями — «Группы рабочих Петербурга», «Союза Братства Великой России», или просто «истинно-русских людей».

Во второй половине ноября зашевелились и все правые черносотенные группы, приходя на помощь Дурново своей агитацией. Вначале они пытались печатать свою литературу легально, ссылаясь, якобы, на «свободу печати», но встретилось большое препятствие. Наборщики отказывались набирать их воззвания, или несли на разрешение в Исполнительный Комитет.

И целыми кипами рукописи этих воззваний приносились в Совет. Наборщики заявляли протест против принятия типографиями подобных заказов. Совету пришлось поставить на рассмотрение этот вопрос. И он оказался менее революционным, чем сами массы, и проникнутым еще меньшевистскими иллюзиями о свободе печати для всех. Он вынес постановление, что недопустимы к печатанию только анонимные клеветы и призывы к погрому. Что же касается изложения программ и программных статей монархического направления, то к их печатанию препятствий ставить не следует. Таким образом, это постановление давало возможность под видом изложения программ и статей, печатать самую черносотенную литературу, так как наборщикам часто трудно было разобраться в этих тонкостях. Но большинство из них, к счастью, оказалось революционнее Совета, они отказывались печатать всякую монархическую литературу, не входя в рассмотрение ее содержания. Или приносили в Исполнительный Комитет и жаловались, как вспоминает тов. Сверчков, что они не могут выполнять эту работу.

— С души воротит, как набираешь, — говорили они.

Исполнительный Комитет поручил тов. Сверчкову заняться цензурой этих черносотенных листков.

Ввиду этих препятствий, департамент полиции занялся печатанием этих произведений у себя на станке, распространяя эту литературу при помощи жандармов, сыщиков, городовых и других «преданных» лиц. Но часто на помощь ему приходили люди из «общества» вроде Бобрищева-Пушкина, гр. Мусиной-Пушкиной, Орлова-Давыдова, администрации фабрик и заводов.

В газетах в эти дни то-и-дело сообщалось о подвигах этой черносотенной агитации, подготовлявших и обрабатывающих соответствующим образом мнение рабочих.

«На вагоностроительном заводе (старом) Речкина, сообщает «Русская Газета», распространялась администрацией черносотенная брошюра, под заглавием: «Воззвание Совета Братства к народу Великой России». 5.000 экземпляров этой брошюры лежало в конторе завода. Рабочие конфисковали их и сожгли в кочегарке» [1]).

[1]) «Русская Газета» № 401 1905 г.

«Почти на всех табачных фабриках, а в особенности на фабриках Богданова и Шапшал, распространяются черносотенные воззвания под названием: «Свобода и порядок» и «Русское Знамя». Администрация фабрики Богданова открыто заявляет о своей принадлежности к черной сотне. Товарищи рабочие и работницы, вошедшие в профессиональный союз табачников, заявляют, что рабочие ясно видят, где правда и где ложь. Они знают, что черносотенцы, кроме погромов, позора и насилия, ничего не проповедуют, а поэтому напрасный труд, господа администраторы и прочие черносотенцы» [1]).

«Управляющий завода Паля через дворника, стоящего у фабричных казарм, раздает «Голос Правды». Успеха его пропаганда не имеет» [2]) и т. д., и т. п.

Соратники Дурново уже решили перейти к более сильному средству, от общей клеветы и лжи по поводу революции, к прямым обвинениям на Совет. Уже говорилось о «самодержавии» Совета, который, якобы, распоряжается всеми рабочими и вредит при этом всем их интересам, о недопустимом поведении членов Исполнительного Комитета, расхищающих рабочие средства, и т. д. [3]). Прокламация эта, подписанная «группа рабочих заводов и фабрик Петербурга» — была заказана графом Орловым-Давыдовым и гр. Мусиной-Пушкиной в типографии Тренке и Фюсно в количестве 100.000 экземпляров. Рабочими она была принесена на заседание Исполнительного Комитета 23 ноября с заявлением об отказе ее печатать. Характерно, как позднее мы убедимся из документов департамента полиции, последнее распоряжение об аресте Хрусталева датируется тоже 23 ноября. Обнаруживается, очевидно, стремление подготовить в эти три дня рабочее мнение к первому удару, нанесенному Совету 26 ноября, в виде ареста его председателя.

Исполнительный Комитет также постановил не печатать это воззвание, но так как оно содержало явную клевету на членов Совета, главным образом, персонально членов Исполнительного Комитета, то было решено, как свидетельствует Сверчков, в одной из с.-д. газет опубликовать его целиком, с должными комментариями, что и было сделано в «Новой Жизни». К тому же было решено бойкотировать все типографии, как владельцев, так и наборщиков, которые возьмутся печатать подобные вещи. Это постановление было доложено и администрации типографии Тренке и Фюсно, и, несмотря на то, что был уже готов стереотип, — она отказалась от печатания воззвания.

Кроме того, агитация шла и лично против Хрусталева. Решив произвести его арест отдельно, в виде пробного удара, департамент полиции спешил среди рабочих зародить сомнение и в его личности.

Так, за несколько дней до его ареста по заводам без подписи распространялись листки, что депутаты растратили деньги, собранные на безра-

[1]) «Русская Газета» № 403—1905 г.

[2]) См. подробно «Новая Жизнь» № 20 -1905 г.

[3]) «Наша Жизнь» № 343—1905 г.

ботных, что Хрусталев вовсе не Хрусталев и что хорошие, честные люди не скрывают своих фамилий, как это делает он [1]).

Но вся эта литература получала от рабочих отпор. Рабочие или рвали эти воззвания, или жгли их.

Так, например, в пятницу, 25 ноября, за Нарвской заставой раздавались воззвания черносотенцев. В субботу, 26 ноября (день ареста Хрусталева. *Е. К.)*, рабочие паровозно-механической мастерской (Путиловского завода), собравшись в два часа на митинг, вынесли по поводу черносотенных воззваний следующую резолюцию: «Первые воззвания черносотенцев, которые появились среди нас, мы разорвали и усеяли ими двор. На второе воззвание черносотенцев собраться и обсудить наши нужды, мы собираемся, но только не по их зову, а по зову нашего депутата и выражаем свое негодование по поводу их гнусного воззвания. Мы, рабочие паровозно-механической мастерской, всегда готовы вступить в бой по решению Совета РД с самодержавием, буржуазией и черносотенцами за демократическую республику под красным знаменем социал-демократии» [2]).

Аналогичные постановления выносились и на других заводах, или просто эта литература предавалась сожжению.

«Так на заводе Посселя (Вас. Остр.) раздавались бесплатно брошюрки «Свобода и порядок», воззвание Совета Братства «ко всему трудящемуся люду земли Русской»... Рабочие сразу оценили это произведение... Брошюрки в большом количестве были конфискованы рабочими у разносчика и преданы сожжению» [3]).

Несмотря на это, подготовка ликвидации революции и Совета уже делалась не только путем распространения соответствующей литературы, но и путем устных выступлений.

Незадолго до ареста Хрусталева и Совета Дурново снова были выпущены листки. В них уже не было полемики. Департамент полиции счел более выгодным сеять ложь и подрывать авторитет Совета определенными фактами. Все видные депутаты Совета перечислялись по фамилиям и при этом проставлялась сумма, кто сколько украл из денег, пожертвованных для безработных.

Подобные приемы полиции были не новы. Они часто употреблялись департаментом полиции и ранее 1905 года. Так, в докладе сенатора Кузьминского, ревизировавшего Баку, имеются любопытные и аналогичные строки:

«В том 1904 году, с целью внести раскол в ряды социал-демократов, агенты по распоряжению полковника Дремлюш (нач. местн. жанд. управления. *Е. К.*), распространяли заведомо-ложный слух о том, что сборщики социал-демократов присваивают себе полученные деньги и не передают

---

[1]) «Новая Жизнь» № 23—1905 г.

[2]) «Начало» № 13—1905 г. Об этой резолюции упоминает и т. Сверчков на процессе. См. процесс Совета Р. Д. с пред. Есперова, стр. 93.

[3]) «Начало» № 14—1905 г.

их комитету» (Письмо начальн. главн. управления от 30 марта 1904 г., № 41 [1]).

Таким образом, с целью ликвидации Совета, соответствующим образом обрабатывалось сознание рабочих. Мало того, незадолго до ареста Совета появились листки, призывающие всех рабочих собраться 3 декабря в 2 часа дня, чтобы «сбросить с себя иго Совета».

Впоследствии эта погромная и черносотенная литература, о которой говорил и Лопухин в своем докладе Столыпину, фигурировала и на процессе Совета. Жандармское отделение пыталось ее использовать против членов Совета. Имея эти прокламации, жандармское отделение пыталось изобразить на процессе членов Совета, как воров и мошенников. С этой целью были разосланы по всем фабрикам и заводам следующие вопросы, копия которых имеется в делах департамента полиции.

«В патриотических воззваниях, распространяемых по Петербургу в ноябре 1905 г., указывается, что депутат вашего завода (такой-то) украл (столько-то) рублей денег, собранных рабочими. Предлагается вам сообщить немедленно в жандармское управление все известные вам по этому обстоятельству подробности». Подпись генерал-майора Иванова, производившего дознание.

В деле имеются и ответы фабричной администрации на этот циркуляр. Во всех них указывалось, что депутат действительно работал на этом заводе, но нет никаких данных, ни даже слухов, которые говорили бы о присвоении им денег Совета.

В других ответах также указывалось, что подобных лиц никогда на заводе и не было.

Самодержавие настолько спешило обработать мнение для ликвидации Совета, что пускало все средства в ход. Обвинения были настолько несуразны, клевета была так ясна в них, что даже правительственное лицо отказалось принять их во внимание. На процессе Совета прокурор Бальц, отнюдь не сторонник деятельности Совета, уже прямо заявил о несостоятельности этой литературы.

«Сюда внесли материал, — указывал он в своей речи, — от которого обвинение старательно открещивалось. Меня вынудили говорить о растрате денег депутата. Я этого не включал в обвинение, так как я сам этому не верю и считаю ложью и клеветой» [2]).

II.

Как мы убедились, с середины ноября подготовка ликвидации Совета шла очень быстрым темпом. Но фактом, ее ускорившим, фактом, напомнившим правительству, что с Советом надо быстрее покончить, явилось следующее постановление Совета, вернее Исполнительного Комитета.

---

[1]) «Право» № 10—1906 г., стр. 926.

[2]) Процесс Совета — циг. изд., стр. 146.

23 ноября во всех петербургских газетах, не исключая и буржуазных, было напечатано:

«Исполнительный Комитет Совета Раб. Деп. в заседании 23 ноября признал необходимым, ввиду наступающего банкротства, чтобы рабочий класс и все бедные слои населения брали свои вклады из сберегательных касс и требовали всяких расплат, в том числе и получения заработной платы звонкой монетой» [1].

Как сообщает нам обвинительный акт, не только в заседании 22 ноября, но и 25-го этот вопрос снова обсуждался.

«После заседания Совета 19 ноября деятельность его выразилась в последующие дни заседаниями Исполнительного Комитета 22 и 25 ноября, в которых обсуждались способы для приведения государства к финансовому краху, для каковой цели было постановлено брать вклады из сберегательных касс, отказываться от получения уплат и в том числе заработной платы кредитными билетами и требовать во всех случаях платы звонкой монетой».

По данным Алексея Расторгуева на одном из заседаний, «Хрусталев об'явил решение Совета о том, что кредитные билеты должны обмениваться на золото и что в силу этого решения 10 тысяч советских денег обращены теперь на золото. Мотивировалось это решение тем, что в скором времени бумажные деньги потеряют всякую стоимость» [2].

На каком это было заседании, Расторгуев точно даты не помнит. Он оговаривается: «если не ошибаюсь, на том же заседании Хрусталев заявил о просьбе союза почтово-телеграфных служащих в ссуде им 2 тысяч рублей для продолжения забастовки», т.-е. 19 ноября. Но это неверно, постановление было вынесено 22 ноября.

В делах департамента полиции имеется также указание, что в заседании Исполнительного Комитета 25 ноября этот вопрос подвергался обсуждению.

Так, в докладе отделения по охране общественной безопасности и порядка в столице, направляемом управляющему министерством внутренних дел, полковник Герасимов пишет 26 ноября 1905 г. за № 21278:

«К концу заседания, — указывает он, — был поднят вопрос о финансовом положении России и каким образом использовать для цели революции недостаточность денежного рынка. Как более энергичным средством давления на биржу, банки и внешние денежные обязательства принято постановление — бойкотировать бумажные денежные знаки, принимая в уплату исключительно золото, о чем и оповестить все финансовые учреждения империи, пролетариат, служащих и непременно крестьян, для которых в этом направлении и издать манифест с самым широким и подробным раз'яснением причин, заставивших «Совет Рабочих Депутатов» прибегнуть к этой мере.

Для обсуждения манифеста была избрана комиссия под председательством помощника присяжного поверенного Носаря и члена известного

---

[1]) «Сын Отечества» № 237—1905 г.

[2]) Дело департамента полиции № 6409/I т., 1905 г.

революционера Бурцева, члена от фракции большинства соц.-демократов и вышеупомянутых двух крестьян.

Комиссия соберется завтра в 11 часов утра на Торговой улице, в д. № 25, кв. 61.

Об изложенном докладываю вашему высокопревосходительству.

Полковник Герасимов»[1]).

Как мы упоминали, аналогичная записка отделения общественной безопасности и порядка в столице была направлена заведующему политической частью департамента полиции Вуичу. На этот документ и ссылается обвинительный акт, приводя его содержание, когда упоминается о стремлениях Совета подорвать финансовое положение империи.

Но в газетной информации, приводящей отчеты заседания Исполнительного Комитета от 25 ноября, как это ни странно, об этом моменте не упоминается абсолютно ни слова.

Во всяком случае, этот шаг Совета с точки зрения правительства являлся уже вызовом. Можно сказать с уверенностью, что он заставил его закончить скорей затянувшийся процесс ликвидации Совета. «Правительственное сообщение» сейчас же признало, что это постановление Совета не осталось без влияния на вкладчиков сберегательных касс, что и выразилось усиленным требованием вкладов. Впоследствии, опубликовывая свой финансовый манифест 2 декабря, Совет продолжил эту же политику. Некоторое агитационное влияние она имела. За декабрь месяц выдачи из петербургских сберегательных касс превышали поступления на 4 слишком миллионов рублей золотом. По всей России это превышение взятия вкладов над внесением достигало уже 86 миллионов рублей. Конечно, вклады брались не только благодаря этому постановлению Совета от 22 ноября и манифесту. Дни были тревожные, дни были революционные, когда каждый мещанин не уверен был в сохранности своего накопления даже в правительственных хранилищах. Напротив, слухи о банкротстве самодержавия заставляли не доверять ему и лучше иметь деньги у себя в чулке. Но, без сомнения, это постановление Совета и манифест впоследствии сыграли свою агитационную роль.

Во всяком случае, это был, как указывает М. Н. Покровский, «едва ли не самый чувствительный удар, какой удалось петербургскому пролетариату нанести самодержавию после 17 октября». И само правительство должно было признать его некоторый результат. При другом положении это постановление Совета могло бы сыграть роль сильного и меткого удара, если бы революция переживала под'ем. Теперь же на тяжелом фоне падающего растроения петербургских рабочих, их сомнений в своей силе от понесенных неудач это могло быть истолковано лишь как бессильный, но красивый жест.

Но правительству он показался слишком дерзким и в то же время и не безвредным. Оно прекрасно понимало, что благодаря этому постановлению подрывается его авторитет, слухи о его банкротстве растут.

---

[1]) Дело департамента полиции. 4-е делопроизводство, «произведения нелегальной печати». № 14, ч. I, 1905 г.

И в ответ правительство поспешило закончить затянувшуюся ликвидацию. И первый пробный удар был направлен против Хрусталева. Характерно, что в тот же день 23 ноября, когда было помещено в газетах это об'явление Исполнительного Комитета, было сделано уже прямое распоряжение о привлечении Хрусталева к дознанию.

Так, начальник С.-Петербургского жандармского управления от 23 ноября 1905 г. за № 22717 писал директору департамента полиции:

«Имею честь препроводить при сем вашему превосходительству копию с постановления состоящего в моем распоряжении генерал-майора Иванова, о привлечении к дознанию, в порядке 1035 ст. Уст. угол. судопр., присяжного поверенного Георгия Степановича Носаря и о приводе его к дознанию в порядке, указанном 389 ст. Устава угол. суд.

Генерал-майор — подпись» [1]).

И арест Хрусталева должен был состояться именно 23 ноября. Еще 22 ноября генерал-майор Иванов, производивший дознание «по соглашению с товарищем прокурора окружного суда А. Т. Васильевым, — постановил:

«сделать привод обвиняемого присяжного поверенного Георгия Степановича Носаря в 11 ч. утра 23 сего ноября в С.-Петербургское губ. жандармское управление через С.-Петербургское охранное отделение, произведя у него перед сим обыск.

Генерал-майор Иванов».

Одновременно в делах департамента полиции имеется резолюция управляющего министерством внутренних дел об аресте Хрусталева и по другому поводу, не связанному с Советом.

В одном из документов особого отдела за № 37334 от 23 ноября приводится ведомость о происшествиях от 20 ноября 1905 г. В ней указывается, что 20 ноября в 5 час. дня было сделано приставу Нарвской части профессором Явейном сообщение, что в 7 час. вечера в здании В. Э. О-ва будет собрание электротехников. Потом оказалось, по заявлению проф. Явейна, произошла ошибка, и что в назначенный час будет собрание рабочих различных союзов, но так как большинство не имело повесток, то пристав заявил, что не допустит этого собрания.

«К 8 час. к зданию под'ехал Хрусталев, председатель Исполнительного Комитета Совета Рабочих, и начал уговаривать толпу не слушаться запрещения и вломиться в здание. Пристав на это заявил ему, что в здание толпу он не пропустит, при чем подвергся со стороны Хрусталева оскорблению на словах и Хрусталев заявил ему, что он подвергнет его бойкоту 200 тысяч рабочих.

[1]) Дело департамента полиции. 7 делопроизводство № 6409,1 т. 1905 г. о Георгие Носаре.

Ввиду возрастающей толпы был потребован наряд в составе одного взвода жандармов, казаков и конной стражи, которые и рассеяли толпу без особых насильственных мер. Никаких жалоб на поранение ни от кого не поступало. Хрусталев, войдя в помещение вместе с профессором Явейном, из форточки продолжал подстрекать толпу, которая при виде подходящей роты пехоты окончательно рассеялась... на Забалканском проспекте восстановилось нормальное движение.

С.-Петербургский градонач. ген.-майор Дедюлин» [1]).

На этом документе и была сделана следующая резолюция управляющего министерством внутренних дел:

«необходимо составить об обстоятельствах неудавшегося митинга подробный протокол и арестовать Явейна и Хрусталева по обвинению в подстрекательстве толпы к неповиновению».

И подполковник Тимофеев поспешил зафиксировать на этом отношении, что уже «доложено к исполнению».

Таким образом атака на Совет уже была вполне очевидной и решенной для всех, иначе бы и управляющий министерством внутренних дел не решился из-за этого пустяка отдать распоряжение об аресте Хурсталева.

Это было лишь одной из последних капель. Но фактически арест был произведен только через три дня, т.-е. 26 ноября.

25 ноября состоялось заседание Исполнительного Комитета о дальнейших мерах по подрыву финансового положения правительства, и 26 ноября Хрусталев был арестован.

Реакция чувствовала себя настолько укрепившейся, настолько грозной, что ей казалось совершенно непонятным, чего это правительство так церемонится с Советом.

Реакция уже требовала от власти установления военной диктатуры. Черносотенные «Московские Ведомости» 25 ноября уже жаловались на то, что власть решительно ничего не делает, чтобы рассчитаться с революцией.

«Общество не поддерживает власть, — писали они. — Но почему? Совершенно неестественно ожидать от общества вступления в эту борьбу с целью поддержания власти, в то время, когда эта власть решительно ничего не делает, когда все более и более крепнет убеждение, что бездействие это совершенно сознательное и зрело обдуманное».

И пробный удар правительства в виде ареста Хрусталева 26 ноября был уже встречен этими кругами, как проявление твердо взятого курса.

Совету был нанесен удар, который он сам ускорил.

III.

26 ноября в 12 часов дня, перед домом Лесгафта по Торговой улице, д. № 25, где помещался Союз рабочих печатного дела и Совет Рабочих Депутатов, была выстроена рота солдат, и двор был наполнен полицией

[1]) Дело департамента полиции № 6409 II т. 1905 г.

и войсками. Заняв все выходы и входы, полиция проникла в третий этаж, — помещение Сов. Раб. Деп., где и произвела тщательный обыск в присутствии жандармского полковника и прокурора. Последний об'явил арестованными председателя Сов. Раб. Деп. Хрусталева, В. М. Чернова, Фейта, Мазуренко и Воробьева [1]), находящихся в помещении Исполнительного Комитета.

Все арестованные под усиленным конвоем были направлены в жандармское управление. Прокуратура вместе с жандармскими властями производила до 5½ час. вечера обыск и дознание: как и когда и кому была сдана квартира,

В 5½ час. вечера жандармские власти с большим рвением приступили к обыску в союзе рабочих печатного дела. После обыска были арестованы председатель союза Киселевич и казначей Кингсен. Касса и бумаги Совета были все унесены.

Так был нанесен первый пробный удар.

В делах департамента полиции имеется и протокол этого обыска. Результаты его были совсем невелики по сравнению с ожиданием департамента полиции.

На другой же день, 27 ноября, начальник С.-Петербургского жандармского управления за № 22885 сообщал следующее в департамент полиции:

«26 ноября 1905 г. в доме № 25 по Торговой ул., в помещении Совета Раб. Деп., председателем которого состоит помощник присяжного поверенного Георгий Степанович Носарь, был произведен в порядке 1035 ст. Уст. угол. суд. обыск, по коему обнаружено: два пистолета системы «Браунинг», свыше 300 патронов к ним, палка со стилетом, бутылка с серною кислотой, три склянки с жидкостями, в том числе одна с азотной кислотой, металлический снаряд неизвестного назначения, снабженный проводом, и значительное количество рукописей и документов, относящихся к деятельности Совета РД и в части касающихся происходивших в последнее время забастовок» [2]).

Итак, председатель Совета Раб. Деп. Хрусталев был арестован. Почему он один, почему не Исполнительный Комитет и не весь Совет?

Как мы указывали, правительство этим шагом наносило пробный удар. Оно знало свою силу, но хотело знать и силу своего удара. Настроение массы было упавшим, подавленным, но самодержавие уверенно не могло еще сказать, не всколыхнется ли, не зажжется ли эта масса пламенем под'ема в ответ на этот вызов правительства.

Оно хотело сделать разведку, чтобы уже чувствовать себя прочным и уверенным в нанесении другого удара всему Совету. Правительство знало свою силу, но не было еще уверено в полнейшем бессилии противника и степени его пониженного настроения. И в этом нужно искать причину того, что арестован был Хрусталев первым, а не в бессилии правительства.

Но, сделав этот шаг, правительство очутилось в несколько затруднительном положении с юридической стороны. Оказалось, что, арестовав

---

[1]) Воробьев, сотрудник «Русской Газеты», был скоро освобожден, а также Чернов, Фейт и Мазуренко. См. «Сын Отечества», § 242, фельетон Чернова «Полицейский юмор».

[2]) Дело департамента полиции № 6409/I т., 1905 г.

Хрусталева, правительство не сможет подвести юридический фундамент под этот арест.

«В связи с этим, — сообщала по поводу ареста Хрусталева, «Наша Жизнь», — в высших сферах идет весьма усиленный обмен мыслей»[1]).

29 ноября происходило по этому вопросу совещание в Царском Селе. Эти заседания происходили в эти дни уже ежедневно, при чем деятельное участие в нем принимали Стишинский, Победоносцев, Трепов, Штюрмер, Путятин, Игнатьев.

Из представителей кабинета деятельное участие в этих заседаниях принимал Дурново.

И, «несмотря на то, что большинство участников отнюдь не расположено в пользу Хрусталева, вопрос о дальнейших репрессиях, как по отношению к нему, так и ко всему рабочему Совету, в заседании 29 ноября остался открытым».

Дело в том, что одним из членов правительства было внесено некоторое смущение в его среду. Министром юстиции С. С. Манухиным было сделано конфиденциальное сообщение относительно состоявшегося ареста Хрусталева и предполагаемого ареста Совета.

Эта записка представляет любопытный документ той эпохи, который поставил даже несколько втупик и собравшихся в Царском Селе. В этой записке, подробно разбирая «дело Хрусталева», министр юстиции приходил к выводу, что «ни к аресту Хрусталева, ни к дальнейшему его задержанию нет достаточных оснований».

Таким образом оказалось, что, сделав пробный налет, чтобы за ним нанести еще более крепкий удар, правительство оказалось в не совсем ловком положении. Сам министр юстиции указывал, что, собственно, не за что было арестовывать Хрусталева, и теперь — Совет. При этом он мотивировал следующими соображениями:

«привлечь Хрусталева к ответственности за участие в тайном сообщничестве не представляется возможным, ввиду того, что Совет Раб. Деп., председателем которого состоял Носарь, отнюдь никак не может быть отнесен к числу тайных сообществ. Напротив, его деятельность протекала у всех на глазах, начиная с правительства и кончая рабочей массой. Он действовал вполне открыто, как указывала докладная записка, анонсировал о своих заседаниях, печатал о них отчеты и даже имел переговоры с администрацией по поводу них...»

Правда, в этой записке министр юстиции признавал, что деятельность Совета Раб. Деп. и в частности его председателя была направлена «к ниспровержению существующего строя». Но и на этом факте оказалось трудным построить обвинение.

Дело в том, как указывал министр юстиции, что деятельность Совета Раб. Деп. с самого начала обнаружилась во всем своем действительном виде. Совет ничего не скрывал. Поэтому с первых же дней его существования

---

[1]) «Наша Жизнь» № 348 — 1905 г.

правительство и администрация были прекрасно осведомлены о нем, и при этом не только по собственным сведениям и через своих агентов, но и через печать.

«То обстоятельство, — указывала записка, — что ни правительство, ни администрация не предприняли никаких мер к пресечению деятельности, направленной к ниспровержению существующего строя, и даже часто командировали к месту заседаний Совета Раб. Деп. патруль для охранения порядка, что даже петербургский градоначальник принимал Хрусталева, зная, кто он и в качестве кого он является,—все это дает полное основание всем участникам СРД, в том числе и Хрусталеву, считать свою деятельность отнюдь не противоречащей тому курсу, который господствует в правительственных сферах, и, стало быть, не противоречащей существующим узаконениям.

«Это обстоятельство тем более приобретает значение, — добавляет записка, — что ни в самый момент ареста Хрусталева, ни в предшествующие моменты в деятельности СРД нельзя усмотреть никаких данных к тому, чтобы СРД сделал крупный поворот в смысле усугубления деятельности в противозаконную сторону. Направление деятельности СРД все время носит вполне определенный и последовательный характер».

«Если же, — упоминается в записке, — Хрусталев и СРД не могут оправдываться незнанием законов, то, тем менее, к этой оговорке может прибегнуть правительство и администрация, а в частности градоначальник, принимавший лично или через своих подчиненных председателя СРД Хрусталева-Носаря».

А так как правительство стремилось прицепиться хотя бы к тому, что Хрусталев-Носарь носил чужую фамилию, то, по мнению министра, и в этом нет возможности усмотреть преступное деяние, «ибо, во-первых — нет официальных документов-обязательств, на которых он подписывался бы вымышленной фамилией, и во-вторых — потому, что еще до ареста он огласил в печати свою фамилию».

Записка эта, строго секретная, произвела очень большое смущение в Царском Селе. Не унывает лишь один Дурново, как писала «Наша Жизнь» Он настаивал уже на самых твердых мерах как в отношении дальнейшего задержания Хрусталева, так и на скорейшем аресте Совета. При этом одновременно уже составлялся обвинительный акт, «который ведется в совсем ином духе», но который окажется более пригодным, чем министерская записка, когда нужно будет сфабриковать процесс.

При этом распространялись слухи, что Манухину предлагалось скорей взять эту записку обратно, как «частный документ», чтобы не вышло для него некоторых неприятностей «по службе». Слишком уж она оказалась невпопад с общим принятым правительственным курсом.

Возможно, 8-дневный промежуток между арестом Хрусталева (26 ноября) и арестом Совета (3 декабря) и об'ясняется тем, что правительство было занято этим вопросом. Но с нашей точки зрения для укреплявшегося курса реакции совсем не нужны были эти юридические тонкости. Дур-

ново был по-своему прав. По свидетельству современников, соприкасающихся с правительственной верхушкой, министерство внутренних дел просто опасалось, что неосторожным арестом одних членов Совета Раб. Деп. оно может упустить из рук остальных. Так как с заседания 27 ноября, т.-е. на другой день ареста Хрусталева, и по 3 декабря пленум Совета ни разу не собирался, то «произошло некоторое замедление, дабы произвести арест всех депутатов сразу».

Это толкование является, конечно, вполне правильным. Поскольку пробный удар оказался удачным, постольку у правительства уже не стало никакого сомнения в необходимости второго, который будет также меток.

Вопрос шел только о выборе момента, чтобы сделать его более чувствительным и верным. То, что момент был вполне подходящим и что первый удар был весьма ловким, и заряд его не пропал, об этом уже свидетельствовала правительству тишина рабочих кварталов, ненарушившаяся в первые и последующие дни ареста Хрусталева. В слабом реагировании массы, а следовательно, и самого Совета на этот пробный удар правительство нашло подкрепление, чтобы 3 декабря произвести уже окончательный удар...

Научные достижения в борьбе с туберкулезом.

Проф. О. И. Бронштейн.

Прежде всего необходимо договориться, о чем будет итти речь в этой статье?

Необходимо потому, что ясно слышатся досадливые реплики читателя: «опять туберкулез!? снова «не плюйте, не кашляйте, не целуйте детей, не живите в тесноте, не утомляйтесь и пр. и т. п.». Это уже достаточно намозолило глаза со стенных плакатов и всеми наизусть заучено!».

Вот поэтому-то мы считаем важным с самого начала ясно определить свою тему, выкинуть, так сказать, свой флаг.

Мы намерены познакомить читателя с теми методами борьбы против страшного недуга, которые доселе почему-то редко выходят за пределы специальных кругов — лабораторий, больниц, институтов. Все же, что относится к борьбе так называемой общественной, мы намеренно оставим в стороне на сей раз. Соответствующая литература, общая и специальная, весьма обширна и доступна, да, кроме того, и в самом деле, где только и кто только об этой стороне вопроса ни твердит в наше время: масса лекций, бесед в диспансерах, туб'ячейках, на производствах и пр. И, нужно признать, достигнуто в этом направлении очень многое — идея правильного гигиенического образа жизни, как могучего противотуберкулезного орудия, пустила уже глубокие корни в толщу народного сознания у нас.

Ну, а если поставить вопрос несколько иначе, если спросить любого «тубпросвещенного» гражданина: как современная наука смотрит на сущность туберкулезного процесса? Какими способами располагает она для распознавания ранних проявлений этой болезни и скрытых ее очагов? Существуют ли способы специфического лечения и предупреждения всевозможных разновидностей туберкулеза или же, действительно, только радикальное переустройство всех основ современного быта и житейского уклада обещает нам если не исчезновение, то хотя бы значительное ослабление этой «народной» болезни? Неужели блестящие успехи медицины теоретической и практической в области борьбы с прочими заразными болезнями так-таки нисколько не отразились на борьбе с туберкулезом? Таких вопросов еще не мало рождается из самого существа дела, и нужно сознаться, что сведения

подобного рода действительно мало популяризируются до сих пор. Происходит это главным образом потому, что чисто-научные вопросы лишь с трудом поддаются популяризированию вообще. Но, кроме того, еще далеко не все в этой области выяснено, очень многие из поставленных нами вопросов находятся в стадии разработки, не вышли (как принято выражаться) из рамок лабораторного эксперимента. Но от этого они делаются не менее интересными, а пожалуй, наооборот: стоя в центре напряженного внимания со стороны ученых, они представляют тем больше интереса для любознательного человека вообще. И мы уже видели, что интерес к вопросам туберкулеза возбужден самим существом дела и поддерживается на высоте всею тактикой общественной борьбы с туберкулезом.

Среди публики весьма распространен такой взгляд: врач, особенно специалист по туберкулезу, всегда и у всякого находит туберкулез. А затем уже, смотря по обстоятельствам, кто верит этому, а кто не считается с таким огульным вердиктом.

По существу, однако, публика не ошибается: совершенно определенно и точно наукой установлено, что «все мы более или менее туберкулезны»— по выражению известного ученого покойного Беринга. Но именно «более или менее», т.-е. заражены туберкулезным бациллом решительно все, но у одних он приобретает течение более тяжелое, у других протекает значительно легче; третьи, наконец, за всю свою жизнь не обнаруживают никаких проявлений болезни, и лишь случайно, иногда только на вскрытии, или еще при каком-либо особом приеме распознавания при жизни оказывается, что у данного суб'екта имеется в организме туберкулезный очаг.

Последнее ярко подтверждается цифрами. Особенно часто цитируются всюду данные патолого-анатома Негели, который у 98,7 процента всех трупов находил туберкулезные поражения, иногда в виде давно зажившего фокуса в легких, железах и т. п. Поэтому пришлось построить особую схему, уясняющую нам путь заражения туберкулезом и ход процесса в организме и предусматривающую всевозможные варианты в смысле разного местонахождения и различного течения болезни. По этой стройной схеме признается, что, во-первых, рождается человек на свет совершенно свободным от заразы; другими словами, что так называемой наследственной передачи туберкулеза не существует. В этом, правда, не все еще согласны. Есть крупные авторитеты в области фтизиологии [1]), которые утверждают, что врожденный туберкулез существует, что возможен переход самой туберкулезной палочки из тела матери (отец тут вряд ли может играть какую-либо роль) в тело плода путем кровеносных сосудов. Но если даже в отдельных исключительных случаях подобный факт и происходит, то плод либо гибнет в утробе матери, либо вскоре после рождения на свет, почему придавать значение такой наследственности не приходится. Другие выдвигают большую важность общей слабости организма, уже несомненно унаследованной от туберкулезных родителей, а это, в свою очередь, предрасполагает суб'екта к неизбежному в даль-

¹) Так называется на научном жаргоне «туберкулезоведение».

нейшей жизни заболеванию туберкулезом. За последние годы у французов довольно в широких размерах проводят принцип отделения новорожденных от заведомо туберкулезных матерей немедленно после родоразрешения и с тем, чтобы в первые годы жизни ребята эти воспитывались в условиях, исключающих всякую возможность заражения извне. Оказалось, что эта мера если не абсолютно предохраняет от туберкулеза в будущем (ведь никак не насыпешь туб-бациллу соли на хвост — проберется в любую щелку), то зато ясно показывает, что рождаются дети без признаков болезни. Мало того, случались своеобразные промашки в этом деле: напр., новорожденному дали сердобольные няни два-три раза повидаться с матерью не более, чем по 5 минут — и поцелуи несчастной чахоточной не замедлили заразить дитя, которое вскоре и погибло. Можно расценивать эти «опыты» как угодно, с общественной точки зрения, но нельзя отнять у них доказательности в указанном смысле.

Итак, рождается человек без бацилл Коха в организме—это первое. Но уже тотчас после рождения заражение делается возможным, скорее, даже обязательным — это второе. В самом деле, туберкулезные палочки, подобно прочим болезнетворным микробам, рассеяны повсюду в окружающей ребенка среде. Больные родители, родные, близкие во всех смыслах против воли и желания выделяют заразу во вне и наделяют ею восприимчивый организм младенца — ведь нельзя же всех удалить тотчас после появления на свет, да и не есть ли это мера наиболее антиобщественная? да и куда удалять-то? Разве мыслимо всюду создать такую асептическую (безмикробную) обстановку, чтобы ни с с'естными припасами (особенно с молочными продуктами от туберкулезных животных), ни с предметами, ни с пылью, наконец, не проникли эти зловредные бациллы?! Ну, и проникают и заражаются ребята поголовно все — вот откуда эти почти 100% на вскрытиях. Но зараженные имеют разную судьбу в зависимости от многих условий. Проникновение в слабый организм большого количества ядовитых туберкулезных бацилл через дыхательный или пищеварительный тракт губит младенца в первые месяцы жизни — до года. Если же он выживает, хотя и зараженный (справляется с небольшой дозой мало ядовитых палочек и т. п.), то инфекция остается в том или ином месте тела в состоянии изолированном, т.-е. Коховские палочки в этих очагах хотя и живы, но до поры до времени почти безвредны для организма — носителя заразы. Этот период дремлющей, скрытой (латентной) туберкулезной инфекции может длиться довольно долго — годами. При этом бациллы, находясь большею частью в лимфатических железах (бронхиальных, забрюшинных и др.), все же время от времени кое-чем себя проявляют: дают отравление туберкулезными ядами, чтó сопровождается лихорадочными под'емами температуры, могут переходить на другие железы и т. п. Большею частью в юношеском возрасте, под влиянием того или иного толчка со стороны внешних воздействий или внутренних непорядков в ослабленном усиленным ростом организме, происходит своего рода прорыв блокады: бациллы попадают в ток лимфообращения, с лимфою — в кровеносное русло и таким образом разносятся по всему организму. Это—период так назы-

ваемой генерализации туберкулеза. Он и сам по себе грозит больному (теперь уж это в настоящем смысле больной, а не только носитель скрытой инфекции) опасностью гибели при картине так называемой острой просовидной бугорчатки или же несколько более затяжного, но все же смертельного поражения какого-либо из важных органов. Однако и этот период генерализации может закончиться сравнительно счастливо, т.-е. организм не умрет, но бациллы, диссеминировавшись в нем, обсеменять какой-нибудь орган (чаще всего это бывают легкие), и вот отсюда новая фаза так называемой изолированной чахотки со своими законами течения то острого, то хронического, со вспышками при захвате новых участков, с периодами затишья иногда на долгие годы, с возможностью исхода в полное выздоровление (путем рубцевания повреждений), перехода в состояние своего рода подвижного равновесия, а то и смерти, когда в неравной борьбе микроб одолеет.

Нужно сказать, что такое деление туберкулезного заболевания на периоды, а равно и вся концепция о внедрении заразы в раннем детстве, не всеми учеными-фтизиологами принимаются именно в изложенном нами упрощенном виде. Многие смотрят на дело несколько иначе; однако разногласия касаются лишь деталей. В главном все согласны: рано или поздно каждый человек оказывается носителем туберкулезной инфекции, и центр тяжести вопроса только в так называемом состоянии равновесия, иммунобиологическом состоянии организма.

Исходя из этого, серьезное внимание уже издавна было устремлено на раннюю диагностику туберкулеза и на точное определение этого именно иммунобиологического состояния.

Научные достижения в этой области весьма велики, и для удобства рассмотрения, мы их разделим на две половины: одна касается способов констатирования Коховского бацилла, вторая занимается самим зараженным организмом.

Всякому ясно, что самый верный способ распознавания болезни (заразной, разумеется), — это поймать микроб, если так можно выразиться, на месте преступления. Нашли в испражнениях больного холерную запятую, брюшно-тифозную палочку, дизентерийный бацилл и т. п. — стало быть, у него холера, тиф, дизентерия... Увидим под микроскопом в налете из зева дифтерийные бациллы, в отделяемом язвы бледную спирохету — диагноз дифтерии, сифилиса и т. д. поставлен точно, быстро и раньше, чем появятся какие-либо другие признаки болезни. Правда, это мы опять-таки передаем несколько более упрощенно и догматичнее, нежели оно обстоит на самом деле. На деле же бывает так, что найти болезнетворного возбудителя (того или иного) еще вовсе не значит иногда поставить диагноз болезни: мы знаем, что имеются и здоровые «микробоносители»; другими словами, человек совершенно здоров в настоящее время (но он мог быть болен ранее, или вот-вот заболеет впоследствии, или же имеет часто дело с данными больными и пр. и пр.), а у него во рту дифтерийные палочки, в кишках—тифозные и т. д. Это, однако, ограничивается, во-первых, определенной весьма небольшой группой заболеваний, а во-вторых, поддается точному учету с точки зрения

лабораторной методики. Главное же в том, что туберкулеза это вовсе не касается, о чем ниже. Какие же способы применяются для констатирования туберкулезного микроба? Один из наиболее употребительных это — отыскание палочки под микроскопом во всякого рода выделениях и отделениях больного (или только «подозрительного по туберкулезу») человека: мокрота, гной из язв, моча, испражнения, изредка кровь — вот материал для такого рода исследований. В подавляющем большинстве приходится иметь дело с мокротой, ибо легочный (и вообще дыхательный) туберкулез — это самая частая локализация этой болезни. Мы не станем здесь, по понятным причинам, останавливаться на технической стороне вопроса, но сущность дела понять легко: на стекло выбираются гнойные «подозрительные» комочки из мокроты, размазываются, высушиваются; стекло подвергается обработке особыми красками и реактивами и рассматривается под сильным увеличением микроскопа. Имеющиеся там туберкулезные бациллы явственно заметны в виде тонких красных волосков, которые более или менее опытный глаз ни с чем другим не смешает. Диагноз туберкулеза ставится таким образом быстро, точно и легко, но особенно важно то, что зачастую раньше, чем многими иными способами. Тут приходится еще считаться с разными затруднениями технического свойства, опять-таки в данном случае для нас не важными, но в общем принято, что нахождение в мокроте (или другом каком-либо материале) туберкулезных бацилл, хотя бы в единичных экземплярах, говорит с несомненностью за наличие туберкулезного процесса. Бывает, однако, и туберкулез, так называемый «закрытый», преимущественно в легких: это, вернее, такой ранний стадий болезни, когда находящиеся внутри очага бациллы еще не нашли себе выхода наружу. Бывает также, что в течении даже открытого туберкулеза легких туберкулезные палочки выделяются мокротой не во всякое время, и количество их может колебаться от колоссального до весьма ничтожного, а с выздоровлением они и вовсе исчезают. Понятно отсюда, что лабораторный способ нахождения их играет большую роль для врача и больного, и обращение в лабораторию за анализом мокроты и др. материала стало таким же обычным у нас приемом, как в аптеку за лекарством.

Весьма возможны здесь, как и при других болезнях, такие случаи, что человек наверняка чахоточный и мокроту гнойную отделяет в большом количестве, а лаборатория у него туберкулезных палочек не находит. Причин этому может быть не мало. Во-первых, количество бацилл в мокроте должно измеряться десятками тысяч в 1 кубическом сантиметре мокроты, чтобы исследователь мог найти их по одной в нескольких полях зрения микроскопа. Во-вторых, многое зависит от технических приемов (имеется множество способов окраски, выделения, осаждения бацилл — один другого чувствительнее и сложнее), подготовки и опытности исследователя и т. д. Кроме того, играет немаловажную роль и состояние самого больного, фаза его болезни, присоединение к туберкулезу других инфекций — словом, обстоятельства, лежащие вне области лабораторной компетенции. Мы приводим все эти соображения не с тою целью, чтобы непременно поставить лабораторную сторону

в деле диагностики туберкулеза на почву какой-то непогрешимости. Наоборот, возможны даже и прямые ошибки бактериологов (кто же абсолютно свободен от ошибок?!), но мы хотим здесь об'яснить те источники разногласий между лабораторией и клиникой, которые так нередки в практической жизни.

Зато как велики услуги со стороны лаборатории, открывающей туберкулезные бациллы там, где врач это только смутно предполагает, а то и вовсе не подозревает. Особенно это относится к заболеваниям почек, кишек, мозговых оболочек и пр., где своевременное обнаружение Коховских бацилл в моче, испражнениях, жидкости от так называемого поясничного прокола спинно-мозгового канала — зачастую впервые открывает врачу глаза на сущность болезненного процесса, позволяет своевременно применить то или иное решительное средство (оперативное вмешательство, например) и таким образом спасает жизнь больному.

Мы здесь не имеем возможности, да и не считаем нужным входить в самую сущность вопроса о лабораторной диагностике туберкулез. Скажем лишь еще только, что обширный арсенал бактериологической методики разработан в этой области до чрезвычайности тонко: тут и микроскопическое исследование (и огромная масса искусных приемов, о чем уже упоминалось), и получение разводок живых бацилл, и заражение лабораторных животных (большей частью морских свинок), и особые так называемые серологические реакции и мн. др. Добавим в заключение, что лаборант приходит на помощь врачу-клиницисту еще и в другом отношении, так сказать—от обратного: он исключает туберкулез нахождением других микробов, дающих иной раз до неузнаваемости сходную картину болезни. Так, больного считают чахоточным, а в мокроте у него находят возбудителя лучисто-грибковой болезни (так называемого актиномикоза) или какой-либо плесневой гриб, или спирохету сифилиса и т. п.

Однако не только с одним констатированием специфического возбудителя в тех или иных выделениях больного организма приходится иметь дело лаборанту, желающему заняться распознаванием туберкулеза. Очень много можно извлечь для той же цели, обращаясь за содействием к самому больному организму. В этом направлении как раз ведется усиленная работа в течение последних лет, и научные достижения уже весьма серьезны.

Придется здесь сделать небольшое отступление.

Болезнь — борьба организма с вредным началом, в нашем случае — с микробом. В этой борьбе, как и во всякой иной, обе стороны пускают в ход все свойственные им приемы. Микроб действует своей неудержимой энергией размножения, своими ядовитыми токсинами. Организм — своими клеточками, подвижными и неподвижными (они действуют на микробы захватывающим и растворяющим образом), своими жидкостями, главным образом кровяной сывороткой (она тоже может содержать в себе вещества, растворяющие микробы, склеивающие их и т. п.). В процессе этой борьбы перевес может быть то на одной, то на другой стороне, и в зависимости от этого мы можем наблюдать накопление в теле больного (преимущественно опять-таки в кро-

вяной его сыворотке) то продуктов распада, то веществ типа так называемых антител, относящихся к защитительным приспособлениям организма в борьбе с инфекцией.

При любой заразной болезни мы довольно давно уже научились пользоваться подобными изменениями, происходящими в зараженном организме, с целью распознавания. Так, берут кровь у больного при подозрении на разные тифы (брюшной, сыпной, паратифозные заболевания), на сифилис и т. д., и, проделав весьма сложные так называемые серологические реакции, делают определенные выводы диагностического и даже прогностического и терапевтического характера: Что за болезнь? Как пойдет? Чем лечить?

Но если недавнее и кратковременное соприкосновение между собою человеческого организма и микроба, как это бывает при острых инфекциях, уже влечет за собою ряд упомянутых изменений в состоянии первого (что немцы удачно прозвали «перестройкой» его), то тем паче должно ожидать этого при туберкулезе. Ведь здесь «соприкосновение» длится годами, десятками лет. Таким образом диагностический подход производится здесь, если так можно выразиться, обходным движением: уже не микроорганизм мы хотим изловить на месте преступления, а улавливаем те следы, которые преступник оставил на этом самом месте. Очень удачно французский ученый Кальметт, несколько, правда, по иному поводу, выразился так: «туберкулезная палочка оставляет визитную карточку» в зараженном организме.

Мы видели только-что, что дело несколько сложнее обстоит, что это не только «карточка» самого бацилла, но еще и продукты реакции со стороны больного организма, но в общем формула Кальметта многое нам уясняет.

Итак, где же эту визитную карточку искать и как ее искать? В подобных случаях принято обращаться к крови — этому «соку особого рода», по выражению Гётевского Мефистофеля. И действительно, на крови — т.-е. на отдельных ее составных частях — отражаются всяческие изменения в состоянии организма, всякие отклонения от нормы в ту и другую сторону.

В смысле патологическом кровь отвечает немедленно на вторжение в тело болезнетворной причины или на происшедшие внутри его нарушения. Но и в смысле благоприятном—при излечении, выработке иммунитета и т. д.— опять-таки в крови можно констатировать соответствующие вещества, свойства и т. п. Вот почему исследование крови во всевозможных направлениях и самыми разнобразными способами сделалось за последние 2—3 десятилетия самым необходимым орудием медицинской диагностики. Создалась даже специальная и весьма уже разработанная наука — гематология.

Прежде всего, мы путем микроскопического исследования и некоторых простых физикохимических приемов (сосчитывание красных и белых кровяных телец, определение процентного содержания красящего вещества крови так называемого гемоглобина и пр.) ориентируемся относительно состояния форменных элементов крови. Для туберкулеза это еще не содержит в себе ничего специфического: определяется лишь бо̀льшая или меньшая степень

малокровия. Но, во-первых, и это играет не маловажную роль для врача при суждении о степени разрушения, приобретенного в организме туберкулезным процессом. А, во-вторых, существуют даже и здесь кое-какие тонкие признаки, по которым сведущий фтизиолог сразу заподозревает наличие у больного специфического процесса и даже может делать некоторые выводы характера прогностического, т.-е. предсказывать будущее. К таким признакам относится особого рода перегруппировка отдельных категорий белых кровяных телец или лейкоцитов, а именно то, что называется «сдвигом влево» — преобладание одноядерных шариков (лимфоцитов) и молодых форм многоядерных (нейтрофилов) над прочими. И не одно это может прочесть глаз опытного гематолога на микроскопическом препарате крови туберкулезного (или подозрительного по туберкулезу) больного. За последние 2—3 года стали усиленно производить особое испытание крови на скорость осаждения красных кровяных шариков. Дознано, что в крови, взятой из локтевой вены в ничтожном количестве с примесью особой соли, задерживающей свертывание крови, шарики оседают вниз с неодинаковой быстротою: у здорового медленнее, у больного (чем бы то ни было) ускореннее. И вот как раз туберкулезные больные обнаруживают такое ускорение, особенно при некоторых осложнениях процесса. Сейчас во всех научно-поставленных больничных учреждениях каждому больному проделывают эту пробу с осаждением крови и получают весьма ценные результаты. С помощью этого способа можно следить за всеми изменениями в ходе процесса, за действием лечебных средств и пр. — подобно тому, как измерение температуры указывает нам на всякие пертурбации в организме больного.

Но еще больше значения, чем клеточные элементы крови, имеет сыворотка ее. Вот это подлинно — сок особого рода: здесь, как в коллекторе, собираются все отбросы больного организма (в смысле биологическом, конечно); здесь же скопляются и продукты иммунитета — антитела; сюда же проникают и микробные яды из самых глубоких и самых поверхностных болезненных очагов. Чрезвычайно сложный и разнообразный состав жидкой части крови (сыворотки) изучается такими же сложными и разнообразными методами химическими, физическими и биологическими. И те, и другие, и третьи дали уже крайне существенные результаты, в частности, и при туберкулезе. Начнем с последних. Многим из читателей известно, что для распознавания некоторых заразных болезней, как острых (брюшной тиф, сыпняк, дизентерия и др.), так и хронических (сифилис), прибегают к биологическим реакциям Видаля, Вассермана и т. п. Для этого с сывороткой крови суб'екта проделывают довольно сложные реакции, смешивая ее то с разными веществами, то с живыми бактериями или с их продуктами. Таким образом точно и быстро ставится диагноз, определяется степень сопротивляемости зараженного организма и т. д. Что из этой «серологической» методики приложимо к туберкулезу? Едва ли не все. Подобно тому, как при тифах, при туберкулезе ищут в сыворотке веществ, склеивающих в кучи Коховские бациллы. Их находят, правда, с трудом вследствие чисто технических обстоятельств, но все же эта так называемая сывороточная реакция агглютина-

ции приложима и к распознаванию туберкулеза. Но гораздо чувствительнее и точнее реакция так называемого отклонения комплемента. Это та же Вассермановская реакция, что и при сифилисе. Строго говоря, покойный Вассерман именно при туберкулезе-то ее и разработал впервые, но потом и сам ушел и других за собою увлек в сторону серодиагностики луэса, оставив туберкулез, так сказать, на после. И в самом деле, возвратился он к вопросу о туберкулезе уже спустя чуть не около 20 лет. За этот промежуток времени особенно усердно занимался этим вопросом русский ученый проф. Безредка, работающий издавна в Парижском институте Пастера, сперва как ученик и сотрудник Мечникова, а по смерти этого великого русского ученого — в качестве продолжателя его работ. Сывороточная реакция по Безредке в наше время вошла в повседневный обиход всех научно-поставленных учреждений. Вассерман своими последними работами еще более уточнил и утоньшил этот метод исследования. Словом, в настоящее время наука располагает весьма разработанными способами, с помощью которых можно по сыворотке данного суб'екта не только определить, болен ли он туберкулезом, но и еще более важный вопрос решить о том, в какой стадии у него туберкулезный процесс, активная ли (т.-е. прогрессирующая) это форма, или компенсированная (т.-е. такая, с которой организм успешно справляется) и т. д. Вследствие значительной сложности и некоторых недочетов этой Вассерман-Безредковской реакции, стремления исследовать этот вопрос иными путями не прекращаются и по сей день. Существует довольно много (более десятка) различных химических реакций, определяющих в сыворотке и цельной крови больного наличие и количественные колебания разных составных частей коллоидных групп. Таковы наиболее распространенные реакции Матэфи, Дарáньи, Закс-Клопштока и др. Они все весьма просты, требуют очень мало крови (что немаловажно для больных) и недорогих реактивов. Кроме того, намечается подход к той же цели чисто физический. Определение вязкости, свертываемости, степени щелочности, рефрактометрия и мн. др. должны раскрыть совершенно новые горизонты в области изучения туберкулеза, подходя, таким образом, к туберкулезному больному во всеоружии современных научных знаний и современного лабораторного арсенала, при чем изучению подвергается не столько сам больной, сколько его соки и выделения (кровь, моча, мокрота и пр.). Полученные доселе результаты нельзя еще оценить в достаточной мере, так как и самые методы новы и не всем доступны, и приложение их к жизни встречает не мало сопротивления прежде всего со стороны врачей, воспитанных в приемах старой школы клиницистов, которые относились с известным пренебрежением вообще к лабораторному подходу и превыше всего ставили свои органы чувств, обостряя их лишь стетоскопом и молоточком для постукивания... Но время берет свое и, конечно, возьмет и здесь. На Западе уже нет туберкулезной больницы, диспансера, санатории без хорошо оборудованной лаборатории с компетентным специалистом во главе. Там ведутся не только текущие обследования больных, но и разрабатывается методика и углубляются медицинские знания о туберкулезе, чем облегчается и борьба с ним. Мало

того, существуют там научно-исследовательские институты, где те же вопросы изучаются преимущественно путем экспериментальным. Таково, напр., отделение Парижского Пастеровского Института, руководимое известным ученым Кальметтом и располагающее в западно-африканских французских колониях специальным филиалом — питомником для обезьян, предназначенных исключительно для опытов с туберкулезом. Нам до этого всего еще пока довольно далеко, но все же есть полное основание надеяться, что при огромном государственном значении, какое имеет «народная» или даже «пролетарская» болезнь (как величают туберкулез), найдутся и средства для аналогичных учреждений, и люди, которые отдадут свою жизнь, силы и знания для разрешения проблемы туберкулеза и приближения окончательной над ним победы.

Но мы отклонились несколько в сторону от занимающей нас темы: относительно успехов диагностики туберкулеза. Доселе рассматривались нами способы лабораторного исследования, не касающихся, либо мало касающиеся (только ради добывания необходимого материала) самого больного организма. А между тем и этот последний может быть использован для особого рода биологических реакций, которые производятся уже не в пробирке, а на самом человеке. Чтобы уразуметь их сущность, нужно сделать опять-таки некоторое отступление.

Выше мы упоминали о том, что при той или иной (главным образом заразной) болезни в теле происходит своего рода «перестройка» всех органов, тканей и жидкостей его,—перестройка, отражающаяся и на сыворотке и не оставляющая без соответствующего специфического изменения ни одной клеточки организма. В частности, сказывается это явление тем, что организм больного (ну, пусть уж прямо туберкулезного больного) начинает своеобразно, сверхчувствительно реагировать на яды тех микробов, которыми он заражен (значит, в данном случае — на туберкулин). Если совершенно здоровому животному или человеку ввести даже значительную дозу туберкулина (яда туберкулезной разводки, не содержащего живых бацилл), у него не будет никаких болезненных проявлений — он не реагирует ничем. Но если животное уже заражено туберкулезом заранее, то от этой значительной дозы оно погибнет через несколько часов — настолько туберкулез делает организм сверхчувствительным к туберкулину. Человеку, разумеется, такой значительной дозы, которая оказала бы смертельный эффект, впрыснуть нельзя, но зато достаточно ввести ему минимальнейшую долю кубического сантиметра, каплю туберкулина, разведенного в сотни тысяч раз, чтобы вызвать немедленную реакцию в виде некоторого повышения температуры.

Эту специфическую температурную реакцию на введение туберкулина широко используют для диагностических целей. Пусть где-нибудь в глубине организма таится самое микроскопическое по размерам туберкулезное поражение, все равно — организм уже «перестроился» и отвечает на впрыскивание туберкулина этой повышенной чувствительностью. Особенное распространение получила туберкулиновая проба для распознавания туберкулеза у рогатого скота: во многих странах всех молочных коров подвергают обяза-

тельной туберкулинизации. На человеке эта биологическая проба в настоящее время проделывается несколько в ином виде. Туберкулин не впрыскивается под кожу, а вводится путем накапывания или втирания в маленькие царапинки на коже — совершенно как при прививке оспы. Тогда как у здорового ничего, кроме, может быть, скоропреходящей красноты, не замечается, у туберкулезного, напротив, спустя часов 12—20, на месте нанесения туберкулина получается припухлость с широким воспалительным ободком. Эта так называемая реакция Пиркэ настолько чувствительна, что только малые дети до 4-х—6-летнего возраста совершенно не дают ее (при условии применения чистого неразведенного туберкулина), а любой взрослый уже непременно реагирует и, следовательно, так или иначе заражен туберкулезом, что вполне соответствует истинному положению вещей, как мы говорили это выше. Зато, варьируя дозировку туберкулина (разводя его во много раз) и способы его приложения (накожно, вкожно, на слизистые оболочки глаза, носа и т. д.), можно не только распознать наличие скрытого болезненного очага, но и определить степень так называемого иммунобиологического состояния организма. Реагирует ли он на слабые разведения? Как реагирует? Как меняется эта способность во времени и в связи с разными лечебными воздействиями? Все это имеет большое значение для врача и все наблюдения за туберкулезным больным и все терапевтические процедуры над ним в настоящее время проделываются не иначе, как под знаком постоянной и повторной «пиркетизации».

В настоящее время эта сторона дела разработана до тонкости. Есть большие специалисты по этой части, настоящие виртуозы туберкулинизации. Они производят над туберкулезным больным целую гамму опытов (спешим еще раз подчеркнуть, абсолютно безвредных!), при чем разными путями, а большею частью внутрикожно, т.-е. вкалыванием тоненькой иглы под самый поверхностный слой надкожицы, вводят туберкулин. Таким образом получается возможность определить, как действует на болезненный очаг тот или иной способ лечения? Нужно ли продолжать, скажем, впрыскивание какого-либо вещества или остановиться? Менять ли дозу его (повышать, понижать)? Находится ли больной на пути к выздоровлению или же, напротив, защитные силы организма начинают сдавать в борьбе с врагом? Словом, в каждый данный момент можно составить себе ясное представление о той, доселе таинственной, работе, которая совершается в самой интимной лаборатории больных клеточек тела. Вот почему больные туберкулезом в диспансерах, амбулаториях и др. учреждениях подвергаются так часто этим, невсегда—сознаемся—приятным, уколам: это лучший способ контроля иммунобиологического состояния организма, вечно колеблющегося возле точки равновесия. Задача врача — непрерывно восстанавливать это подвижное равновесие, при котором «то сей, то оный на бок гнется», с тем, чтобы перевес по возможности всегда оставался на стороне организма. Больного желательно привести в состояние так называемой положительной анэргии, когда он уже не будет реагировать даже на большие дозы туберкулина и в то же время явно поправляться. Вкратце только что описанная область биологического

испытания туберкулезного организма является в настоящее время наиболее актуально в фтизиологии вообще. Не улеглись еще оживленные споры вокруг самого центрального пункта теории действия туберкулина; не пришли к соглашению относительно способа его применения; сама техника изготовления, сохранения, стандартизации еще не твердо установлена. В силу этого, разумеется, дело это имеет сейчас еще, пожалуй, столько же противников, сколько и сторонников. Но, тем не менее, усовершенствование техники и углубление вопроса в смысле клинического его испытания и критической оценки сулят нам несомненный успех и прогрессирование. Туберкулин в качестве диагностического средства и показателя иммунобиологического состояния больного навсегда останется в арсенале врача-специалиста.

На-ряду с описанными тонкими и глубоко-научными способами подхода к туберкулезному больному, позволяющими косвенным путем приподнять завесу и заглянуть, так сказать, за кулисы, где разыгрывается драма, есть и еще приемы, дающие возможность просто-таки глазом видеть, чтó происходит внутри болезненно-пораженных органов. Мы говорим о рентгеновском исследовании. Лет 30 назад открытие покойным Рентгеном его X-лучей нашло себе сразу приложение в медицине. При чем верхом достижения считалось получить на экране или фотографической пластинке изображение иглы, застрявшей в теле, иглы, вонзившейся в руку, и т. п. Позднее хирурги стали пользоваться тем, что кости скелета дают явственные контуры среди бледного абриса мягких тканей — и это принесло уже не мало пользы. Но то, что дает нам рентгеновское искусство теперь, превышает самые смелые надежды и ожидания. Нет того укромного уголка в теле (включая даже мозг, укрытый со всех сторон костяной коробкой, не исключая и всех решительно внутренностей, совершенно проходимых для X-лучей и не дающих при обычных условиях ни малейшей тени при просвечивании), куда не мог бы заглянуть вооруженный рентгеновским прибором глаз врача. Врач-«туберкулезник» уже не может в наше время обойтись без рентгенологического исследования: оно открывает ему самые начальные формы болезни, когда слегка лишь припухшие лимфатические железы не могут быть открыты никаким иным путем, но дают уже тень на рентгенограмме; каверны и уплотнения, скопление бугорков и их последовательные изменения в сторону как распада, так и заживления, — все это прочитывается опытным спецом, как в раскрытой книге. В самое недавнее время еще стали употреблять особые вещества (так называемый липиодоль), которые, будучи введенными в дыхательные пути, дают на пластинке изумительно ясное изображение всего бронхиального дерева с мельчайшими разветлениями его в легочной паренхиме. Мы не говорим уже о той громадной пользе, которую извлекает медицина из рентгена при всякого рода туберкулезных поражениях иных мест организма, кроме легких. Не даром рентгеновский кабинет ныне такая же необходимая принадлежность всякого туберкулезного учреждения (как, впрочем, и вообще любого лечебно-санитарного), как и химико-бактериологическая лаборатория. Не даром издаются обширнейшие атласы рентгенограмм, где на великолепных снимках можно шаг за шагом проследить все те изменения и разрушения,

которые производит туберкулезный бацилл во всех частях организма. Являясь высоко-квалифицированной и высоко-дифференцированной отраслью медицины распознавательной и лечебной (об этом — ниже), рентгенология в то же время заключает в себе много элементов искусства в лучшем смысле этого слова: она требует огромной технической сноровки, большого опыта и непременно надлежащего оборудования. Не всякий врач «прочтет» правильно картину на экране или пластинке, не всякий даже рентгенолог разберется решительно во всех мелочах этой игры теней, допускающих нередко не одно толкование... Но при всем том отказываться в наше время от такого могучего подспорья, как рентгеновское исследование при туберкулезе, значит добровольно отодвинуться более, чем на четверть века назад, и обречь своих больных на всякие диагностические ошибки, что уж более чем непростительно...

Мы видим, следовательно, как велики научные достижения в сфере диагностики туберкулеза в смысле точного распознавания самых ранних его проявлений, уловления самых тонких колебаний патологического процесса и констатирования динамики больного организма. Врач подходит теперь к больному вооруженный детально разработанным арсеналом физической, химической, бактериологической методики, а это уже далеко превосходит арсенал старой медицины, где верхом технического совершенства было взвешивание да термометрирование. Больше того, так подходит врач и к видимо-здоровому человеку, к рабочему на производстве; поисследовав его с головы до ног, он находит очень часто где-нибудь скрытый туберкулезный фокус, настаивает на принятии серьезных мер против грозящего бедствия от его распространения (это то, что называется оздоровлением труда и быта, а заодно и оздоровлением, несомненно, больного организма). Мы видели также, что следить за всеми перипетиями борьбы, разыгрывающейся внутри пораженного туберкулезом организма, можно именно с помощью вкратце описанных научных способов. Ими же определяется и момент выздоровления, и возможность вернуться трудящемуся к своим занятиям, и, наоборот, необходимость отказаться от них на более продолжительное время. Еще серьезнее услуги, оказываемые всей этой массой специальных приемов, при обследовании детского возраста, начиная с момента появления на свет — оценка так называемого претуберкулезного стадия (а иной раз и констатирование наличия инфекции внутри-утробной); при появлении первых тревожных сигналов обыкновенно в раннем дошкольном периоде, а тем паче с началом обучения. Одним словом, постановка фтизиологии ныне дает полное право этой отрасли медицины стать наравне, если не впереди многих других, в качестве самостоятельной научной дисциплины.

(Окончание следует).

Америка.

Владимир Маяковский.

Когда говорят «Америка», воображению представляется Нью-Йорк, американские дядюшки, мустанги, Кулидж и т. п. принадлежности Северо-Американских Соединенных Штатов.

Странно, но верно.

Странно — потому, что Америк целых три: Северная, Центральная и Южная.

С.-А. С. Ш. не занимают даже всю Северную — а вот поди ж ты! — отобрали, присвоили и вместили название всех Америк.

Верно—потому, что право называть себя Америкой Соединенные Штаты взяли силой, дредноутами и долларами, нагоняя страх на соседние республики и колонии.

Только за одно мое короткое трехмесячное пребывание американцы погромыхивали железным кулаком перед носом мексиканцев по поводу мексиканского проекта национализации своих неот'емлемых земельных недр; посылали отряды на помощь какому-то правительству, прогоняемому Венецуэльским народом; недвусмысленно намекали Англии, что в случае неуплаты долгов может затрещать хлебная Канада, того же желали французам перед конференцией об уплате французского долга; то посылали своих летчиков в Марокко на помощь французам, то вдруг становились марокканцелюбцами и из гуманных соображений отзывали летчиков обратно.

Что Америка и С.-А. С. Ш. одно и то же, узнали все, а Кулидж только оформил это дельце в одном из последних декретов, называя себя и только себя американцами. Напрасен протестующий рев многих десятков республик и даже других Соединенных Штатов (например, Соединенные Штаты Мексики), образующих Америку.

Слово Америка теперь окончательно аннексировано.

Но что кроется за этим словом?

Что такое Америка, что это за американская нация, американский дух?

Америку я видел только из окон вагона.

Однако по отношению к Америке это звучит совсем не мало, так как вся она вдоль и поперек изрезана линиями. Они идут рядом то четыре, то

десять, то пятнадцать. А за этими линиями только под маленьким градусом новые линии новых железнодорожных компаний. Единого расписания нет, так как цель этих линий не обслуживание пассажирских интересов, а доллар и конкуренция с соседним промышленником.

Поэтому, беря билет на какой-нибудь станции большого города, вы не уверены, что это самый быстрый, дешевый и удобный способ сообщения между необходимыми вам городами. Тем более, что каждый поезд — экспресс, каждый — курьерский и каждый — скорый.

Один поезд из Чикаго в Нью-Йорк идет 32 часа, другой — 24, третий — 20, и все называются одинаково — экспресс.

В экспрессах сидят люди, заложив за ленту шляпы проездной билет. Так хладнокровней. Не надо нервничать искать билетов, а контролер привычной рукой лезет вам за ленту и очень удивляется, если там билета не оказалось. Если вы едете спальным пульмановским вагоном, прославленным и считающимся в Америке самым комфортабельным и удобным, то все ваше существо организатора будет дважды в день утром и вечером потрясаемо бессмысленной, глупой возней. В 9 часов вечера дневной вагон начинают ломать, опускают высланные в потолок кровати, разворачивают постели, прикрепляют железные палки, нанизывают кольца занавесок, с грохотом вставляют железные перегородки — все эти хитрые приспособления приводятся в движение, чтоб по бокам вдоль вагона установить в два яруса двадцать спальных коек под занавесками, оставив посредине узкий уже не проход, а пролаз.

Чтоб пролезть во время уборки, надо сплошь жонглировать двумя негритянскими задами уборщиков, головой ушедших в постилаемую койку.

Повернешь, выведешь его чуть не на площадку вагона, вдвоем особенно с лестницей для влезания на второй ярус почти не разминешься, затем меняешься с ним местами и тогда обратно влазишь в вагон. Раздеваясь, вы лихорадочно придерживаете расстегивающиеся занавески во избежание негодующих возгласов напротив вас раздевающихся шестидесятилетних организаторш какого-нибудь общества юных христианских девушек.

Во время работы вы забываете прижать вплотную высовывающиеся из-под занавесок голые ноги, и проклинаемый пятипудовый негр ходит вразвалку по всем мозолям. С 9-ти утра начинается вакханалия разборки вагона.

Наше, европейское, деление на купэ даже жестких вагонов куда целесообразней американской пульмановской системы.

Что меня совсем удивило, это возможность опоздания поездов в Америке даже без особых несчастных причин.

Мне необходимо было срочно после лекции в Чикаго выехать ночью на лекцию в Филадельфию — экспрессной езды 20 часов. Но в это время ночи шел только один поезд с двумя пересадками, и кассир, несмотря на пятиминутный срок пересадки, не мог и не хотел гарантировать мне точности прибытия к вагону пересадки, хотя и прибавил, что шансов на опоздания не много.

Возможно, что уклончивый ответ об'яснялся желанием опозорить конкурирующие линии.

На остановках пассажиры выбегают, закупают пучки сельдерея и вбегают, жуя на ходу корешки.

В сельдерее железо — полезно американцам. Американцы любят сельдерей.

На ходу мелькают нерасчищенные лески русского типа, площадки футболистов с разноцветными играющими и техника, техника и техника.

Эта техника не застоялась, эта техника растет. В ней есть одна странная черта — снаружи, внешне эта техника производит недоделанное временем впечатление.

Будто стройка, стены завода не фундаментальные, однодневки, одногодки. Телеграфные, даже часто трамвайные столбы сплошь да рядом деревянные. Огромные газовые вместилища, спичка в которые снесет пол-города, кажутся неохраняемыми. Только на время войны была приставлена стража.

Откуда это?

Мне думается, от рваческого завоевательского характера американского развития.

Техника здесь шире всеоб'емлющей германской, но в ней нет древней культуры, которая заставила бы не только нагромождать корпуса, но и решетки и двор перед заводом организовать сообразно со всей стройкой.

Мы ехали из Бикона (в шести часах езды от Нью-Йорка) и попали без всякого предупреждения на полную перестройку дороги, на которой не было оставлено никакого места для автомобилей (владельцы участков мостили, очевидно, для себя и мало заботились об удобствах проезда). Мы свернули на боковые дороги и находили путь только после опроса встречных, так как ни одна надпись не указывала направление.

В Германии это не мыслимо ни при каких условиях, ни в каком захолустье.

При всей грандиозности строений Америки, при всей недосягаемости для Европы быстроты американской стройки, высоты американских небоскребов, их удобств и вместительности, и дома Америки в общем производят странное временное впечатление.

Может быть, это кажущееся. Кажется от того, что на вершине огромного дома стоит об'емистый водяной бак. Воду до шестого этажа подает город, а дальше управляется сам. При вере во всемогущество американской техники такой дом выглядит подогнанным, наскоро переделанным из какой-то другой вещи.

Эта черта совсем отвратительно выступает в постройках, по самому своему существу являющихся временными.

Я был на Раковей-бич (ньюйоркский дачный поселок, пляж для людей среднего достатка). Ничего гаже строений, облепивших берег, я не видел. Я не мог бы прожить в таком корельском портсигаре и двух часов.

Все стандартизированные дома одинаковы как спичечные коробки одного названия, одной формы. Дома окружены, как пассажиры весеннего трамвая, возвращающегося из Сокольников в воскресение вечером. Открыв окно уборной, вы видите все делающееся в соседней уборной, а если у соседа

приоткрыта дверь, то видите сквозь дом и уборную следующих дачников. Дома по ленточке уличек вытянулись как солдаты на параде ухо к уху. Материал строений таков, что слышишь не только каждый вздох и шопот влюбленного соседа, но сквозь стенку можешь различить самые тонкие нюансы обеденных запахов на соседском столе.

Такой поселок — это совершеннейший аппарат провинциализма и сплетни в самом мировом масштабе.

Даже большие новейшие, удобнейшие дома кажутся временными, потому что вся Америка, Нью-Йорк в частности, в стройке, в постоянной стройке. Десятиэтажные дома ломают, чтоб строить двадцатиэтажные, двадцатиэтажные, чтобы — тридцати, тридцати, чтобы — сорока и т. д.

Нью-Йорк всегда в грудах камней и стальных переплетов, в визге сверл и ударах молотков.

Настоящий и большой пафос стройки.

Американцы строят так, как будто в тысячный раз разыгрывают интереснейшую, разученнейшую пьесу. Оторваться от этого зрелища ловкости, сметки невозможно.

На простую землю ставится землечерпалка. Она с лязгом, ей подобающим, выгрызает и высасывает землю и тут же плюет ее в непрерывно проходящие грузовозы. По середине стройки подымают под'емный кран. Он берет огромные стальные трубы и вбивает их паровым молотом, сопящим, будто в насморке вся техника, в твердую землю, как мелкие обойные гвозди. Люди только помогают молоту усесться на трубу да по ватерпасу меряют наклоны. Другие лапы крана подымают стальные стойки и перекладины без всяких шероховатостей садящиеся на место, — только сбей да свинти.

Подымается постройка, вместе с ней подымается кран, как будто дом за косу подымают с земли. Через месяц, а то и раньше, кран снимут, и дом готов.

Это—примененное к домам знаменитое правило выделки пушек (берут дырку, обливают чугуном, — вот и пушка!): взяли кубический воздух, обвинтили сталью, и дом готов. Трудно отнестись серьезно, относишься с поэтической вдохновенностью к какому-нибудь двадцатиэтажному Кливландскому отелю, про который жители говорят: «здесь от этого дома очень тесно» (совсем как в трамвае — подвиньтесь, пожалуйста), поэтому его переносят отсюда за десять кварталов к озеру.

Я не знаю, кто и как будет переносить эту постройку, но если такой дом вырвется из рук, он отдавит много мозолей.

Бетонная стройка в десяток лет совершенно меняет облик больших городов.

Тридцать лет назад В. Г. Короленко, увидев Нью-Йорк, записывал: «сквозь дымку на берегу виднелись огромные дома в шесть и семь этажей»...

Лет пятнадцать назад Максим Горький, побывавши в Нью-Йорке, доводит до сведения:

«Сквозь косой дождь на берегу были видны дома в пятнадцать и двадцать этажей».

Я бы должен был, чтоб не выходить из рамок очевидно принятых писателями приличий, повествовать так:

«Сквозь косой дым можно видеть ничего-себе дома — в сорок и пятьдесят этажей...»

А будущий поэт после такого путешествия запишет:

«Сквозь прямые дома в неисследованное количество этажей, вставшие на нью-йоркском берегу, не были видны ни дымы, ни косые дожди, ни тем более какие-то дымки».

Американская нация.

Об ней больше, чем о какой-нибудь другой, — можно сказать словами одного из первых революционных плакатов:

«Американцы бывают разные, которые пролетарские, а которые буржуазные».

Сынки чикагских миллионеров убивают детей (дело Лоеба и комп.) — из любопытства суд находит их ненормальными, сохраняет их драгоценную жизнь, и «ненормальные» живут заведующими тюремных библиотек, восхищая сотюремников изящными философскими сочинениями.

Защитники рабочего класса (дело Ванцери и др. тов.) — приговариваются к смерти, и целые комитеты, организованные для их спасения, пока не в силах заставить губернатора штата отменить приговор. Буржуазия вооружена и организована. Ку-Клукс-Клан стал бытовым явлением.

Портные Нью-Йорка в дни маскарадного с'езда кланцев публиковали рекламы, заманивая заказчиков высоких шапок и белых халатов.

В городах иногда появляются известия, что такой-то куксин вождь убил такого-то и еще не пойман, другой (без фамилии) изнасиловал уже третью девушку и выкинул из автомобиля и тоже ходит по городу без малейшего признака кандалов. Рядом с боевой клановской организацией — мирные масонские. Сто тысяч масонов в пестрых восточных костюмах в свой предпраздничный день бродят по улицам Филадельфии.

Эта армия еще сохранила ложи и иерархию, попрежнему об'ясняется таинственными жестами, манипулированием каким-то пальцем у какой-то жилетной пуговицы, рисует при встречах таинственные значки, но на деле в большей своей части давно стала своеобразным учраспредом крупных торговцев и фабрикантов, назначающим министров и важнейших чиновников страны. Дико, должно быть, видеть это средневековье, шествующее по филадельфийским улицам под окнами типографии газеты The Filadelfia Jnquirer, выкидывающей ротационками 450.000 газет в час.

Рядом с этой теплой компанийкой очень странно существование легализованной очевидно для верности наблюдения рабочей компартии Америки и осмеливающихся на борьбу профессиональных союзов.

Я видел в первый день приезда в Чикаго в холод и проливной дождь такую дикую картину:

Вокруг огромного фабричного здания без остановок ходят мокрые, худые, продрогшие люди, с мостовых зорко смотрят рослые, жирные промакинтошенные полисмены.

На фабрике забастовка. Рабочие должны отгонять штрейкбрехеров и оповещать нанятых обманным путем.

Но останавливаться они не имеют права — остановившегося арестует полиция на основании законов против пикетчиков. Говори на ходу, бей на ходу.

Не меньшая острота и национальных взаимоотношений Америки.

В еврейском Нью-Йорке на новый год, совсем как в Шавлях, увидишь молодых людей и девушек, разодетых не то для свадьбы, не то для раскрашенной фотографии: лакированные башмаки, оранжевые чулки, белое кружевное платье, пестрый платок и испанский гребень в волосах — для женщин, а для мужчин, при тех же туфлях, какая-то помесь из сюртука, пиджака и смокинга. И на животе или настоящего или американского золота цепь размером и весом цепей, закрывающих черный ход от бандитов. На помогающих службе полосатые шали. У детей сотни поздравительных открыток с сердцами и голубками, открыток, от которых в эти дни беременеют все почтальоны Нью-Йорка, и которые являются единственным предметом широкого потребления всех универсальных магазинов во все предпраздничные дни.

В другом районе так же обособленно живут русские, и американцы ходят в антикварные магазины этого района покупать экзотический самовар.

Язык Америки, это воображаемый язык Вавилонского столпотворения, с той только разницей, что там мешали языки, чтоб никто не понимал, а здесь мешают, чтоб понимали все. В результате из английского, скажем, языка получается язык, который понимают все нации, кроме англичан.

Не даром, говорят, в китайских лавках вы найдете надписи:

Здесь говорят по-английски и понимают по-американски.

Мне, не знающему английский язык, все-таки легче понимать скупословного американца, чем сыпящего словами русского.

Русский называет:

трамвай — стриткарой,
угол — корнером,
квартал — блоком,
квартиранта — бордером,
билет — тикетом,

а выражается так:

«Вы поедете без менянния пересядок».

Это значит, что у вас беспересадочный билет.

Под словом американец у нас подразумевают помесь из эксцентричных бродяг О. Генри, Ника Картера с неизменной трубкой и клетчатых ковбоев кино-студии Кулешова.

Таких нет совсем.

Американцем называет себя белый, который даже еврея считает чернокожим, негру не подает руки, увидев негра с белой женщиной, негра револь-

вером гонит домой, сам безнаказанно насилует негритянских девочек, а негра, приблизившегося к белой женщине, судит судом линча, т.-е. обрывает ему руки, ноги и живого жарит на костре. Обычай почище нашего «дела о сожжении в деревне Листвяны цыган-конокрадов».

Почему американцами считают этих, а не негров, например.

Негров, от которых идет и так называемый американский танец фокс и шимми и американский джаз. Негров, которые издают многие прекрасные журналы, например, «Opportunity», негров, которые стараются найти и находят свою связь с культурой мира, считая Пушкина, Александра Дюма, художника Генри и других работниками своей культуры.

Сейчас негр, издатель Каспер Гольштейн, об'явил премию в 100 долларов, имени величайшего негритянского поэта А. С. Пушкина, за лучшее негритянское стихотворение.

Первого мая 1926 года этот приз будет разыгран.

Почему неграм не считать Пушкина своим писателем, — ведь Пушкина и сейчас не пустили бы ни в одну «порядочную» гостиницу и гостиную Нью-Йорка. Ведь у Пушкина были курчавые волосы и негритянская синева под ногтями.

Когда закачаются так называемые весы истории, многое будет зависеть от того, на какую чашку положат двенадцать миллионов негров 24 миллиона своих увесистых рук. Подогретые техасскими кострами негры — достаточно сухой порох для взрывов революции.

Дух, в том числе и американский, вещь бестелая, даже почти не вещь. контор не занимает, экспортируется слабо, тоннажа не занимает и если что сам потребляет, то только виски, и то не американский, а привозной.

Поэтому духом интересуются мало и то в последнее время, когда у буржуазии после разбойничьего периода эксплоатации появилось некоторое спокойное, уверенное добродушие, некоторый жировой слой буржуазных поэтов, философов, художников.

Американцы завидуют европейским стилям. Они отлично понимают, что за свои деньги они могли бы иметь не четырнадцать, а хоть двадцать восемь людовиков, а спешка и привычка к точному осуществлению намеченного не дает им времени ждать, пока сегодняшняя стройка утрясется в американский стиль. Поэтому американцы закупают художественную Европу и произведения и артистов, дико украшая сороковые этажи каким-нибудь ренессансом, не интересуясь тем, что эти статуэтки да завитушки хороши для шестиэтажных, а выше не заметны вовсе. Помещать же ниже эти стильные финтифлюшки нельзя, так как они будут мешать рекламам, вывескам и другим полезным вещам.

Верхом стильного безобразия кажется мне один дом около публичной библиотеки: весь гладкий, экономный, стройный, черный, но острокрыший, выкрашенный для красоты золотом.

В двенадцатом году одесские поэты вызолотили для рекламы нос кассирше, продававшей билеты на стиховечер. Запоздавший гипертрофированный плагиат.

Улицы Нью-Йорка украшены маленькими памятничками писателей и артистов всего мира. Стены института Карнеги расписаны именами Чайковского, Толстого и др.

В последнее время против непереваренной эклектической пошлости подымается голос молодых работников искусства.

Американцы стараются найти душу, ритм Америки. Начинают выводить походку американцев из опасливых шажков древних индейцев по тропинкам пустого Манхеттена. Уцелевшие индийские семьи тщательно охраняются музеями. Высшим шиком высшего общества считается древнее родство с какими-нибудь знатными индейскими родами — вещь еще недавно совершенно позорная в американских глазах. Деятелей искусства, не родившихся в Америке, просто перестают слушать.

Начинает становиться модной всякая туземность.

Ч и к а г о. В 20-м году в выдуманной поэме «150.000.000» я так изобразил Чикаго:

Мир,
из света частей
собирая квинтет,
одарил ее мощью магической.
Город в ней стоит
на одном винте
весь электро-динамо-механический.
В Чикаго
14.000 улиц
солнц площадей лучи
от каждой —
700 переулков
длиною поезду на год.
Чудно человеку в Чикаго!

Знаменитейший сегодняшний американский поэт Карл Самборг, сам чикагец, загнанный американским нежеланием вникать в лирику в отдел хроники и происшествий богатейшей газеты «Чикаго Трибюн», — этот самый Самборг описывает Чикаго так:

«Чикаго.
Свинобой мира.
Инструментщик, сборщик хлеба.
Играющий железными дорогами грузчик страны.
Бурный хриплый задира.
Город широких плеч...

...Мне говорят — ты подл — и я отвечаю: да, это правда, я видел, как бандит убил и остался безнаказанным. Мне говорят, что ты жесток, и мой ответ: на лицах женщин и детей я видел следы бесстыдного голода. Бросая

ядовитые насмешки за работой, все наваливающейся работой, — это высокий, дерзкий хулиган на фоне хрупких городишек.

С непокрытой головой
Роющий
рушащий
готовящий планы
строющий, ломающий, восстанавливающий.
. . . .

...Смеющийся бурным, хриплым, задорным смехом юности. Полуголый, пропотевший, гордый тем, что он режет свиней, производит инструменты, наваливает хлебом амбары, играет железными дорогами и перебрасывает грузы Америки».

Путеводители и старожилы говорят:

Чикаго:

Самые большие бойни.
Самый большой заготовщик лесных материалов.
Самый большой мебельный центр.
Самый большой хлебопроизводитель.
Самый большой производитель сельско-хозяйственных машин.
Самый большой фабрикант железных печей.
Самый крупный железнодорожный центр.
Самый большой центр рассылки покупок по почте.
Самый людный угол в мире.
Самый проходимый мост на земном шаре — Bush street brig.
Самая лучшая система бульваров во всем земном шаре — ходи по бульварам, обходи Чикаго, не выйдя ни на какую улицу.
Все самое, самое, самое...

Что же это за город Чикаго?

Если все американские города насыпать в мешок, перетряхнуть дома, как цифры лото, то потом и сами мэры города не смогут отобрать свое бывшее имущество.

Но есть Чикаго, и этот Чикаго отличен от всех других городов, — отличен не домами, не людьми, а своей особой по-чикагски направленной энергией.

В Нью-Йорке многое для декорации, для виду.

Белый путь для виду, Кони Айлэнд—для виду, даже пятидесятисемиэтажный Вульворт бюльдинг — для втирания провинциалам и иностранцам очков.

Чикаго живет без хвастовства.

Показная небоскребная часть узка, притиснута к берегу громады фабричного Чикаго.

Чикаго не стыдится своих фабрик, не отступает с ними на окраины. Без хлеба не проживешь, и Мак-Кормик выставляет свои заводы сельско-хо-

зяйственных машин центральней, даже более гордо, чем какой-нибудь Париж, какой-нибудь Нотр Дам.

Без мяса не проживешь, и нечего кокетничать вегетарианством, поэтому в самом центре кровавое сердце — бойни.

Чикагские бойни одно из гнуснейших зрелищ моей жизни.

Прямо фордом вы в'езжаете на длиннейший деревянный мост. Этот мост перекинут через тысячи загонов для быков, телят, баранов и для всей бесчисленности мировых свиней. Визг, мычание, блеяние, неповторимые до конца света, пока людей и скотину не прищемят сдвигающимися скалами, стоят над этим местом. Сквозь сжатые ноздри лезет кислый смрад бычей мочи и дерьма скотов десятка фасонов и миллионного количества.

Воображаемый или настоящий запах целого разливного моря крови занимается вашим головокружением.

Разных сортов и калибров мухи с луга и жидкой грязи перепархивают то на коровьи, то на ваши глаза.

Длинные деревянные коридоры уводят упирающийся скот.

Если бараны не идут сами, их ведет выдрессированный козел.

Коридоры кончаются там, где начинаются ножи свинобоев и быкобойцев.

Живых визжащих свиней машина подымает крючком, зацепив их за их живую ножку, перекидывает их на непрерывную цепь, они вверх ногами проползают мимо ирландца или негра, втыкающего нож в свинячье горло. По несколько тысяч свиней в день режет каждый — хвастался боенский провожатый.

Здесь визг и хрип, а в другом конце фабрики уже пломбы кладут на окорока, молниями вспыхивают на солнце градом выбрасываемые консервные жестянки, дальше грузятся холодильники и курьерскими поездами и пароходами идет ветчина в колбасные и рестораны всего мира.

Минут пятнадцать едем мы по мосту только одной компании.

А со всех сторон десятки компаний орут вывесками:

Вильсон!
Стар!
Свифт!
Гамонд!
Армор!

Впрочем, все эти компании, вопреки закону, — одно об'единение, один трест. В этом тресте главный Армор, — судите по его охвату и мощи всего предприятия.

У Армора свыше 100.000 рабочих. Одних конторщиков имеет Армор 10—15 тысяч.

400 миллионов долларов — общая ценность арморовских богатств. 80.000 акционеров разобрали акции, дрожат над целостью арморовского предприятия и снимают пылинки с владельцев.

Половина акционеров — рабочие (половина, конечно, по числу акционеров, а не акций), рабочим дают акции в рассрочку один доллар в неделю. За эти акции приобретается временно смирение отсталых боенских рабочих.

Армор горд.

Шестьдесят процентов американской мясной продукции и 10% мировой дает один Армор.

Консервы Армора ест мир.

Любой может наживать катарр.

И во время мировой войны на передовых позициях были консервы с подновленной этикеткой. В погоне за новыми барышами Армор сбагривал четырехлетние яйца и консервированное мясо призывного возраста — в 20 лет!

Наивные люди, желая посмотреть столицу Соединенных Штатов, едут в Вашингтон. Люди искушенные едут на крохотную уличку Нью-Йорка Вол Стрит, улицу банков, — улицу, фактически правящую страной.

Это верней и дешевле вашингтонской поездки. Здесь, а не при Кулидже, должны держать своих послов иностранные державы. Под Вол Стрит—тоннель Собвей, а если набить его динамитом и пустить на воздух к чертям свинячим всю эту уличку, взлетят на воздух книги записей вкладов, названий и серий бесчисленных акций, да столбцы иностранных долгов.

Вол Стрит первая столица, столица американских долларов.

Чикаго вторая столица — столица промышленности.

Поэтому не так неверно поставить Чикаго вместо Вашингтона.

Свинобой Вильсон не меньше влияет на жизнь Америки, чем его однофамилец Вудро.

Бойни не проходят бесследно. Поработав на них, или станешь вегетарианцем, или будешь спокойно убивать людей, когда надоест развлекаться кинематографом. Недаром Чикаго место сенсационных убийств, место легендарных бандитов.

Недаром в этом воздухе из каждых четырех детей — один умирает до года.

Понятно, что грандиозность армии трудящихся, мрак чикагской рабочей жизни именно здесь вызывает трудящихся на самый больший в Америке отпор. Здесь главные силы рабочей партии Америки. Здесь центральный комитет. Здесь центральная газета — Daily Worker.

Сюда обращается партия с призывами, когда надо из скудного заработка создать тысячи долларов.

Голосом чикагцев орет партия, когда нужно напомнить министру иностранных дел мистеру Келлогу, что он напрасно пускает в Соединенные Штаты только служителей долларов, что рано или поздно, а придется пустить и коммуниста Саклатвала и других посланцев рабочего класса мира.

Не сегодня и не вчера вступили рабочие чикагцы на революционный путь.

Так же, как в Париже приезжие коммунисты идут к обстрелянной стене коммунаров, так в Чикаго идут к могильной плите первых повешенных революционеров.

1 мая 1886 г. рабочие Чикаго об'явили всеобщую забастовку. 3 мая у завода Мак-Кормик была демонстрация, во время которой полиция спровоцировала выстрелы. Выстрелы эти явились оправданием полицейской стрельбы и дали повод выловить зачинщиков.

5 товарищей: Август Спайес, Адольф Фишер, Альберт Парсонн, Луи Линч и Жорж Энгель были повешены.

Сейчас на камне их братской могилы слова речи одного из обвиняемых:

«Придет день, когда наше молчание будет иметь больше силы, чем наши голоса, которые вы сейчас заглушаете».

Чикаго не бьет в нос шиком техники — но даже внешность города, даже его наружная жизнь показывает, что он больше других городов живет производством, живет машиной.

Здесь на каждом шагу перед радиатором вздымается под'емный мост, пропуская пароходы и баржи к Мичигану. Здесь, проезжая по висящему над железнодорожными линиями мосту, вы будете в любой час утра обволокнуты дымом и паром сотен бегущих паровозов.

Здесь на каждом повороте автомобильного колеса мелькают бензинные киоски королей нефти — Стандарт Ойл и Синклер.

Здесь всю ночь мигают предупреждающие авто-фонари перекрестков, и горят подземные лампы, деля тротуары во избежание столкновений. Здесь специальные конные полицейские записывают номера автомобилей, простоявших перед домом более получаса. Если разрешать останавливаться на улицах всегда и всем, автомобили бы стояли в 10 рядов и в десять ярусов.

Вот почему и весь в садах Чикаго должен быть изображаем на одном винте и сплошь электро-динамо-механическим. Это не в защиту собственной поэмы — это в утверждение права и необходимости поэту организовывать и переделывать видимый материал, а не полировать видимое.

Путеводитель описал Чикаго верно и не похоже.

Самборг описал и не верно, и не похоже.

Я описал не верно, но похоже.

Критики писали, что мое Чикаго могло быть написано только человеком, никогда не видавшим этого города.

Говорили, если я увижу Чикаго, я изменю описание.

Теперь я Чикаго видел. Я проверил поэму на чикагцах — она не вызывала у них скептических улыбок, наоборот, как будто показывала другую чикагскую сторону.

Детройт — второй и последний американский город, на котором остановлюсь. К сожалению, мне не пришлось видеть деревенских хлебных мест. Американские дороги страшно дóроги. Пульман до Чикаго 50 долларов (100 руб.).

Я мог ездить только туда, где большие русские и, конечно, рабочие колонии. Мои лекции устраивали «Новый Мир» и «Фрайгайт»—русская и еврейская газеты рабочей партии Америки.

В Детройте 20 тысяч рабочих. В Детройте 80 тысяч евреев.

В большинстве это бывшие нищие россияне, поминающие о ней всякой дрянью, приехавшие лет 20 тому назад и поэтому дружелюбно, во всяком случае внимательно относящиеся к советской России. Исключение — группа врангельцев, вывезенных из Константинополя седыми и лысыми вождями союза христианской молодежи, но и эта публика скоро обомнется. Доллар лучше всякой агитации разлагает белую эмиграцию. Пресловутая Кирилица, которую американцы называли «принцесс Сириль», явившаяся в Америку за вашингтонским признанием, быстро сдала, нашла себе бойкого предпринимателя менаджера и стала раздавать в целование свою ручку от 10 до 15 долларов в нью-йоркском Монде Морнинг Опера Клуб.

Даже «принц» Борис пустился в Нью-Йорке во все тяжкие. Обрывая лавры Родченко, он стал заниматься настоящим фотомонтажем, писал статьи из бывшей придворной жизни, точно перечисляя, когда и с кем пьянствовали цари, иллюстрируя фельетоны царями с примонтаженными им на колени балеринами, вспоминая, когда и с каким царем играл в карты, кстати и примонтировав бывших царей к пейзажам всехсветных казино. От этой борисовской литературы приуныли самые матерые белогвардейцы. Как, мол, с такими персонами вести агитацию за воцарение белогвардейщины. Даже белые газеты писали с грустью — такие выступления совсем засморкали идеи монархизма. Вновь привезенные, еще не ученые белогвардейцы еще тычутся по предприятиям, многих усыновил благосклонный ко всякой белизне Форд.

Фордовские рабочие показывают таких русским новичкам: смотрите, здесь ваш царь работает. Царь работает мало, есть у Форда какой-то бессловесный приказ о моментальном приеме нанявшихся русских белых.

В Детройте много огромных мировых предприятий, например, парк Девис — медикаменты. Но слава Детройта — автомобили.

Не знаю, на сколько человек здесь приходится один автомобиль (кажется, на четыре), но я знаю, что на улицах их много больше, чем людей.

Люди заходят в магазины, конторы, в кафэ и столовые, автомобили ждут их у дверей. Стоят сплошными рядами по обеим сторонам улицы. Митингами сгрудились на особых озаборенных площадях, где машину позволяют ставить за 25 — 35 центов.

Вечером, желающему поставить автомобиль, надо с'ехать с главной улицы в боковую, да и там поездить минут десять, а поставив в обнесенный загон, ждать потом, пока ее будут выволакивать из-за тысяч других машин.

А так как автомобиль больше человека, а человек, который выйдет, тоже садится в автомобиль, то нерушимое впечатление: машин больше людей.

Здесь фабрики: Пакард Кадиляк Бр. Дейч, вторая в мире, 1.500 машин в день.

Но над всем этим царит слово — Форд.

Форд укрепился здесь, и 7.000 новых фордовиков выбегают каждый день из ворот его безостановочно работающей ночью и днем фабрики.

На одном конце Детройта — Гайланд-Парк, с корпусами на 45 тысяч рабочих, на другом — Ривер с шестьюдесятью тысячами. Да еще в Дирборне, за 17 миль от Детройта, авиосборочный завод.

На фордовский завод я шел в большом волнении. Его книга, изданная в Ленинграде в 1923 году, уже имеет пометку 45-я тысяча, фордарь—популярнейшее слово организаторов труда, о предприятии Форда говорят чуть ли не как о вещи, которую без всяких перемен можно перенесть в социализм.

Профессор Лавров в предисловии к 5-му изданию фордовской книги пишет: «Появилась книга Форда... не превзойденная модель автомобиля... последователи Форда жалки, причина последнего кроется в талантливости изобретенной Фордом системы, которая как всякая совершенная система только и гарантирует лучшую организацию»... и т. д., и т. д.

Сам Форд говорит: цель его теории создать из мира источник радости (социалист), если мы не научимся лучше пользоваться машинами, у нас не станет времени для того, чтобы наслаждаться деревьями и птицами, цветами и лугами. «Деньги полезны лишь постольку, поскольку они способствуют жизненной свободе (капиталиста)». «Если служишь ради самого служения, ради удовлетворения, которое дается сознанием правоты дела, то деньги сами собой появляются в избытке» (не замечал). «Шеф (Форд) — компаньон своего рабочего, а рабочий — товарищ своего шефа». «Мы не хотим тяжелого труда, истощающего людей. Каждый рабочий Форда должен и может обдумывать улучшение дела и тогда он кандидат в Форды» и т. д., и т. д.

Я нарочно не останавливаюсь на ценных и интересных мыслях книги, о них раструблено достаточно, и не для них книга писана.

На завод водят группами, человек по 50. Направление одно, раз навсегда. Впереди фордовец. Идут гуськом, не останавливаясь.

Чтобы получить разрешение, заполняешь анкету в комнате, в которой стоит испещренный надписями юбилейный десятимиллионный Форд. Карманы вам набивают фордовскими рекламами, грудами лежащими по столам. Вид у анкетщиков и провожающих, как у состарившихся, вышедших на пенсию зазывал распродажных магазинов.

Пошли. Чистота вылизанная. Никто не остановится ни на секунду. Люди в шляпах ходят посматривая и делают постоянные отметки в каких-то листках. Очевидно, учет рабочих движений. Ни голосов, ни отдельных погромыхиваний. Только общий серьезный гул. Лица зеленоватые с черными губами, как на кино-с'емках. Это от длинных ламп дневного света. За инструментальной, за штамповальной и литейной начинается знаменитая фордовская цепь. Работа движется перед рабочим. Садятся голые шасси, как будто автомобили еще без штанов. Кладут надколесные крылья, автомобиль движется с вами вместе к моторщикам, краны сажают кузов, подкатываются колеса, бубликами из-под потолка беспрерывно скатываются шины, рабочие с под цепи снизу что-то подбивают молотком. На маленьких низеньких вагонеточках липнут рабочие к бокам. Пройдя через тысячи рук, автомобиль приобретает облик на одном из последних этапов, в авто садится шоффер, машина с'езжает с цепи и сама выкатывается во двор.

Процесс — уже знакомый по кино, но выходишь все-таки обалделый.

Еще через какие-то побочные отделы (Форд все части своей машины от нитки до стекла делает сам) с тюками шерсти, слетающими над головой

на цепях под'емных кранов тысячами пудов коленчатых валов мимо самой мощной в мире фордовской электростанции, выходим на Woodword — улица.

Мой сотоварищ по осмотру — старый фордовский рабочий, бросивший работу через два года из-за туберкулеза — видел завод тоже в первый раз. Говорит со злостью: это они парадную показывают, вот я бы вас повел в кузницы на Ривер, где половина работает в огне, а другая — в грязи и воде.

Вечером мне говорили фордовцы-рабкоры коммунистической чикагской газеты «Дейли Воркер»:

— Плохо. Очень плохо. Плевательниц нет. Форд не ставит, говорит: Мне не надо, чтобы вы плевались, мне надо, чтобы было чисто, а если плеваться, надо вам покупать плевательницы самим.

Техника — это ему техника, а не нам.

Очки дает с толстым стеклом, чтоб не выбило глаз — стекло дорогое. Человеколюбивый. Это он потому, что при тонком стекле глаз выбивает, и за него надо платить, а на толстом только царапины остаются, глаз от них портится все равно года через два, но платить не приходится.

На еду 15 минут. Ешь у станка, всухомятку. Ему бы кодекс законов о труде с обязательной отдельной столовой.

Расчет — без всяких выходных.

А членам союза и вовсе работы не дают. Библиотеки нет. Только кино, и то в нем показывают картины только про то, как быстрее работать.

Думаете, у нас несчастных случаев нет? Есть. Только про них никогда не пишут, а раненых и убитых вывозят на обычной фордовской машине, а не на краснокрестной. Система его прикидывается часовой (8-часовой рабочий день на самом деле — чистая сдельщина).

А как с Фордом бороться?

Сыщики, провокаторы и клановцы, всюду 80% иностранцев.

Как вести агитацию на 54-х языках?

В четыре часа я смотрел у фордовских ворот выходящую смену, люди валились в трамваи и тут же засыпали обессилев.

В Детройте наибольшое количество разводов. Фордовская система делает рабочих импотентами.

От'езд. Пристань компании «Трансатлантик» на конце 14-й улицы.

Чемоданы положили на непрерывно поднимающуюся ленту с планками, чтобы вещи не скатывались. Вещи побежали на второй этаж.

К пристани приставлен маленький пароходик «Рошамбо», ставший еще меньше от соседства огромной, как двухэтажный манеж, пристани.

Лестница со второго этажа презрительно спускалась вниз.

Просмотрев, отбирают выпускные свидетельства — свидетельство в том, что налоги Америке с заработавших в ней внесены и что в страну этот человек в'ехал правильно, с разрешения начальства.

Посмотрели билет, и я на французской территории; обратно под вывеску Френчлайн и под рекламу Бисквит Компани нэйшенал — нельзя.

Рассматриваю в последний раз пассажиров. В последний, потому что осень — время бурь, и люди будут лежать в лежку все 8 дней.

По приезде в Гавр я узнал, что на вышедшем одновременно с нами с соседней пристани «Конард Лайн» пароходе, шесть человек проломили себе насквозь носы, упав на умывальник во время качки, перекатывающей волны через все палубы.

Пароход плохонький, — особый тип — только первый и третий класс. Второго нет. Вернее — есть второй. Едут или бедные или экономные, да еще несколько американских молодых людей не экономных, не бедных, а посылаемых родителями учиться искусствам в Париже.

Отплывал машущий платками, поражающий при в'езде Нью-Йорк.

Повернулся этажами сорока, сквозной окнами Метрополитен-бюльдинг. Накиданными кубами разворачивалось новое здание телефонной станции, отошло и на расстояние стало видно сразу все гнездо небоскребов: этажей на 45 Беененсон-бюльдинг, два таких же корсетных ящика неизвестных мне по имени, улицы, ряды элевейторов, — норы подземок закончились с пристанью Соутонфери. Потом здания слились зубчатой обрывной скалой, над которой трубой вставал 57-этажный Вульворт.

Замахнулась кулаком с факелом американская баба-Свобода, прикрывшая задом тюрьму Острова Слез.

Мы в открытом обратном океане. Сутки не было ни качки, ни вина. Американские территориальные воды, еще текущие под сухим законом.

Через сутки появилось и то и другое. Люди полегли.

Осталось на палубе и в столовых человек 20, включая капитанов.

6 из них американские молодые люди: новеллист, два художника, поэт, музыкант и девушка, провожавшая, влезшая на пароход и любви ради уехавшая без французской визы.

Деятели искусства, осмыслив отсутствие родителей и прогибишена, начали пить.

Часов в пять брались за коктейли, за обедом уничтожали все столовое вино, после обеда заказывали шампанское, за десять минут до закрытия набирали бутылок под каждый палец; выпив все, слонялись по качающимся коридорам в поисках за спящим официантом.

Кончили пить за день до прибытия, во-первых, потому, что озверевший от вечного шума комиссар клятвенно обещал двух художников предать в руки французской полиции, не спуская на берег, а, во-вторых, все шампанские запасы были уже выпиты. Может быть, этим об'яснялась и комиссарская грозность.

Кроме этой компании, слонялся лысый старый канадец, все время надоедавший мне любовью к русским, сочувственно называя и справляясь у меня о знакомстве с бывшими живыми и мертвыми князьями, когда-нибудь попадавшими на страницы газет.

Путались между дребезжащими столиками 2 дипломата: помощник парагвайского консула в Лондоне и чилийский представитель в Лигу Наций. Парагваец пил охотно, но никогда не заказывал сам, а всегда в порядке изучения нравов и наблюдения за молодыми американцами. Чилиец пользовался каждой минутой просветления погоды и вытаскивал женщин на палубу, чтобы проявить

свой темперамент или хотя бы сняться вместе на фоне сирены или трубы. И, наконец, испанец купец, который не знал ни слова по-английски, а по-французски только: — регардэ — даже, кажется, мерси не знал, но испанец так умело обращался с этим словом, что, прибавив жесты и улыбки, он целыми днями перебегал от компании к компании в форменном разговорном ажиотаже.

Опять выходила газета, опять играли на скоростях, опять отпраздновали тамболу.

Я старался оформить основные американские впечатления:

Первое: Футуризм голой техники поверхностного импрессионизма дымов да проводов, имевший большую задачу — революционизирования застывшей, заплывшей деревней психики. Этот первобытный футуризм окончательно утвержден Америкой.

Звать и вещать тут не приходится. Перевози в Новороссийск Фордзоны, как это делает Амторг.

Перед работниками искусства встают задачи: не воспевание техники, а обуздание ее во имя интересов человечества. Не эстетическое любование железными пожарными лестницами небоскребов, а простая организация жилья.

Что автомобиль... Автомобилей много, пора подумать, чтобы они не воняли на улицах.

Не небоскреб — в котором жить нельзя, а живут, с под колес проносящихся элевейторов плюет пыль, и кажется, поезда переезжают ваши уши, не грохот воспевать, а ставить глушители; нам, поэтам, надо разговаривать в вагоне.

Безмоторный полет, беспроволочный телеграф, радио, бусы, вытесняющие рельсовые трамваи, собвеи, унесшие под землю всякую видимость.

Может быть, завтрашняя техника, умильонивая силы человека, пойдет по пути уничтожения строек, грохота и прочей технической внешности.

Второе. Разделенье труда уничтожает человеческую квалификацию. Капиталист, отделив и выделив материально дорогой ему процент рабочих (специалисты, желтые заправилы союзов и т. д.), с остальной рабочей массой обращается как с неисчерпаемым товаром.

Хотим—продадим, хотим—купим. Не согласитесь работать — выждем; забастуете — возьмем других. Покорных и способных облагодетельствуем; непокорным — палки казенной полиции, маузеры и кольты детективов частных контор.

Умное раздвоение рабочего класса на обыкновенных и привилегированных, невежество трудом высосанных рабочих, в которых после хорошо сорганизованного рабочего дня не остается силы, нужной даже для мысли; сравнительное благополучие рабочего, выколачивающего прожиточный минимум; несбыточная надежда на богатство в будущем, смакуемая усердными описаниями вышедших из чистильщиков миллиардеров; настоящие военные крепости на углах многих улиц — и грозное слово «депортация» далеко отдаляет какие бы то ни было веские надежды на революционные взрывы в Аме-

рике. Разве что откажется от каких-нибудь оплат долгов революционная Европа. На одной вытянутой через Тихий океан лапе японцы начнут подстригать когти. Поэтому усвоение американской техники, и усилия для второго открытия Америки для СССР — задача каждого, проезжающего Америки.

Третье. Возможно, фантастика Америки жиреет. Люди с двумя миллиончиками долларов считаются небогатыми начинающими юношами.

Деньги взаймы даются всем, даже римскому папе, покупающему дворец напротив, дабы любопытные не заглядывали в его папские окна.

Эти деньги берутся отовсюду,—даже из тощего кошелька американских рабочих.

Банки ведут бешеную агитацию за рабочие вклады.

Эти вклады создают постепенно убеждение, что надо заботиться о процентах, а не о работе.

Америка станет только финансовой ростовщической страной.

Бывшие рабочие, имеющие еще неоплаченный рассроченный автомобиль и микроскопический домик, политый пóтом до того, что не удивительно, что он вырос и на второй этаж, этим бывшим может казаться, что их задача следить, как бы не пропали их папские деньги.

Может статься, что Соединенные Штаты сообща станут последними вооруженными защитниками безнадежного буржуазного дела, тогда история сможет написать хороший, типа Уэльса, роман «Борьба двух миров».

Цель моих очерков — заставить в предчувствии далекой борьбы изучать слабые и сильные стороны Америки.

«Рошамбо» вошел в Гавр. Безграмотные домики, которые только по пальцам желают считать этажи, — на час расстояния гавань — а когда мы уже прикручивались, берег усеялся оборванными калеками, мальчишками.

С парохода кидали ненужные центы (считается «счастьем»), и мальчишки, давя друг друга, дорывая изодранные рубахи зубами и пальцами, впивались в медяки.

Американцы жирно посмеивались с палубы и щелкали моментальными. Эти нищие встают передо мной символом грядущей Европы, если она не бросит пресмыкаться перед американской и всякой другой деньгой.

Мы ехали к Парижу, пробивая тоннелями бесконечные горы, легшие поперек.

По сравнению с Америкой жалкие лачуги ютились на склоненных с трудом домах. Каждый вершок земли взят вековой борьбой, веками истощаем и с аптекарской мелочностью использован под фиалки или салат. Но даже это презираемое за домик, за земельку, за свое даже это веками обдуманное цепляние казалось мне теперь невероятной культурой в сравнении с бивуачным строем, рваческим характером американской жизни.

Зато до самого Руана на бесконечных каштанных проселочных дорогах, на самом густом клочке Франции мы встретили всего один автомобиль.

ОТ ЗЕМЛИ И ГОРОДОВ

Люди и факты.

Родион Акульшин.

> Чем больше живу, тем все более заманчиво интересными кажутся люди.
>
> М. Горький.

Стриженая кобыла.

Теперь у городских женщин привычка стричь волосы. Привычку эту создали годы всевозможных недостач и бедствий. Нечем было согреть воды для головы, поломались гребенки для расчесывания волос.

По соображениям гигиены стали женщины стричься, хотя волосы — главное украшение женщин. Не до красы, когда тиф косит.

Годы бедствий миновали, а привычка осталась. Стриженая голова дает большую экономию во времени. Вместо причесывания волос можно книжку почитать и много других полезных дел наделать.

Но в деревне бабья стрижка прививается туго. Для деревенской девицы коса с большим бантом на конце — один из шансов не остаться вековухой. Девицу с мышиным хвостиком не каждый полюбит и посватает.

В прежнее время большая коса нужна была мужу для того, чтоб лучше можно было навертеть ее на руку на уроках послушания и покорности.

Теперь это варварство изживается, но любовь к длинной косе осталась. Горе девице, у которой плохо растут волосы. Отвар сушеных корней хмеля и репейника способствуют рощению волос. Где про это знают, там редко увидишь репейный куст, тоже польза — меньше сорной травы.

Два года тому назад моя семидесятилетняя мать в отсутствии отца остригла под ерша седые волосы. Когда отец приехал, матери не стало житья от шуток. Соскочит нечаянно платок с головы — отец, сестры, племянники поднимают старуху на смех. Мать покушалась на самоубийство. Только боязнь загробной жизни остановила ее. А потом седые волосы подросли.

Минувшим летом у вдовы Настасьи ночью старую гнедую кобылу обстригли до единого волоска: хвост, гриву, чолку. Утром после выгона стад, когда задымалися трубы, стриженая кобыла пробежала селом и остановилась у калитки.

Настасья живет в конце. Парикмахер нарочно провел задами свою жертву на противоположный конец, чтобы все видели, как она пробежит по дороге. До стрижки немощь кобылы скрашивали хвост и грива... Попрежнему лошадь пыталась отгонять надоедливых мух. Прежде она это делала с большим успехом. Теперь окомелок вместо хвоста вздрагивал смешно и беспомощно. Мужики надорвали смехом животы. Моя мать прослезилась, вспомнив недавние насмешки над собой. А хозяйка, как увидала в окно свою Гнедуху, так и повалилась на пол. Плачет вдова, плачут детишки, а выйти к стриженой стыдятся. Повесила голову Гнедуха, ждет терпеливо, когда на двор впустят. Стонет хозяйка:

— За что меня господь наказал? Руки на себя наложу.

— Ой, маманюшка, и мы с тобою, — всхлипывают ребятишки, не понимая, что значит наложение рук.

Сбежались бабы и девки, головами качают, утешить стараются, да разве в таком горе успокоишь?

Уговорили бабы чужих мальчишек на выгон Гнедуху отвести, по яйцу обещали. На выгоне лошади дивились на подругу. Сосункам и молодым стригункам — короткий хвост подстать, а старой беззубой совсем не пристало окомелком от мух обороняться. Все село взбудоражилось озорству неизвестного человека, жалели вдовью сиротскую долю, пытались дознаться, посулились голову свернуть виновнику. О самочувствии кобылы никто не думал. Догадывалась ли она сама, что над ней надругались? На зеленом выгоне в сторонке от других дергала она старушечьими губами мураву... Ребятишки насытились смехом... Только мухи дразнили своим жужжаньем и злыми укусами. Через неделю раскрылось: Филя Большеротый кобылу обстриг.

Общим собранием постановили: отобрать у Фили исправную лошадь, а его наградить бесхвостой.

Теперь Филе жизнь не в жизнь: совсем без лошади остался. Своей рукой остриженую не захотел держать — татарину на кожу продал. Филя — сам виноват. Настасьины ребятишки как-то подбежали к Филиным воротам и замычали, подражая мирскому быку: «Бу-у...». А Филя не любит, когда эдак дразнят, распалился и обстриг кобылу. Теперь его попрежнему никто не дразнит, теперь Филю и старые и малые «Кобыльим паликмахтером» величают. А через это и жена от него ушла.

Сиреневая блузка.

Мечтала Катя по окончании педтехникума в Москву попасть. Не сбылись мечты, на должность учительницы в село поступила. На жалкие учительские гроши надо четыре рта накормить: свой, матерни и двух сестер; четыре пары ног обуть, четыре головы покрыть, да мало ли чего нужно живому человеку!

А доход — только жалованье, а жалованье задерживают по два и по три месяца, — не жизнь, а зарез... Как тут бодростью учеников заразишь, когда у самой еле-еле ноги двигаются?

Все, что можно продать, давно продано; юбка только одна и в праздник и в будни, блузки — две: одна — расхожая коричневая, другая — сиреневая, праздничная.

— Что делать, мама, скажи, что делать нам? — просит совета дочь.

— Что делать? Жениха денежного найти, все поправится, и на должность свою несчастную наплюешь тогда...

— И правда... Студент-медик неравнодушен ко мне... Говорит, на последнем курсе, скоро доктором будет... Доктору всегда доход...

Вышла учительница замуж за студента, прибавился к четырем ртам пятый. Был в голову контужен студент, сделала его контузия чудным, как у нас говорят, из угла мешком ушибленным. Не замечала этого раньше учительница в поисках спасения от нищеты.

— Что же ты не едешь никуда, не хлопочешь ни о чем? — донимает мужа жена.

— Погоди, вот осмотрюсь, успеется... Куда торопиться?.. вот с силами соберусь...

— А это видишь?

Жена показывала мужу стоптанные сандалии и ветхую коричневую блузку.

— У тебя есть сиреневая, напрасно ты ее блюдешь, скоро будет у тебя три новых...

— Три новых заплатки, вот что будет у меня, не буду я разрываться на пять ртов, вот лягу и буду лежать... Сама сдохну, и вы подыхайте... Продавать больше нечего...

Посоветовала мать в город пойти, жалованья попросить.

Собралась учительница, и студент вместе с нею пошел.

Вот радость, вот счастье неожиданное: в губнаробе деньги выдают, предложили Кате на всю волость получить. В первый раз за всю жизнь такая сумма большая в руках учительницы.

Улыбается муж.

— Давай оборот сделаем, задержим деньги на три дня. Три дня — не велик срок, а барыши большие получим.

— О чем ты говоришь, не понимаю.

— Не понимаешь, так слушай: тут на базаре два велосипеда я приглядел давеча... Совсем новенькие. Факт, что не успели продать. А в Казани к велосипедам приступу нет, с руками вырывают... Мы шутя утроим затраченное... Покупай тогда дюжину блузок, полдюжину сандалий, три платья и шляпу.

— Ну, смотри, не ошибись.

На радостях снова поверила Катя в успех и благополучие.

— Ты подожди тут минутку, я сбегаю билеты заблаговременно куплю, а тогда и на базар отправимся.

Учительница осталась на крыльце губнароба. Два беспризорных мальчика попросили милостыню. Дала им по гривеннику. Про себя подумала: «Когда помогаешь другим, и тебя не оставит без милости судьба»... Всматриваясь

в белые облака, узнавала в них веселых ребят-школьников... «С этой осени будут заниматься с любовью...» От тепла и от двадцативерстного пути клонило в дремоту... Словно с берега Волги сон подлетел. Летает над головой, машет большими сизыми крыльями. Махнет крылом, закрываются глаза. Закроются глаза, подлетает сон, клеем теплым из клюва склеивает веки. Склеил, склеил... Ничего не слышит учительница, только чувствует всем телом, как сон мягкими крыльями ее обнимает.

Уснула усталая. Проходят мимо учителя и учительницы, посмотрят, вздохнут и пройти торопятся, словно разбудить боятся.

— Нашла место для сна... В пять часов отходит пароход, торопиться некуда, успеем купить и запаковать...

Велосипеды стояли на своем месте. Не находилось на них покупателей. Супруги подошли, срядились.

— Денег у нас почти не осталось, — испугалась учительница.

— Нам много и не нужно, только до Казани добраться. Там озолотеем. Сиреневую блузку снимешь, сирень не всегда цветет.

Взяли двух носильщиков донести до пристани разобранные велосипеды.

У пристани давка, крики, ссоры. Коричневый перс расхваливает дыню гражданину с тросточкой:

— Купи, зеленый, зеленый, довезешь. Хорош будет. Спасибо скажешь. Спелый плоха, портиться будет. До Нижнего далеко, зеленый купи. Плох будет зеленый, открытка пиши: «Плюем, Хасавшир, твоя морда».

Носильщики растолкали толпу. За носильщиками шла учительница, муж отстал. Передний носильщик повернул налево.

— Товарищ, товарищ, куда вы? Прямо нужно... Ой, а где же другой? Товарищ носильщик, где вы?

Носильщики скрылись.

— Караул. Ограбили.

Подбежал милиционер.

— Обокрали... Два велосипеда... Сию минуту...

— Дура, — сказал муж-студент, — разинула рот, вот и ходи теперь всегда в своей сиреневой...

— Товарищи, — дико закричала учительница, — я погибаю... Спасите меня... Я не виновата...

Русые волосы растрепались. Кофточка выбилась из-под юбки. На лифе показалась заплатка — синяя с белыми полосками ,лоскут холстины, из которой шьют мужикам портки.

Студент исчез.

После первого свистка он вернулся пьяный, прошел на пароход и на палубе упал на канат.

— Я не поеду... Поднимайся...

— Замолчи, дура, в Волгу сброшу...

— Не поеду я...

— Билеты пропадут, шкрабка.

Пароход дал второй свисток.

— В Казани обернемся... С руками оторвут, — бормотал пьяный.

Учительница, словно ветхий мешок, из которого вытрясли остатки содержимого, беспомощно опустилась на канат возле пьяного мужа и зарыдала.

Скоро пароход пошел вверх по течению. Ветер продувал сквозь сиреневую блузку. Было холодно.

— Приготовьте билеты, — разнеслось по пароходу.

Ты, дура, билеты, смотри, не потеряй, а то высадят посередь пути...

Стучали колеса. Шумела вода. Метались чайки. Колыхалась кисея рукава сиреневой блузки.

Излияние нежных сердец.

Один мой друг, молодой писатель [1]), передал мне, как материал, пачку любовных писем, авторами которых являются парни, девицы Н. губернии, В. уезда. С разрешения друга я опубликовываю эти письма, как образцы деревенского творчества, где на-ряду со штампами, давным-давно известными из письмовиков, не мало самобытного и оригинального в высшей степени.

Письмо первое.

Здравствуй, премногоуважающий Ленечка.

Одна тысяча девятьсот двадцать четвертого года, 12 апреля дня.

Во первых строках — сижу на стыках, посылаю поклон кавалеру Алексею Ефимовичу от старопрежней симпатии Таисьи Михайловны.

Девять часов вечера — делать было нечего, сажусь за стол, чернильницу на стол. Беру перо в руки, пишу письмо от скуки, перо золотое, письмо дорогое. Беру перо серебряно, лети перо немедленно. Лети, письмо, взвивайся, никому в руки не давайся. Только дайся тому, кто мил сердцу моему, знакомому моему Алексею Ефимовичу. Лети, письмо, на крыльцо, стукни о кольцо. Крыльцо, отворись, милому в руки попадись. И если примет хорошо, то напишу письмо еще, если примет неприятно, то лети, письмо, обратно. Если любишь. так скажи, а не любишь — откажи. Если мило, так прочтите, а не мило, изорвите. Прошу, Леня, вас не забудьте нас. Люблю сирень, люблю фиалку, люблю я розу от души, но пуще всех люблю вас, Леня, за то, что очень хороши для нас. Целую я вас тысячу раз в правую щеку, нету счету, еще бы поцеловала триста раз, да нету здесь вас. Пишет вам известная, для вас неинтересная. Написала б еще больше, да на сердце станет горше, запечатано в конверт, по написанному верьте. Любящая вас откровенно, знакомая барышня Таисья Михайловна.

Письмо второе (ответное).

1925 г. Мая месяца.

Во-первых, спешу уведомить вас, Таисья Михайловна, что шлю вам свой любящий привет и свое нижайшее почтение от симпатии вашего Алексея Ефимовича. Таечка, я вас люблю невпример горячее, чем это видно по моим глазам, и не смогу забыть никогда. Примером этого моя мечта к вам.

[1]) Ф. Малов.

Таечка, я не обвиняю вас за забвение моего сердца, потому что, прелестная Таечка, вы очень антилигентны для нас. Передаю поцелуй по воздуху. Извините, что неразборчиво написал. Любящий вас до гроба Алексей Андреев.

Письмо третье.

Счастливый денечек, Ликандр Иваныч.

Ты хочешь знать, кого люблю,
К кому летят мои мечты,
Всегда скажу я вам немного.
Предмет моей любви есть ты.
Я розу срываю,
Я розу дарю тебе.
Уважаю тебя и люблю.
Писать невольно я решилась,
Любовь заставила меня.
Тебя, мой милый, спохватилась,
Зачем не здесь возле меня.

Дорогой Ликаша, приходи на беседки в нашу деревню.

Кари глазки, где вы скрылись,
Вас больше здеся не видать.
Вы с гулянья удалились,
На век заставили страдать.

До свиданья, Александра Ивановна.

Письмо четвертое.

Прошу, пожалуйста, без критики. Смеяться над собой мы не допустим. А что народ говорит — им никто не запретит. А от нас нет худого для вас.

Даю вам предложенье,
Оно для вас не вредно.
В любви есть одно утешенье,
Не станем минуты терять.
Вы сами собою прекрасны,
Желаю я с вами гулять.
Месяц для ночи. Солнце для дня,
Твои, Дуся, очи будут для меня.

За этим уведомляю, что на беседки приду действительно. Письмо это передам через Кучиновскую беду.

Письмо пятое.

Гражданке РСФСР чудесной Марусе Поликарповне, от гражданина СССР лично и очень спешно пишется тайная переписка. Во первых пунктах посылаю вам приветы от своего автономного сердца жгучие и горячие. Я вам ставлю вопрос ребром: ты мне должна об'ясниться в любви, идя навстречу по чисто советски. Я об'яснился вам 20 марта сего года в помещении

предбанника, где мы с вами мечтали любить друг друга до гробовой доски. В заключение нашей любви я получил от тебя несколько поцелуев. Я очень был расстроен по вас, когда вы завлекали нас серыми глазками, я по вас лишился аппетиту, не пилось, не елось, все по вас требтелось. Ну, а вы на это очень холодно издаете трепляки и все стараетесь уклониться от союза в частном масштабе.

Ты лестила меня, злодейка,
Отравила забвеньем грудь.
Ты моя душевная лиходейка,
Заключила моей жизни путь.

Прощайте, прощайте, гражданка РСФСР.

Целую в засос, неомотря на пост. Гражданин СССР Николай Михайлов.

Письмо шестое.

Писано 1925 г. апреля 17 числа дня к Владимиру Ивановичу Маштакову, известному таинственному кавалеру Володе. Во-первых, я познакомилась с вами, как со своим старо-прежним симпатией дорогим Володей.

Дорогой Володя, ты из-за своей работе в сельском совете совсем забыл нас и ни один праздник не придешь к нам. Все равно, сколь ты ни старайся для общества своего, мужики тебе не скажут спасиба, а еще отколотят, если не по их вымыслу станешь действовать, а я пожду, пожду, да тоже с другим гулять стану, пусть ты тогда любуешься своей советской работой, штоб провалилась она сквозь землю. А ты не только стараешься отойти от нее, но совсем нас забываешь, когда впрягаешься в хомут в сельсовете. Одно только я вспоминаю — это прошлое наше, когда вы были на гулянье, я знала ровно ангел с нами, когда сказали до свиданья, мне стало вас до гроба жаль.

Люблю я вас так одиноко,
Письмо сомненья нет писать.
Но написала я так много,
Пора «Прощай, мой друг» сказать.
Прощайте навечно, забвенные глазки,
Прощайте навечно и навсегда.
Любила я вас сердечно,
Как в жизни никогда.

До свиданья, дорогой Володя. Жду с нетерпением сердца ответа.

Люблю, люблю, любить вас буду,
Когда умру, тогда забуду.

Анна Сидоровна Гречухина.

Письмо седьмое.

Дорогая, милая Настя, Настасья Павловна. Письмо я ваше получил и категорически убедился в том, что я люблю вас, как Советскую власть, как свое комсомольское красно-алое знамя, и наша женитьба сыграет мировую роль, как мировая пролетарская революция, которой мы жаждем всем трепе-

том наших сердец. Никакая буржуазия не остановит нашу любовь, и вся вражда их против нашего сближения сломится, как палка в колесах при первой попытке.

Краеугольный камень, на котором основана наша любовь — это наша коммунистическая солидарность к середняцкому крестьянству, дочерью которого вы и являетесь. Так говорил могучий Карл Маркс. Так завещал Ильич, Владимир Ленин — любить друг друга по-пролетарски, и мы с тобой по заветам Ильича непреклонно соединимся в красной комсомольской свадьбе. Я теперь поздравляю вас с тем, что я выбран ответственным секретарем и политическим руководителем славной комсомольской ячейки РЛКСМ, боевого авангарда мировой революции, и теперь я буду победоносно вести шаг за шагом непримиримую борьбу с буржуазией всего мира. Теперь я ужасно занят по проведению в жизнь нашей любви до конечной цели, и я буду по возможности уделять внимание. Еще нам нужно переговорить о любви лично и как можно скорее без рукопожатий во время избежания разговора. С нетерпением жду ответа. С нетерпением жду, когда вы назначите место и время свиданья для закрытого совещания наших идей.

Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов.

С комсомольским приветом ответственный секретарь ячейки РЛКСМ Н. Д. Б.

Для передачи этих писем существует особая почта — полуюродивый старик. Письма зашиваются в лохмотья одежды почтаря, завертываются под портянки, засовываются в носки лаптей. Все это на случай нападения на почту... Не бандитов, а любопытных парней. Не раз почтарь, напичканный десятками нежных писем, подвергался ограблению, но на жизнь почтаря никто не покушается: его ценят, как незаменимого работника связи. И притом, грабители на сегодня, на завтра — уже его клиенты.

Нападать на почту побуждает не жажда наживы (денежных переводов почтарь не принимает), а всего-на-всего грызущая сердце ревность.

Старухи.

Скоро забудут про этот обычай. И сейчас-то он не во всем селе, а только в церковном конце сохраняется.

Год миновал со дня смерти хозяина — свекора.

«Надо поминки наладить»,—запала дума снохе. А поминки—известно какие в годовщину смерти, да притом по хозяину дома. Затопила баню курную, распарила шелк веников банных, разнес ветер по курмышу запахи рощи березовой...

Кумекают соседки: не в урочный час и день затопилася баня... Не субботний вечер, а всего только утро четверга.

— Кто-нибудь разрешился от бремени, иль поминки готовятся, — решили чуткие бабьи носы.

А немного погодя идет по дворам Матрена, Михайлова жена, старух позывает:

— Попарьте, погрейте суставы, помяните за упокой раба божия Фрола.

Рады старухи кости погреть, налезло в баню — пошевелиться нельзя, шипит каменка, хлещет веник дряблые телеса... Разомлели старухи, а хозяйка у печки с квашней хлопочет... На славу подошли блины, можно печку растоплять, сейчас и старухи из бани приплетутся...

— Ну, и баня, ну, и жаркая, сразу видно, что сердце у хозяйки горячее, царство небесное рабу божию Фролу, убереги его, господи, от лютого огня адского, сподоби его блаженства райского, как нас сподобил утехи банной, привета хозяйского ласкового.

Растаяли от счастья парные старухи, расселись по скамейкам... А дрова в печке полыхают, а хозяйка стол накрывает. В чашке большой — молоко кислое, янтарное масло в махотке, сметана поджаренная в плошках.

Зашипел помазок по сковородкам, ударил в носы запах чудесный, слюни вот-вот брызнут.

Уселись старухи: кто постарше — в середку, помоложе — шестидесятилетние — к краю поближе.

Подает хозяин первую стопку, снова царство небесное покойнику, а потом похвалы хозяйке за блины духмяные, как пуховые подушки пухлые...

— Не житье тебе, Михаил Фролович, с мастерицей такой, а масляница сплошная...

Счет позабыл хозяин стопкам блинным, заморили червяка поминальницы, не удержать языки от благодушных воспоминаний... Зачала первой Авдотья свой рассказ диковинный...

— Уж так-то мы слюбились с Миколаем, думали — часу друг без друга не проживем, а отец заартачился: «Думать страшися, подлюка»...

Что делать? Сохну я от тоски, и Миколя мой желанный зачиврел от горя. На исповеди батюшка спрашивает у него: «Какие мысли тебя угнетают, не таись, покайся перед святым аналоем»...

— Любови моей воспрепятствуют, Дуню любить не велят...

Царство небесное батюшке, вразумил обвенчаться тайно, без воли родительской, — если, говорит, будут проклятья от родителя, мы святою молитвою силу их в прах рассыплем...

Сговорились мы с Миколей, как на речке встретились, — я за водой ходила, он — лошадей поил. К вечеру в сумерки повенчаться приготовились, а отцу словно бес наши мысли внушил — не отлучается из дому ни на шаг. Смекнула я. Любил отец попариться в бане, вот и подцепила его на банные сладости. А трубу закрыла пораньше, что с угарцем. Три веника приготовила — парься в бане в свое удовольствие...

Только он в баню — я в церковь, а там уж меня дожидаются поп и Миколя. Дверь на крючок, лоб расшибешь, не отворишь. Дома хватились... Матери у нас не было, сестренка к бане побежала, стучит в дверь, кричит,

подлая: «Батя, батя, Дунька венчаться ушла». Отец как услыхал, так аж с полка брякнулся, расшибся досиня, ищет в потемках рубаху с портками, суется в разные углы — словно в пропасть сгинули. Совсем позабыл, что над каменкой их для зажарева повесил.

Мешкать не время, да и пора летняя, теплая. Выскочил в чем мать родила на площадь, а тут как раз овечье стадо пригнали... Овцы и так пугливые, а как голого увидели, шарахнулись в разные стороны...

Мужики хохочут, девки отворачиваются, мальчишки за следом бегут. Стучит батя в дверь, а поп уж кончает. Выходим из церкви, батя на нас наступает: «Башки оторву»... А поп ему: «Сначала уд свой прикрой, срамник». Старуха одна сжалилась над батей, портки принесла, надел он их при всем народе, обняли мы его,—Миколя справа, а я слева, идем, смеемся...— Обдурили старика, — плачет батя.

— Какой ты старик, тятяша, — говорит ему Миколя, — ты в самом соку, гляди, какую подцепишь...

И правда, году не прошло, — женился отец. Нас с Миколей на свадьбу позвал, а до тех пор и слушать про нас не хотел...

Еще что-то хотела Авдотья сказать, да подали на стол блины горячие...

— После доскажешь, родная... Царство небесное рабу божию Фролу...

И снова зажевали старухи, а к вечеру будут сказки рассказывать, духовные стихи распевать, как будто нет на стене отрывного календаря с портретом Ленина, как будто не было никогда ни Февраля, ни Октября.

О кнуте, дубинке и прочем...

Познакомился я недавно с одним рабочим с суконной ткацкой фабрики... Двадцатилетний стаж у рабочего, в должности подмастерья — пятый год, больше ста с лишним рублей в месяц получает, партийный... А как выпил немного, разоткровенничался...

— Ты знаешь, ведь я кулачок... Да... До семнадцатого года у меня семьдесят тысяч было... В голод прожил все... Ну, а все-таки и сейчас, как приеду в деревню — все ко мне с нижайшим почтением... Дом у меня — дворец, а народу — жена да работница. Братья тоже все подмастерья, тоже все коммунисты и кулачки...

Улыбнулся рабочий и в грудь ударил с достоинством.

Борода у рабочего окладистая, волосы вьющиеся, на лице — такая сытость и довольство, прямо трудно поверить, что это не старшина прежнего времени...

— Вот, видно, нравится вам кулачками-то себя чувствовать?

— Как же... Как-то, знаете, радостно сознавать себя ни от кого не зависящим.

— Как же в вашей голове совмещается кулацкое с коммунистическим?

— Э... чего греха таить... Коммунист я липовый, бумажный...

— А братья?

— И братья тоже...

— И никто не замечает, что вы коммунисты не настоящие?

— Нет.. Да и заметить трудно. Мы ведь на собраниях другую линию гнем... Без этого нельзя.

— Зачем же вы все-таки в партию пошли?

— Для спокойствия...

Дальше не мог говорить рабочий... Хмель повалила его со стула.

Если рабочий с двадцатилетним стажем записался в партию для «спокойствия», то мой деревенский сосед и ровесник Ш. пошел в партию в семнадцатом году совсем не для этого. «Для окончательного ниспровержения эксплоататоров и для скорейшего расцветания социализма» сделался большевиком мой деревенский сосед... Но за восемь лет он не сделал карьеры, не продвинулся даже от села до волости... Работает себе тихонько, без шума, имеет партийный билет, получил, как бедный (и как партиец, конечно) — лошадь на льготных условиях и живет себе поживает... Брата убедил в комсомол записаться. А вот этой осенью вдруг заявляет:

— Колька, причешись, сейчас сватать за тебя пойду...

— Не хочу я жениться...

— На твое нехотенье я плевать хочу, а все-таки сопли утри, можа, гости придут...

— Жени вон кобеля нашего...

— Ах ты, стервец!

Схватил коммунист кнут, сцапал комсомольца, и давай социальные идеи в брата вколачивать... Взревел комсомолец:

— Согласен... Только на Леле...

— Вишь чего выдумал... Леле твоей срамоту нечем прикрыть... безрубашница, бесподставница, прямо на тело культурную платью напяливает. Думать не моги о Леле... Что это за девка... без роду, без племени... Шентрапа приютская...

Женили комсомольца на нелюбимой девице, в церкви повенчали, но и церковные узы непрочными оказались... На третью неделю прогнал комсомолец молодушку постылую, Лелю приютскую к себе поманил, а за это брат-коммунист выбросил на улицу шапчонку комсомольцеву, пиджачишка, вдоль улицы руку протянул и сказал:

— Иди так, хочешь поперек иди, или на все четыре стороны ступай, только ко мне не заявляйся...

Обнялась под руку любящая пара, идут, а в окна бабы и девки льнут, головами качают:

— Смотрите, смотрите, платье-то по колено... Ха-ха-ха...

Комсомолец найдет управу над братом-коммунистом... но все-таки очень горько, что это факт, а не выдумка.

В нардоме ни окон, ни дверей, ни стульев, но раз есть нардом, значит надо пьесы разыгрывать. Собрала учительница молодежь, начались репетиции... Ничего, хорошо, старательно к делу отнеслась молодежь. За неделю о спектакле об'явили. И об'являть не нужно было — о таком событии весть в двадцать соседних деревень в один день разлетается.

Собрался народ, ждут с нетерпением начала... Раза четыре в заслонку звонили, а занавеску все не отодвигают. А тут вдруг переполох:

— Уполномоченный из ВИК'а приехал.

Екнули сердца у артистов...

Входит русый, курчавый человек без усов и бороды, ноги колесом, улыбается, в руках дубинку держит, словно жезл какой.

— Меня дожидались?

— Да, уж раз пять звонили...

— Ну, разрешаю еще раз позвонить и можно начинать...

Зазвенела заслонка. Облапил человек с одного края занавеску из дерюги, хотел к стене сдвинуть, а уполномоченный кричит:

— Приостановить сдвигание занавески...

— Почему это? — взбесилась публика.

— Стул прошу принести. Если вы в стоячку не протестуете, то я вам не мальчик...

— Фу ты, напасть какая... и до чего эти красные начальники избаловались...

Побежали за стулом для уполномоченного,—в одном доме нет, в другом сломанный, в третьем некрашеный... Половину деревни обегали, покуда крашеный бордовой краской нашли и со спинкою. Поставил уполномоченный стул против сцены, сел, жезл в правой руке держит, а все остальные — девки и парни, старики и дети — стоят, на цыпочки тянутся.

— Можно, — разрешило начальство.

А по пьесе полагалось одному из артистов склониться до начала головой над столом, пьяного изобразить.

Открылся занавес, будит старик-отец пьяного сына. Поднял голову сын, да как захохочет... Репетиции-то без грима проводили, а тут гляди — восемнадцатилетний товарищ в седого старика превратился...

— А ты перестань, чего ржешь, говори, что тебе из будочки подшептывают, — внушает уполномоченный смешливому артисту.

Наклонился артист, думал, смех пройдет, поднял голову — не удержаться...

Не утерпел уполномоченный, к сцене подошел, и жезлом артиста по лбу:

— Тут народ собрался, а он надрывается, как жеребец... Предписываю замолчать...

Но бывает такой смех, на который не действуют никакие угрозы, никакие уговоры... Насмеется все тело, само, без приказаний остановится.

Засмеялась публика, а начальство ворчит:

— Вы чему обрадовались?

Смеются артисты, покатывается народ.

— Я вижу, тут решительные меры надо принять...

Залез на сцену уполномоченный, стул посреди сцены поставил, руки растопырил и сказал: ш-ш-ш...

Подействовало. А может быть, просто смех весь испарился... Только недоумевают артисты: как же им представлять, когда на сцене постороннее лицо расселось...

— Ничего, ничего, начинайте, я вам не помешаю, места хватит, так-то лучше, дисциплина вас будет удерживать...

Весь спектакль просидел уполномоченный на сцене... Когда кто сбивался, он журил:

— Ай не слышишь сухлера?

На улыбающихся он шикал и поднимал дубинку.

После спектакля публика аплодировала Артисты не знали, что делать во время излияния восторгов публики, а уполномоченный встал со стула и поклонился. Человек он образованный, знает, где что полагается.

Люди в колодце.

Три года он был грозою на всю округу и звали его потихоньку — «Ванька-царь».

До революции мясом торговал. В первые годы после Октября был председателем Исполкома и вождем коммунистической партии в большом районе С. губернии.

Три года свирепствовал красный террор в районе, три года все ходили на цыпочках, взгляда Ваньки-царя, как выстрела, боялись.

Соседство с казачьими станицами много бедствий приносило населению. Прискачет ночью казачий отряд, — утром учиняется расправа, ищут виновников казачьего набега, ведут со всех концов села в подвал Исполкома сообщников, врагов Советской власти...

Учительствовал я в том селе... К детскому спектаклю готовилась наша школа. Небывалый для села спектакль собирались поставить. Когда врач приходил на репетиции, то от умиления перед замечательной игрой детей, от восторга перед усердной работой над многочисленными фантастическими костюмами он утирал радостные слезы...

— Ведь это настоящее искусство, это художественный театр, это лучше «Синей птицы»...

И вот день спектакля. Перевезена бутафория и костюмы в здание клуба-кинематографа, толпятся дети возле дверей, ждут...

И вдруг весть:

— Посажено в подвал сто человек, среди них две учительницы и много родителей, участников спектакля.

Что делать? Отложить спектакль, или играть?

Большинством голосов решили играть. На сцене шла детская феерия, а в это время за селом, на консервной фабрике трагедия исполнялась.

По настоянию Ваньки-царя семнадцать самых тяжких преступников подвергались ужасной казни. Одного за другим бросали их живыми в колодезь, а сверху пристреливали из нагана... Разбирать было некогда, убит преступник, или нет... На первого бросали второго, и снова выстрел... Дикие стоны обреченных живых, ожидающих своей очереди, оглашали фабричный двор... Корчились в колодце не пристреленные на-смерть. Семнадцать человек одного за другим побросали в колодезь, в уровень со срубом поднималась трупная масса... Засыпали слегка снежком и ушли...

Исчезло семнадцать человек.

Наводят справки родственники, сообщают им:

— В уездный город отвезли.

А в уездном говорят:

— В губернский отправили.

Не могут найти следов исчезнувших, а весной, когда снег растаял, страшная весть по селу разлетелась:

— Пропавшие в фабричном колодце лежат.

Растерзать Ваньку-царя приготовилось население... И растерзало бы, если б удалось из колодца все трупы извлечь на показ народу.

Отдал приказ Ванька:

— Взорвать динамитом колодезь.

И вот теперь этот Ванька уже не Ванька-царь, а торговец — Иван Петрович, в гости к батюшке ходит, в церкви молебны служит, раз пять исповедывался перед аналоем в тяжком своем преступлении...

Успокоил батюшка Ивана Петровича:

— Великую силу молитва имеет, нет конца милости господней... Не скупитесь на жертвы, Иван Петрович.

А что ж ему скупиться, когда торговля бойко идет, барыши ежечасно в карманы текут?

Материалы к характеристике Сергея Есенина.

(Из архива поэта Ширяевца).

Д. Благой.

Покойных поэтов Александра Ширяевца и Сергея Есенина соединяли крепкие и прочные дружеские отношения. Правда, жизнь ставила их дружбе довольно тесные пределы: Ширяевец только незадолго до смерти перебрался из Ташкента, где он постоянно жил, в Москву, —до того их сношения ограничивались нечастыми встречами во время поездок Есенина «в Азию», да столь же редкими письменными взаимными приветами.

Зато внезапная смерть Ширяевца, скончавшегося в Москве 15 мая 1924 г., была пережита Есениным, как потеря одного из самых дорогих ему друзей; могила Ширяевца на Ваганьковском кладбище становится местом постоянных паломничеств Есенина, вдруг, нередко среди ночи, собиравшего наиболее близких ему людей — ехать «к Ширяевцу», предметом его постоянных огорчений. Совсем незадолго до смерти, словно предчувствуя, что скоро подле безымянного «ссутулившегося» крестика Ширяевца ляжет зеленая горка венков над его собственным прахом, он горько и гневно сетовал на недостаточную, как ему казалось, заботливость и внимание друзей и писательских организаций вообще к могиле Ширяевца, на которой, действительно, и по сию пору нет даже указующей памятной надписи.

В архиве Ширяевца, после его смерти поступившем в Литературный Музей Дома Герцена при Всероссийском Союзе Писателей, сохранились некоторые следы дружбы обоих поэтов. Следы эти немногочисленны, но зато связаны почти со всеми основными вехами жизненного и творческого пути Есенина и представляют подчас исключительный интерес для характеристики его, как человека и писателя.

Самый ранний, сюда относящийся, документ принадлежит к первому «петербургскому» периоду литературной деятельности Есенина. Есенин примыкал тогда к кружку Иванова-Разумника, «Скифов», благоговел перед Блоком, считал своим «старшим братом» Клюева. Члены кружка, в свою очередь, возлагали на него особые упования, рассматривали его в качестве будущего главы наметившейся к тому времени школы «народной», «крестьянской» поэзии, по словам Иванова-Разумника, впервые «открывающей нам подлинные глубины духа народного».

Этот период отмечен в архиве Ширяевца коллективным открытым письмом, отправленным ему в 1917 году из Петрограда четырьмя «крестьянскими» поэтами — Есениным, Клюевым, Клычковым и Пименом Карповым. Письмо, как это видно по почтовому штемпелю, послано 30 марта, т.-е. перед пасхой и как раз через месяц после свержения самодержавия. Обе эти даты в настроении пишущих явно сливаются, что, впрочем, так характерно для восприятия революции известной частью нашей интеллигенции: вспомним поэму о революции Андрея Белого «Христос воскресе» и огромное множество «революционных стихотворений» того времени, где к революции прилагаются все образы и термины христианской символики.

Письмо вклеено Ширяевцем в особый альбом автографов. Текст его таков:

(Рукой Есенина).

Христос Воскресе! дорогой наш Брат Александр. Кланяются тебе совместно любящие тебя Есенин, Клюев, Клычков и Пимен Карпов.

(Рукой Клюева).

Христос Воскресе, дорогая Запевка [1]), целую тебя в сахарные уста и кланяюсь низко.

Н. Клюев.

(Рукой Есенина).

С красным звоном [2]) дорогой баюн Жегулей и Волги. Цвети крепче.

Сергей Есенин.

(Рукой П. Карпова).

Пимен Карпов — привет!

В 1921 году Есенин заезжал в Ташкент, где и видался с Ширяевцем. К этому времени он уже был имажинистом, «знаменитым поэтом», как он сам любил называть себя в своих тогдашних стихах. «Крестьянские поэты», со своей стороны, рассматривали его отрыв в имажинизм, как своего рода отступничество (вспомним гневные отповеди имажинистам в стихах Клюева, Орешина). У «крестьянского поэта» Ширяевца и у «имажиниста» Есенина во время этой их встречи, конечно, не могли не возникнуть разговоры на темы нового Есенинского пути. Явным следом таких разговоров и столь же явным утверждением со стороны Есенина этого его пути является отрывок из Пугачева, вписанный Есениным с некоторыми незначительными изменениями против печатного текста в упомянутый альбом автографов, имевшийся у Ширяевца,—отрывок, начинающийся словами: «знаешь, ведь я из простого рода...»

[1]) Ширяевец называл многие свои стихи «запевками», в 1916 году под этим названием вышел сборничек его «песен, стихов».

[2]) Несколько позднее, в 1918 г. вышел сборник стихов Есенина, Клюева, Орешина и Ширяевца под названием «Красный Звон».

и заканчивающийся характерной фразой: «я значенье свое разгадал...». Под отрывком подпись и дата: Азия 1921, 25 мая с обозначением: из поэмы Пугачов.

Но еще характернее и знаменательнее другой документ, имеющийся в архиве Ширяевца — большое письмо Есенина к Иванову-Разумнику. Письмо это — неоконченный с многочисленными помарками и исправлениями черновик без даты и каких-либо прямых указаний на время его написания. Однако по ряду косвенных признаков — ссылка на № 1 журнала «Дом Искусств», вышедший в свет весной 1921 года, первоначальные наброски на обороте последней страницы из того же Пугачова, написание которого датируется самим поэтом мартом — августом 1921 г., наконец, то, что неотправленное письмо было оставлено Есениным у Ширяевца,—можно почти с уверенностью отнести написание этого письма именно ко времени пребывания Есенина в Ташкенте весной 1921 г.

Это неотправленное письмо представляет собой первостепенной важности документ для понимания всей творческой эволюции Сергея Есенина. Как и написанный Есениным в 1918 г. теоретический трактат его «Ключи Марии», письмо отчетливо свидетельствует, что имажинизм в Есенине не был только чем-то наносным, извне навеянным, что в поэтике имажинизма один из крупнейших наших поэтов стремился осознать и развернуть свой неясный, сумеречно брезживший ему самому творческий путь, утолить глубокие внутренние потребности своего поэтического гения. «Я очень много думал за эти годы, — пишет он в приводимом нами письме, — очень много работал над собой, и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано».

И со стороны Есенина это не было пустой фразой. В неопубликованных дневниках Блока имеется замечательная запись о посещении его Есениным в 1918 году. Записанные Блоком отзывы Есенина о Клюеве и мотивировка их почти совпадают с тем, что пишет он о нем же три года спустя в письме к Иванову-Разумнику. И не вина Есенина, а беда его, что практика его товарищей по имажинизму ни в какой мере не совпадала с его собственной «теорией поэтических напечатлений», с его учением об органической «фигуральности» нашего языка.

Помимо теоретических рассуждений Есенина, где на-ряду с блестящими творческими угадываниями совмещается решительная неосведомленность в самых элементарных вещах из области современного языкознания (например, фантастическое словопроизводство: синица от синеется и т. п.), письмо, при чтении которого, конечно, не должно забывать, что это — неотделанный черновик, интересно рядом высказываний о современных писателях и литераторах. Замечательно письмо Есенина и тем избытком сил, той уверенностью в себе молодости, чувствующей, что ей принадлежит будущее, которая заставляет его восклицать: «Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов».

Мы приводим письмо, как оно есть, со всеми, за исключением знаков препинания, которые в подлиннике почти отсутствуют, особенностями его орфографии. Зачеркнутое Есениным взято нами в скобки.

Дорогой Разумник Васильевич!

Я послал вам письмо, книги, еще письмо, ждал от вас хоть какого-нибудь ответа и не получил его, и мне кажется, что вы на что-то, повидимому, (вы) обиделись (за Клюева за те несколько нетеплых слов моего мнения). Уж не за Клюева ли и (за) мое мнение о нем? (как о поэте) [1]), не за Блока ли? Я очень много думал, Разумник Васильевич, за эти годы, очень много работал над собой и то, что я говорю, у меня достаточно выстрадано. Я даже Вам в том письме не все сказал,—по-моему Клюев совсем стал плохой поэт так же как и Блок, (но этим) я не хочу этим Вам сказать, что они очень малы по своему внутреннему содержанию. Как раз нет. Блок, конечно, не гениальная фигура, а Клюев, как некогда пришибленный им, не сумел отойти от (того) его голандского (ро) романтизма [и оболгал русских мужиков в какой-то неприсущей им любви к женщине, к Китежу, к (рел) мистическ(ому)и-религиозному тяготению (в последние годы, конечно, по Штейнеру и по Андрею Белому) и (дал) показал любовь к родине (не) с какого-то неприсущего нам шовинизма: «Деду Киеву пошила алый Краковский жупан» (жупан знак вольности)], но все-таки они (зна) (кой что), конечно, значат (.) много. Пусть Блок по недарозумению (sic!) русский, а Клюев поет Россию по книжным летописям и ложной ее зарисовки (sic!) всех приходимцев (sic!) (на Русь) в этом, они, конечно, кое-что сделали. Сделали до некоторой степени даже оригинально. Я не люблю их, главным образом, как мастеров в нашем языке. (гла) Блок — поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет (н) почти никакой фигуральности нашего языка. У Клюева они очень мелкие («черница темь сядет с пяльцами под окошко шить златые воздухи» «зой ку-ку загозье гомон с гремью шаргунцами вешает на сучья» «туча ель, а солнце белка с раззолоченным хвостом» и т. д.), а Блок исключительно чувствует только простое слово по Гоголю, что «слово есть знак, которым человек человеку передает то, что им поймано в явлении внутреннем или внешнем». Дорогой Разумник Васильевич, 500, 600 корней (очен) хозяйство очень бедное, а ответвления (наш) словесных образов дело довольно скучное; (и) чтобы быть стихотворным мастером их нужно знать (чертовск) Дьявольски. (Я с) Ни Блок, ни Клюев этого не знают также как и вся (Ваша) Братия многочисленных поэтов.

Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин не (sic!) все мы, в том числе и я, не умели писать стихов.

Ведь стихи есть определенный вид словесной формы, где при лирическом, (или) эпическом или изобретательном выявлении себя художник делает некоторое звуковое притяжение одного слова к другому, т.-е. слова

[1]) Здесь еще одно слово зачеркнуто до неразборчивости.

(звучно) (по своему произношению) входят в одну и ту же произносительную орбиту (или боле) или более (близкую) или менее близкую. Но такие рифмы, какими переполнено все наше творчество:

Достать — стать
Пути — идт(ти)и
Голубица — скрыться
Чайница — молчальница
(Узни) и т. д. и т. д.

Ведь это же дикари только могут делать такие штуки. Положим, язык наш звучащих имеет всего 29 букв (и), а если разделить их на однородные типы, то и того меньше будет (раза в 4 но), но все же это не годится. Нужно (хоть) если не буквеню, то хоть по смысловому понятию (отделять), уметь отделять слова от одинаковости их значения (ведь в).

Поэтическое ухо должно быть тем магнитом, которое (sic!) (разнопоня) соединяет в звуковой одноудар по звучанию слова разных (смыслов) образных смыслов. Только тогда это и имеет значение. Но ведь «пошла — нашла» «ножка — дорожка» «снится — синится» (sic!) — это не рифмы.

Это (пр) грубейшая неграмотность, по которой сами же поэты не рифмуют (однако) «улетела — отлетела». Глагол с глаголом нельзя рифмовать уже по одному тому, что все глагольные окончания есть вид одинаковости словесного действия. Но ведь и все почти существительные в языке есть глаголы. Что такое (синица как не синеется) синица и откуда это слово взялось, как не от глагола синеется, голубица — голубеется и т. д. Я не хочу этим развивать или доказывать перед Вами мою (новую) теорию поэтических напечатлений. Нет! Я единственню Вам хочу указать на то, что я на поэта, помимо его внутренних импульсов, имею особый взгляд, по которому отказался от всяких чотких рифм и рифмую теперь слова только (тупо) обрывочно, коряво, легкокасательно, но разносмысленно в роде: почва—ворочается, куда — дал (сад) (с) (и) и т. д.

Так написан (ы) (мои) был (мой ок) отчасти мой «октоих» (и совсем) и полностью «Кобыльи корабли». Вот с этой, единственно только с этой точки зрения, я писал Вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. Ведь если мы пишем на русском языке, то мы должны знать, что до наших образов двойного зрения (был)

«Головы моей жолтый лист»
Солнце мерзнет, как лужа

были образы двойного чувствования (к)

Мария зажги снега и заиграй овражки
Авдотья подмочи порог...

эти образы календарного стиля, которые создал наш Великоросс из той двойной жизни, когда он перепевал свои дни двояко, церковно и бытом.

Мария — это церковный день святой Марии, а зажги снега и заиграй овражки — бытовой день — день таяния снега, когда журчат ручьи в овраге. Но это понимают только немногие, в России это близко только Андрею Белому. Посмотрите (же) что пишет об этом Евг. Замятин в своей воробьиной скороговорке «Я боюсь» № 1 Дома Искусств.

Вероятно, по внушению Алексея Михайловича [1]) он вместе с носом Чуковского, который ходит, заложив ноздри в карман, хвалит там Маяковского (который), лишонного всяческого чутья слова. У него ведь почти не (sic!) одной нет рифмы с русским лицом, это — помеси негра с малоросской. (гипербола — теперь была, лилась струя — Австрия). Передайте Евгению Ивановичу [2]), что он не поэта, а «Барыбу увидеть изволили-с». Думаю, что во всем виноват тут (опять) Ремизов. О, он хитрая Бестия этот Ремизов. Недаром у него, как у Алжирского Бея под носом (шишк) Вячеслав Шишка [3]).

Простите еще раз, Разумник Васильевич, если как-нибудь приношу Вам огорчение. (Разлюбил) Не люблю я скифоф (sic!), неумеющих владеть луком и загадками их языка. Когда они посылали своим врагам (ст) птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию нужен был целый синедрион толкователей (когда они ему приподнесли такой подарок). Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким. Я его хорошо изучил, обломал и потому так спокойно и радостно называю себя и моих товарищей «имажинистами». Помните, я Вам кой-что (в эт) об этом говорил еще на Галерной 40? и даже в поэме «Сельский Часослов» назвал это мое брожение «Израмистил»: тогда мне казалось, что это мистическое изографство. Теперь я просто говорю, что это эпоха двойного зрения, оправданная двойным слухом моих отцов, создавших «Слово о полку Игореви» и такие строчки, как:

На оболони телегы скрыпать
Рцы лебеди распужени

Дело не в имажинизме, которое (sic!) притянула к нам З. Венгерова в сборнике «Стрелец» 1915 г.[4]), а мы взяли да немного его изменили. Дело в моем осознании, преображении мира посредством этих образов, вспомните:

«Как яйцо нам сбросит слово
С проклевавшимся птенцом...

Тогда это была Тоска (и молитва) «Господи отелись» (т) с желани(ем) той зари, которая задирает хвост коровой, а теперь...

На этом письмо Есенина обрывается. «Баюна Волги и Жегулей», Ширяевца, едва ли могло убедить в правде имажанизма это неотправленное

[1]) Ремизова.

[2]) Замятину.

[3]) Вячеслав Шишков.

[4]) З. Венгерова напечатала в «Стрельце» статью «Английские футуристы», в которой указала, что новейшие английские поэты называют себя имажинистами, — слово, подсказавшее Мариенгофу и Шершеневичу название и их школы.

по адресу письмо Есенина, которое тот, видимо, и оставил-то ему в качестве ключа к разрешению их споров. Но в искренности и серьезности творческих исканий Есенина вряд ли также после этого письма он мог ему отказать. Во всяком случае, литературное расхождение Есенина и Ширяевца не омрачило их взаимной симпатии. Об этом свидетельствуют те дружеские надписи, которые сделал тогда же Есенин на подаренных ему своих книгах: на «Радунице» — Ширяевцу Есенин 1921 и на «Треряднице» — Шурке милому С. Есенин Ташкент 25 май 1921.

В 1923 году Ширяевец переехал в Москву, через некоторое время вернулся в Москву из своего путешествия по Америке и Европе и Есенин. К этому периоду — периоду Москвы кабацкой — относится самая выразительная надпись, сделанная Ширяевцу Есениным на экземпляре — Исповеди Хулигана:

Александру Васильевичу Ширяевцу
с любовью и расположением.

С. Есенин.

Я никогда не любил Китежа
и не боялся его, нет его и
не было так же как и
тебя и Клюева.
Жив только русский ум,
его я люблю, его кормлю
в себе, поэтому ничто
мне не страшно и не город
меня с'ест, а я его проглочу.

(по поводу некоторых замечаний о моей гибели).

Для нас теперь, после гибели Есенина, эта надпись приобретает, конечно, совсем особенное значение. Но насколько в то время друзья Есенина, даже предупреждая его о «гибели», были далеки от мысли о возможности для него рокового конца, верили в его жизненную силу, показывает нижеследующая выдержка из одного частного письма Ширяевца, датированного 4 апреля 1924 г.:

«Дня три тому назад на Арбате столкнулся с Есениным. Пошли, конечно, в пивную, слушали гармонистов и отдавались лирическим излияниям. Жизнерадостен, как всегда, хочет на лето ехать в деревню, написал много новых вещей».

Это последнее упоминание об Есенине в архиве Ширяевца. Через месяц с небольшим после этого письма умер Ширяевец, через полтора года не стало и «жизнерадостного» Есенина.

Памяти о Есенине.

(Из воспоминаний).

А. Воронский.

I.

Осенью 1923 года в редакционную комнату «Красной Нови» вошел сухощавый, стройный, немного выше среднего роста, человек лет 26—27. На нем был совершенно свежий серый, тонкого английского сукна, костюм, сидевший как-то удивительно приятно. Перекинутое через руку пальто блестело подкладкой. Вошедший неторопливо огляделся, поставил в угол палку со слоновым набалдашником и, стягивая перчатки, сказал тихим, приглушенным голосом:

— Сергей Есенин. Пришел познакомиться.

Хозяйственный и культурный под'ем тогда еле-еле намечался. Люди еще не успели почиститься и приодеться. Поэтам и художникам жилось совсем туго, как, впрочем, живется многим и теперь, и потому весь внешний вид Есенина производил необычайное и непривычное впечатление. И тогда же отметилось: правильное, с мягким овалом, простое и тихое его лицо освещалось спокойными, но твердыми голубыми глазами, а волосы невольно заставляли вспоминать о нашем поле, о соломе и ржи. Но они были завиты, а на щеках слишком открыто был наложен, как я потом убедился, обильный слой белил, веки же припухли, бирюза глаз была замутнена и оправа их сомнительна. Образ сразу раздвоился: сквозь фатоватую внешность городского уличного повесы и фланёра проступал простой, задумчивый, склонный к печали и грусти, хорошо знакомый облик русского человека средней нашей полосы. И главное: один облик подчеркивал несхожесть и неправдоподобие своего сочетания с другим, словно кто-то насильственно и механически соединил их, непонятно зачем и к чему. Таким Есенин и остался для меня до конца дней своих не только по внешности, но и в остальном.

Есенин рассказал, что он недавно возвратился из-за границы, побывал в Берлине, в Париже и за океаном, но когда я стал допытываться, что же он видел и вынес оттуда, то скоро убедился, что делиться своими впечатлениями он или не хочет, или не умеет, или ему не о чем говорить. Он отвечал на расспросы односложно и как бы неохотно. Ему за границей не понравилось, в Париже в ресторане его избили русские белогвардейцы, он потерял тогда

цилиндр и перчатки, в Берлине были скандалы, в Америке тоже. Да, он выпивал от скуки, — почти ничего не писал, не было настроения. Встречаясь с ним часто позже, я тщетно пытался узнать о мыслях и чувствах, навеянных пребыванием за рубежом: больше того, что услыхал я от него в первый день нашего знакомства, он ничего не сообщил и потом. Фельетон его, помещенный, кажется, в «Известиях», на эту тему, был бледен и написан нехотя. Думаю, что это происходило от скрытности поэта.

Тогда же запомнилась его улыбка. Он то-и-дело улыбался. Улыбка его была мягкая, блуждающая, неопределенная, рассеянная, «лунная».

Казался он вежливым, смиренным, спокойным, рассудительным и проникновенно тихим. Говорил Есенин мало, больше слушал и соглашался. Я не заметил в нем никакой рисовки, но в его обличьи теплилось подчиняющее обаяние, покоряющее и покорное, согласное и упорное, размягченное и твердое.

Прощаясь, он заметил:

— Будем работать и дружить. Но имейте в виду: я знаю — вы коммунист. Я — тоже за Советскую власть, но я люблю Русь. Я — по-своему. Намордник я не позволю надеть на себя и под дудочку петь не буду. Это не выйдет.

Он сказал это улыбаясь, полушутя, полусерьезно.

Еще от первого знакомства осталось удивление: о нетрезвых выходках и скандалах Есенина уже тогда наслышано было много. И представлялось непонятным и неправдоподобным: как мог не только буйствовать и скандалить, но и сказать какое-либо неприветливое, жесткое слово этот обходительный, скромный и почти застенчивый человек!

Недели через две я принимал участие в одной писательской вечеринке, когда появился Есенин. Он пришел, окруженный ватагой молодых поэтов и случайно приставших к нему людей. Он был пьян, и первое, что от него услыхали, была ругань последними, отборными словами. Он задирал, буянил, через несколько минут с кем-то подрался, кричал, что он — лучший в России поэт, что все остальные — бездарности и тупицы, что ему нет цены. Он был несносен и трудно становилось терпеть, что он делал и говорил. Он оскорблял первых подвернувшихся под руку, кривлялся, передразнивал, бил посуду. Вечер был сорван. Писатель, читавший свой рассказ, свернул рукопись и безнадежно махнул рукой. Сразу обнаружилось много пьяных, как будто Есенин с собой принес и гам и угар. Кое-кто поспешил одеться и уйти. Тщетно пытались выпроводить Есенина. Но кто-то предложил уговорить поэта читать стихи. Есенин с готовностью взобрался на стул, произнес сначала заносчивую, бессвязную, бахвальскую «речь», а потом начал читать «Москву кабацкую». Он читал на-память, покачиваясь, осипшим и охрипшим от перепоя голосом, скандируя и растягивая по-пьяному слова. Но это было мастерское чтение. Есенин был одним из лучших декламаторов в России. Чтение шло от самого естества, надрыв был от сердца, он умел выделять и

подчеркивать ударное и держал слушателей в напряжении. Больше же всего поражало на том вечере, что он вопреки своему состоянию ничего не забыл не спутался, не запнулся. Память ни разу не изменила ему. Неоднократно я убеждался и позже в последующие годы, что стихи он мог читать в самом нетрезвом состоянии почти всегда без запинок и заминок. Только в самые последние месяцы, незадолго до конца, он как будто стал сдавать. Но, может быть, это происходило оттого, что читал он еще не вполне отделанные вещи

Окончив чтение, Есенин снова забуянил.

Пил он еще дня два. За это время к обычным протоколам милиции прибавился новый.

Морозной зимней ночью, кажется, у «Стойла Пегаса» на Тверской, я увидал его вылезающим из саней. На нем был цилиндр и пушкинская крылатка, свисающая с плеч почти до земли. Она расползалась, и Есенин старательно закутывался в нее. Он был еще трезв. Пораженный необыкновенным одеянием, я спросил:

— Сергей Александрович, что все это означает и зачем такой маскарад?

Он улыбнулся рассеянной, немного озорной улыбкой, просто и наивно ответил:

— Хочу походить на Пушкина, лучшего поэта в мире, — и, расплатившись с извозчиком, прибавил, — очень мне скучно.

Он показался мне капризным и обиженным ребенком.

Любимым прозаиком его был Гоголь. Гоголя он ставил выше всех, выше Толстого, о котором отзывался сдержанно. Увидев однажды у меня в руках «Мертвые души», он спросил:

— Хотите, прочту вам место, которое я больше всего люблю у Гоголя,— и прочитал наизусть начало 6-й главы I части.

Напомню главу в отрывке и с пропусками:

— Прежде, давно, в лета моей юности, в лета невозвратного мелькнувшего моего детства, мне было весело под'езжать в первый раз к незнакомому месту: все равно, была ли то деревушка, бедный уездный городишка, село ли, слободка, — любопытного много открывал в нем детский любопытный взгляд. Всякое строение, все, что носило только на себе напечатление какой-нибудь заметной особенности, все останавливало меня и поражало...

... Теперь равнодушно под'езжаю ко всякой незнакомой деревне и равнодушно гляжу на ее пошлую наружность; моему охлажденному взору неприютно, мне не смешно, и то, что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои неподвижные уста. О, моя юность! о, моя свежесть!..

Эти слова из Гоголя, думается, могли бы служить лучшим эпиграфом ко всему написанному Есениным.

Очень ценил он Клюева и считал себя его учеником. Из молодых прозаиков я удержал в памяти высокую оценку вещей Всеволода Иванова. Как будто больше всего ему у него нравилось «Дитё» и «Цветные ветра».

Иронически Есенин рассказывал о Гиппиус и Мережковском. В первые годы своей поэтической деятельности он посещал их литературные вечера.

— Попал я как-то к ним на вечер в валенках. Ко мне подошла Гиппиус и спросила:

— Вы, кажется, в новых гетрах?

— Нет, это—простые деревенские валенки...—знала, ведь, что на мне валенки...

О технике в поэзии Есенин отзывался в последние годы неодобрительно и враждебно:

— Знаем мы все эти штуки. Они думают, что все эти формальные приемы и ухищрения нам неизвестны. Не меньше их понимаем и в свое время обучились достаточно всему этому. Писать надобно как можно проще. Это трудней.

Его «простое» мастерство было высоким. Поэтический лексикон Есенина с первого взгляда незатейлив и даже беден, но проследите, что он делает в своих стихах с черемухой, с садом, с березкой: они у него всегда наши, родные и всегда выглядят по-иному. Даже избитое, шаблонное и трафаретное освежалось у него напором чувств и подкупающей искренностью.

Ранней весной 1925 года мы встретились в Баку. Есенин собирался в Персию: ему хотелось посмотреть сады Шираза и подышать воздухом, каким дышал Саади. Вид у Есенина был совсем не московский: по дороге в Баку, в вагоне у него украли верхнее платье, и он ходил в обтрепанном с чужих плеч пальтишке. Ботинки были неуклюжие, длинные, нечищенные, может быть, тоже с чужих ног. Он уже не завивался и не пудрился. Друзей, бережно и любовно относившихся к нему, у него было довольно. Жил он у тов. Чагина, следившего за его лечением, но показался в те дни одиноким, заброшенным, случайным гостем, неведомо зачем и почему очутившемся в этом городе нефти, копоти и пыли, словно ему было все равно куда приткнуться и причалить.

Мы расстались на набережной. Небо было свинцовое. С моря дул резкий и холодный ветер, поднимая над городом едкую пыль. Немотно, как древний страж веков, стояла Девичья башня. Море скалилось, показывая белые клыки, и гул прибоя был бездушен и неприютен. Есенин стоял, рассеянно улыбался и мял в руках шляпу. Пальтишко распахнулось и неуклюже свисало, веки были воспалены. Он простудился, кашлял, говорил надсадным шопотом и запахивал то-и-дело шею черным шарфом. Вся фигура его казалась обреченной и совсем ненужной здесь. Впервые я остро почувствовал, что жить ему недолго и что он догорает.

На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошел и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Все лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.

— У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались одни лишь стихи. Я все отдал им, понимаешь, все. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это отступилось от меня.

Он плакал больше часа.

«Пусть вся жизнь за песню продана», — это из последних его стихов.

Озорное в нем было. Только в обычном, т. е. в трезвом, состоянии оно походило на остроумную шутку. Рассказывают, что совсем незадолго до своей смерти он навестил своего старого приятеля. Заметив теплющуюся перед иконами лампадку, он вынул папиросу и, не найдя спичек, попросил разрешения прикурить от «божьего огонька». Хозяин предложил ему этого не делать и ушел зачем-то в другую комнату, возможно, за спичками. Есенин поднялся, прикурил от лампадки, а потом попросил своего знакомого, с которым пришел, потушить ее:

— Вот, увидишь — не заметит, честное слово. Это он так, задается.

Приятель возвратился и в самом деле не заметил, что лампадка потушена.

В одно из более ранних посещений он принес ему же в подарок... живого петуха.

Иногда он говаривал по поводу своих заграничных скандалов: «Ну, да, скандалил, но ведь я скандалил хорошо, я за русскую революцию скандалил». И повторял рассказ о том, как в Берлине на вечере белых писателей он требовал «Интернационал», а в Париже стал издеваться над врангелевцами и деникинцами, в отставке ставшими ресторанными «шестерками». И там и здесь его били.

Некоторые шутки его в последнее время были странны и непонятны. Явившись как-то ко мне навеселе, он принес с собой пачку коробок со спичками, бросил их на стол и сказал, улыбаясь:

— Иду и думаю: чего бы купить в подарок. Понимаешь, оказывается воскресенье, все закрыто. Вот нашел на лотке только спички, бери — пригодятся. Или лучше: отдай своей дочурке, пусть поиграет.

Есенин был дальновиден и умен. Он никогда не был таким наивным ни в вопросах политической борьбы, ни в вопросах художественной жизни, каким он представлялся иным простакам. Он умел ориентироваться, схватывать нужное, он умел обобщать и делать выводы. И он был сметлив и смотрел гораздо дальше других своих поэтических сверстников. Он взвешивал и рассчитывал. Он легко добился успеха и признания не только благодаря своему мощному таланту, но и благодаря своему уму.

О нашем «мужичке» он иногда говорил с хитрецой и с намеками: не так, мол, просто, товарищи-коммунисты: около мужичка вам придется попыхтеть да попыхтеть, не все у вас с ним благополучно. Возвратившись

из родной деревни, он жаловался, что город обижает деревню: за сапоги и несколько аршин мануфактуры и за налоги идет весь урожай. Обижают крестьян и местные власти. Он собирался итти к М. И. Калинину искать заступы. Но основное впечатление было иное: после этой поездки Есенин некоторое время ходил притихший и как-будто потерявший что-то в родимых краях.

— Все новое и непохожее. Все очень странно.

Впрочем, об этом лучше рассказал сам поэт в своих стихах.

В последние два года Есенин все собирался поехать в деревню и как следует пожить там. Он знал, что болен, и казалось, что болезни своей он серьезно боялся. Он тосковал по простой и несложной жизни, по простым людским отношениям и простым вещам. Хорошо бы заняться житейским, обычным, каждодневным, явственным и ощутимым, чтобы был сад, липы, разговоры о сенокосе, об урожае, чтобы был вечер тихий и благостный. Или уехать куда-нибудь, в Ленинград, что ли, и зажить по-новому, работать регулярно, заняться журналом, романом, повестью, сидеть дома, изредка видеться с друзьями. У него был замысел — написать повесть в 8 — 10 листов. Тема — уличные мальчики, бездомные и беспризорные, дети-хулиганы. Однажды он показал мне несколько листков из этой повести, правда, было всего две-три страницы, но через некоторое время Есенин сознался, что «не пишется» и «не выходит».

Писатель Никитин сказал в личном разговоре: «Сережа жил в последнее время с зажмуренными глазами, зажмурившись, он пьянствовал и скандалил». Это очень верно и метко. Он часто жмурился, особенно в нетрезвом состоянии.

И я сам, опустясь головою,
З а л и в а ю глаза вином,
Чтоб н е в и д е т ь в лицо роковое,
Чтоб подумать на миг об ином.

Это «иное» было простое, интимное, личное, а кругом было сложное, запутанное, общественное и далекое. И он знал, что возврата нет. Когда его убеждали по-серьезному взяться за лечение, он с неизменной своей улыбкой ссылался на то, что вот ему нужно подготовить для Госиздата собрание своих сочинений и тогда он возьмется как следует за лечение. Потом оказалось, что никакой серьезной работы над этим собранием он не проделал. И в отговорки свои он едва ли верил.

Перед последним от'ездом в Ленинград я спрашивал его по телефону, зачем он едет туда, но внятного ответа не получил. Правда, он был нетрезв.

О самоубийстве со мной Есенин никогда не вел разговора. Я думал, что жить Есенину оставалось мало, но никогда не предполагал, что он может наложить на себя руки: он очень любил жизнь. Надо еще раз сказать, что Есенин был очень скрытен.

Несомненно, он болел манией преследования. Он боялся одиночества. И еще: передают — и это проверено, — что в гостинице «Англетерр», пред своей смертью, он боялся оставаться один в номере. По вечерам и ночью, прежде чем зайти в номер, он подолгу оставался и одиноко сидел в вестибюле. Но лучше об этом не думать, ибо кто знает, что скрывалось у Есенина за этой манией преследования и что это была за болезнь.

II.

Мы, критики, сплошь и рядом не умеем или еще не научились синтетически воссоздавать образ художника, поэта, писателя. Мы аналитически рассекаем цельное, неповторимое, индивидуальное на отдельные части. Образ Есенина двоится. Было два Есенина. Есть разные стороны, есть сложные и противоречивые черты в его поэтическом облике, о них писалось и говорилось довольно. Но в конце концов был «един жив человек», жил поэт, как конкретная личность, вмещавший в себе разные свойства и этапы своего творчества. И когда встает этот живой Есенин, становится более понятным и влияние его, и прелесть его стиха, и то, что им зачитывались, и его заучивали, и ему подражали. В чем тайна успеха и чарования его стиха? Они ведь — о гибели, о роковом, о кабацком, об уходящем, они — об одиноком поэте, который чувствовал себя в Руси советской ненужным иностранцем! Но мы знаем старых испытанных коммунистов: в промежутки меж деловыми заседаниями, в краткие, свободные от напряженной, сухой и прозаической работы часы они находили время прочитать очередные стихи поэта. Или и им сродни были кабацкие, роковые настроения умершего? Не похоже. Возможно, что искать об'яснений успеха надобно в Есенинской простоте, в песенности, в искренности, в лиризме, в народности его стихов, в силе его таланта. Да, и в этом, но не только в этом. Так в чем же? Стихи Есенина — самые биографичные. Живая человеческая личность поэта в них отражена полностью. Сверяешь личность поэта, как она проступает сквозь словесную ткань его произведений, с житейским Есениным, и образы совпадают, переживаешь одно и то же основное настроение и становится понятным, в чем сила его стиха. Трогала и подчиняла в стихах Есенина любовь ко всему, «что душу облекает в плоть»,—к земному, к тому, что мы забываем, что удаляется от нас в грохоте, в суете, в городской сутолоке и чего нет среди камня и асфальта. Недаром так трогательно писал поэт о зверях и так хорошо их чувствовал: «для зверей приятель я хороший» — и не обмолвка, что он назвал как-то свои стихи «песней звериных прав». Велика положительная сила города, нашего железного века. Пусть скрежет и лязг больших городов уничтожает одурь, застой и печаль наших полей, но и в железной нашей эпохе есть искривленное, однобокое, угрожающее, темное и зловещее. И вот бывает так: мы, дети города и века, как птицы время от времени жадно стремимся покинуть «изогнутые улицы», не слышать трамвайного лязга, мы ищем забраться подальше в глубь, в глушь, в тишь наших полей, зеленей, лугов и лесов. А в стихах Есенина луга, поля и зеленя

встают во всем своем «диком и простом убранстве», в подчиняющей и покоряющей обольстительности, и мы понимаем и принимаем тоску поэта. Честь и место, особливо у нас в России, чугуну и стали, пару и электричеству, но никогда не следует забывать, что это не цель, а лишь средство, не человек для субботы, а суббота для человека. Есть первозданное, неоспоримое, непреложное, основное — могучие инстинкты и соки жизни. Они трансформируются, изменяются с каждой эпохой, но горе тому, кто посягнет на их права и законы. Сталь и бетон и яблочкин огонь—для них, для их торжества, расцвета и счастья. Борьба за них. Социализм для них. Вставшая во весь свой рост человеческая личность — это они, силы и соки жизни, освобожденные от пут.

Но самое тревожное в современной цивилизации то, что вместо непосредственных людских отношений она ставит вещный и идеологический фетишизм, любовь к вещам и к призракам. Служение вещам и идеям застилает непосредственное общение между людьми. А человеку — таковы его инстинкты — нужно прилепиться не к мечте, не к призраку, не к вещи, не к стиху, а прежде всего к живому, конкретному собрату, его ощущать, ему помогать и ради него работать. Только в пролетариате есть зародыши этих поруганных и попранных прямых общественных отношений, которые полностью расцвесть могут лишь в развернутом коммунистическом обществе. Есенин с его кругозором, определившимся в юности узкой личной средой деревни, с его интимным лиризмом, должен был со всей остротой почувствовать в новой обстановке тоску по этому прямому общению и содружеству человека с человеком. Ему надо было трудиться, творить, чтобы наглядно было видно: вот это нужно живым, во плоти людям и от них его инстинкт, его прошлое требовали то же. Ему надо было заботиться о живом и чтобы заботились о нем. Современный город, который он, Есенин, знал, этого ему не дал и не мог дать. Он надломился. В стихах и поэмах, в жизни и в участи и в конце поэта, в его образе и поэтическом и жизненном, есть нежное и хрупкое, тонкое и трогательное, обреченное и любимое, как в его красногривом жеребенке, — есть предупреждение и знамение против темного и зловещего в современной однобокой городской цивилизации.—И это роднит с ним многих, чуждых кабацким и озорным настроениям поэта. И потому нам дорог его образ и потому этот образ долговечен.

Конец каждого человека переживается по-особому. Смерть Есенина пробуждает великое чувство, которое источает мать, сестра, брат, и в котором сказано: «Глас в Раме слышан бысть: Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо нет ей утешения».

В Раме российской его проводили, как свое дитя, родное и любимое.

Третий Алексей Толстой.

Валентина Дынник.

> «Я хорошо научился угадывать дни эвакуации по выстрелам на ночных улицах, по тону военных сводок, по особому предсмертному веселью в кабаках».
>
> *А. Толстой*, Золотой мираж.
>
> «И вдруг фантастический бег времени остановился. Подошвы царапнули и стали на землю».
>
> *А. Толстой*, Голубые города.

Когда, лет десять тому назад, где-нибудь в литературном кружке или в студенческой компании упоминали имя Алексея Толстого, то — почти с неизбежностью рефлекса — возникал вопрос: «Какой Алексей Толстой — старый или новый? Первый или второй?». Теперь, при упоминании того же имени невольно хочется спросить: «Какой — второй или третий?» — Так непохож Алексей Толстой прежних, предреволюционных лет на Алексея Толстого теперешнего.

Войдя в литературу в 1908—1909 годах, А. Толстой не затерялся в ее сутолоке, его литературное лицо принадлежало к числу лиц, которые запоминаются. Запомнился острый взгляд, насмешливый и чуть холодноватый, запомнилась и речь, слегка неряшливая, но характерная и свежая. Тогдашняя критика сразу квалифицировала А. Толстого, как бытописателя угасающего дворянства и связанной с ней состоятельной интеллигенции. Критики наших дней ретроспективно характеризуют его, как «запоздалого завершителя дворянско-интеллигентского периода русской литературы».

А теперь этот «запоздалый завершитель» в ядре инженера Лося преодолевает межпланетное пространство, по радио переговаривается с Марсом, взрывает луну, изобретает испепеляющие лучи... Он уже не доживает прошлое вместе с «Хромым барином», а предощущает будущее с «Союзом пяти», теплый уют деревенской усадьбы меняет на незнакомые стены иностранных гостиниц, на палубу эмигрантского парохода.

До того ощутима эта перемена — особенно в выборе тем, — что, читая «Лунную сырость», сборник написанных в прежней манере рассказов А. Толстого, выпущенный в 1923 году Госиздатом, не можешь отделаться от мысли,

что перед тобою — перепечатка старого или, в лучшем случае, ненапечатанные в свое время «посмертные» произведения Алексея Толстого «2-го». И все это — несмотря на предусмотрительный подзаголовок автора — повести двадцать первого года».

В предисловии к одной из своих последних книг («Союз пяти») А. Толстой пытается об'яснить поворот в своей писательской работе. В его словах— полное признание диктатуры читателя: писатель, выброшенный на необитаемый остров, лишенный читателя-современника, лишенный надежды на читателя-потомка, не станет писать ни романов, ни драм, ни стихов — у него нет «сопереживателя», значит, нет и выхода для творчества; все определяется читателем, этим «вторым полюсом магнитного поля»: «Подошло, — взяли, и ток ответный. А школы и направления — все это кабинетная, однополая морология. Как можно возродить, примерно, романтизм, когда никто не хочет запахиваться в плащ на скале? Но если чувствую, нахожу и создаю в себе этого идеального, насыщенного соками жизни читателя, и он кричит мне из-под романтической шляпы: «Даешь грозу и бурю!». О, тогда ни споров, ни ссор... Могучим потоком хлынет творческая энергия».

Во всяком случае, авторская энергия хлынула могучим потоком: по интенсивности литературного производства А. Толстой занимает одно из первых мест.

И ближайшее следствие такой интенсивности — небрежность, недоделанность языка. Без особого труда и без особой придирчивости пуриста — любой читатель может найти у А. Толстого такие образцы литературной неряшливости, как: «Но он, все же, твердо с т о я л н а с в о и х п р и в ы ч к а х». «На перевале открылся в и д р а б о т на дне кратера». «Но опасаться, как это было раньше, н а м н е и м е е т о с н о в а н и я». Обитательница Марса — Аэлита, оказывается, хорошо знакома с русской литературой, цитирует, почти наизусть, Крылова: «Играл он и пел так прекрасно, что з а м о л к а л и п т и ц ы, з а т и х а л в е т е р, л о ж и л и с ь с т а д а, и солнце останавливалось в небе», совсем как крыловский соловей, при пеньи которого:

> Затихли ветерки, замолкли птичек хоры,
> И прилегли стада.

Подобные примеры могут быть умножены, но не ими определяется, в конечном счете, удельный вес писателя: А. Толстого поругивают за его «скоропись», но те же ругатели не бросают книжек, а дочитывают их до конца. Он умеет удерживать внимание, притягивать взгляд к своим страницам, он, без манифестов и деклараций, на деле, в художественной практике овладел трудным искусством сюжетосложения, вырисовывающего перед нами жизненно-свежие образы, и, подобно кинозрителю, покоренному занимательностью фильмы, мы напряженно следим за «похождениями Невзорова», сначала скромного служащего транспортной конторы, затем случайного обладателя случайных капиталов, владетельного графа Симона де Незор, бухгалтера разбойничьей казны при шайке атамана Ангела, греческого подданного Семи-

лапида Навзараки, разгуливающего по Одессе, завсегдатая Дерибасовской и кафэ Фанкони, агента деникинской контр-разведки, эмигранта, бегущего на корабле из Одессы, предприимчивого антрепренера, показывающего:

Бега дрессированных тараканов—народное русское развлечение.

Мы, вместе с четырьмя друзьями Игнатия Руфа (четырьмя из «Союза пяти»), со сдержанным волнением слушаем точные об'яснения инженера Корвина о способе расколоть луну, дьявольский план Игнатия Руфа — использовать гибель луны для биржевой паники и захвата политической власти; мы, вместе с четырьмя тысячами рабочих, обитателей руфовского острова, закидываем голову к огненным хвостам ракет, летящих с земли на луну; мы присутствием на вакханалии обманутых городов, над которыми предсмертными знаками встала комета Биэла и расколотая на семь осколков луна; мы видели, как пятеро завладели диктаторской властью над всеми, а все — работают, живут и веселятся и знать не хотят пятерых.

А. Толстой сохранил и прежних своих героев, но заставил их сняться испуганной стаей с насиженных мест, перенестись на грязные турецкие улицы, в подозрительные кварталы Парижа. Бытописатель помещичьей усадьбы с успехом превратился в историографа эмигрантской бестолочи. Но здесь уже совершенно очевидно, что не один только читатель подсказывает А. Толстому темы, их подсказывает ему текущая жизнь.

Неоспоримая, всегда ощутимая, но нередко запутанная и сложная связь между каждым писателем и современностью в литературной работе Толстого непосредственна и прямолинейна: чувствуется прекрасная осведомленность в области ежедневной хроники, за каждым эпизодом стоит опыт бывалого человека. Однако ряд литературных приемов выдает писателя — это не опыт участника событий, а, в большинстве, лишь их очевидца. Индивидуальность художника характеризуется не только степенью наблюдательности, но и в расположении наблюдательных пунктов. У Толстого их три: улица, биржа, ресторан.

Эмигрантская эпопея в «Ибикусе» дана нам на фоне одесских улиц дерибасовской черной биржи, суетливого кафэ Фанкони; пролог к «Гиперболоиду инженера Гарина» разыгрывается в сверкающем зале, среди ресторанных столиков; последний акт «Черной Пятницы», целиком построенной на биржевом сюжете, завершается в скромном пансионе фрау Штуле; предвоенный зловещий угар «Хождения по мукам» смешивается с запахом первоклассной ресторанной кухни; среди ресторанных огней и биржевого шума встает ослепительный и минутный «Золотой мираж»; «Союз пяти» своими длинными щупальцами захватывает биржу, чтобы удушить ее в последний момент, когда обезумевшая толпа выходит из ресторанов на улицу, под зловещий свет кометы Биэлы.

И потому на улице, в ресторане, на бирже почти незаметны отдельные лица; все встречные похожи друг на друга, — похожи они и у Алексея Толстого: все финансовые дельцы, воротилы биржи у него на одно лицо, не

видишь ни лба, ни глаз — одни бритые подбородки. «У всех выдавались вперед каменные подбородки. Сандер тоже выпятил подбородок («Золотой мираж»), такой же подбородок, с огромной отваливающейся челюстью, и у Игнатия Руфа («Союз пяти»), и у Адольфа Задера («Черная Пятница»), и у других.

То, что ускользает от этого улично-ресторанно-биржевого наблюдения, уже хуже дается писателю. Он, правда, умеет дать широкую картину событий, например, военной политики Антанты («Хождение по мукам»), но эти страницы скорее похожи на хорошие, обстоятельные и живые сообщения «от нашего заграничного корреспондента».

Он умеет подбирать характерные, иногда до жути реальные факты, расскажет, как «Несколько человек в эту ночь видели такое, что потом, когда после боя вернулись в теплушки, — сразу не могли рассказать: зубами колотились. Видели — стоят на равнине голые мужики, один от другого саженях в пятнадцати, мужики, для крепости политые водой, и рука поднятая указывает дорогу. Говорят, правитель много таких вех наставил из партизанов». Но эти лаконичные строки выделяются на страницах повести, как выделяется вклеенная в рукописный текст газетная вырезка.

Чутье к отдельным фактам не может заменить чувства эпохи. Чувство эпохи живет в художнике постоянно, чутье, даже самое острое, может изменить. И оно, действительно, изменяет А. Толстому. Он попадается на приманку эмигрантских слухов, обывательских сплетен, может быть, иногда и не искажающих отдельных фактов, но чудовищно смещающих перспективу. Вот почему автор «Хождения по мукам» почти проглядел стихийный порыв русской революции и так непропорционально выделил сопутствующие, случайные, по существу, обстоятельства, во многом не умея различить ничего, кроме темного дела неврастеников и авантюристов.

Могучий поток жизни, непрерывный и непреоборимый безнадежно мельчает в изображении Толстого, выхваченные из действительности куски теряют свою непрерывность. Работа писателя иногда напоминает мозаику. И некоторые части мозаики переносятся даже, по мере надобности, из одной книги в другую: так полковник Убейко («Черная Пятница»), во время своих эмигрантских блужданий, состоял букмекером при тараканьих бегах, тех же бегах, которыми заканчиваются «похождения Невзорова». Рассказ «На острове Халки» кажется развитием одной из тем «Ибикуса», эмигрантов в нем кормят все теми же консервами из мяса австралийской человекоподобной обезьяны.

Прикрепленность к отдельным фактам, казалось бы, опровергается фантастическими экскурсами А. Толстого, его опытами в области астрономического романа и романа изобретений. Но Аэлита не находит ничего лучшего, как развлекать своего земного возлюбленного длинными беседами о доисторическом прошлом земли, — о ракете же, изобретенной якобы инженером Лосем, мы еще раньше читали в газетах — но только ее изобрел Циолковский (впоследствии та же ракета была А. Толстым использована и в «Союзе пяти»). У А. Толстого не найти ни научных интуиций Жюля Верна, остроумно

предвосхитившего ряд изобретений, ни наглядной и устойчивой фантастики Уэллса.

Не эти ультра-новые темы позволяют говорить о новом периоде в литературной работе А. Толстого, о «третьем Алексее Толстом». Почти все его образы ярки, интересны, занимательны, но теплота живой человеческой кожи ощущается не во всех, ему по-настоящему удаются лишь простые, незамысловатые, несложные, хотя и характерные герои, вроде Семена Ивановича Невзорова, пускай он — лишь одна из метаморфоз вечно живого Хлестакова.

А. Толстой не художник глубин, ему недоступно психологическое творчество Достоевского, но он в совершенстве овладел законами несложной механики, которой подвластна душа обыкновенного человека. Поэтому так художественно убедительно «Детство Никиты», поэтому, вообще, А. Толстому так удаются дети.

Характерно, что и в женщинах он любит подмечать живущую в них детскость. «У мадемуазель Бюшар («Среди снегов») была широкая во лбу, с остреньким подбородком, хорошенькая мордочка, вздернутый нос и детские глаза»; Ольга Семеновна (в повести «Актриса») рыдает глухо, закрывшись руками — «как дети плачут в чулане»; в другой повести («Н. Н. Буров и его настроения») А. Толстой показывает, как в кресле спит Людмила Ивановна, поджав ноги. «Щека ее была мокрая от слез. На полу валялась бумажка от шоколадной плитки. Буров остановился около спящей и глядел на нее. Ее веки были крепко сжаты. Припухший, как у детей, рот сложен горько. Одна ее рука, сжатая в кулачок, лежала на коленях, другой кулачок подсунут под щеку».

В «Хождении по мукам» так тепло и отчетливо встает перед нами восемнадцатилетняя курсистка, проникнутая суровым аскетизмом юности, создающая полудетские проекты спасти свою старшую сестру от пустой и праздной жизни (замечательно, что и ее в тяжелые минуты семейного разрыва А. Толстой кормит, правда, уже не шоколадными плитками, а мармеладом!). Но трудный рост женской личности, превращение той же курсистки Даши во взрослую серьезную и чуть грустную женщину — воспринимаются только как намерение автора, осуществленное разве лишь вполовину.

Поставив перед собой сложную психологическую или социологическую задачу, А. Толстой не может обойтись без подстрочника — он часто ищет решения либо в отдельном факте, непосредственно, почти без творческой переработки, изолированно взятом из жизни, либо в чужом литературном опыте.

Но в первом случае — писатель, не умея проникнуть на бо́льшую глубину от житейской поверхности, сбивается на пасквиль, как случалось с ним и прежде, как повторилось и в «Хождении по мукам», где неумным и неумелым шаржем вырисовывается на фоне петербургской снежной вьюги фигура знаменитого поэта Алексея Алексеевича Бессонова.

Во втором же случае,—когда А. Толстой пытается проникнуть в недающуюся ему глубину через чужое творчество, — он не идет дальше учени-

ческого немощного подражания. Так, «Рукопись, найденная под кроватью» почти целиком списана из Достоевского, — все эти люди из эмигрантского подполья, с неизбежной достоевщинкой в торопливом захлебывающемся говорке — скучны и неубедительны.

Зато обывательская несложная жизнь ни одной чертой не ускользает от А. Толстого: этим он похож на прежнего себя, — ибо, надо признать, в старых своих зарисовках предреволюционной интеллигенции или людей из усадьбы А. Толстой был ценен и интересен не тем, что запечатлел меланхолическую лирику угасания (здесь первое место Бунину), а тем, что передал гротескные очертания обывательщины.

Обыватель не исчез. Не исчезла поэтому и близкая А. Толстому тема. Заставляя своего героя производить эксперименты над новым изобретением («Гиперболоид инженера Гарина», «Красная Новь» №№ 8 и 9), А. Толстой сам производит литературный эксперимент над биржевой обывательской Европой. (Ведь суть романа не в приключенчестве: инженер Гарин, похищая у Роллинга блокнот, принужден прибегать к шерлокхолмсовским устарелым приемам.)

От упорного анахронизма дворянской усадьбы обратившись к современному быту, А. Толстой не должен был для этого отклоняться в сторону от своего художественного пути, ибо что может быть грандиозней и показательней того эксперимента, какой проделала над обывателем революция?

Литературная судьба А. Толстого показывает, что не пестрою сменою тем, а углублением основной, органически-близкой темы определяется подлинная новизна художника.

Революция не только раскрыла перед писателем-современником стены домов и домишек, показав несложный ход обывательской жизни, она разбудила самого обывателя. И только об этом издавна знакомом герое своем, пробужденном и преображенном революционною бурей, А. Толстой мог сказать по-настоящему новое, художественно-полноценное слово. Это — герой «Голубых городов».

Когда говоришь о бытописательском таланте А Толстого, о гротескных, но жизненно-убедительных чертах его обывателей, это сочетание бытописи и гротеска, это пристрастие к изображению обывательщины — толкают нас к имени Гоголя. И действительно, при всей количественной и качественной разнице талантов, между обоими писателями много общего. Но тем более выступают черты отличия.

Быт — это не жизнь, это лишь фон жизни. Гоголь с трагической ясностью увидел, как этим фоном сплошь заполняются узкие рамки обывательского существования. Серое повседневье не давало даже материала для антитезы — обывателю некого было противопоставить. И Гоголь, великий мастер наблюдения, принужден был целиком выдумывать своих добродетельных героев. Однако фантазия взлетает ввысь лишь на привязи жизни: добродетельные герои Гоголя — либо все те же Собакевичи, хотя и с альтруистическими поправками, либо — в лучшем случае — праздные мечтатели.

А. Толстой живет в другую эпоху. Революционная гроза расшатала перегородки быта, и потрясенный мечтатель, глядевший лишь в небеса, мог оглянуться вокруг, на широкие земные дали. Воображением уже не владеет прежняя туманная мечта, им завладела утопия. А в утопии есть большая взрывчатая сила, значит есть повод к действию, к борьбе, к конфликту.

Такой конфликт между обывательским бытом и утопией наибольшей заостренности достигает в «Голубых городах», в одном из лучших рассказов А. Толстого («Красная Новь», 1925 г., кн. 4).

Не нов этот обывательский быт: базарная площадь с сенными весами, грязные топкие проулки, городской сад, деревянные домики, шумная пивная «Ренессанс», прокуренная крепкой махоркой. Не в изображении этого быта— главная ось рассказа, А. Толстой говорит о быте как бы мимоходом, вскользь: «Нам здесь нет надобности подробно рассказывать о немощеных уличках, о гнилых заборах и воротах с лавочками для грызения подсолнухов, о заплатанных досками домишках, где на подоконниках цветут герани, в знак того, что мол, как хотите, граждане, а насчет герани в конституции ничего прямо не сказано». А Толстой не ставил своей задачей отыскать новую деталь, многозначительную мелочь в этом быту,—он предпочитает иногда обратиться просто к читательскому опыту: «Все знают, что такое уездный городок на берегу реки».

Нет ничего особенно поразительного и в той утопии, которую создает главный герой рассказа Василий Буженинов. Алексей Толстой скомбинировал в ней несколько злободневных идей, хорошо знакомых каждому читателю «Известий» и лишь вырастающих в рассказе до грандиозных размеров. Василий Буженинов перед от'ездом домой рассказывает своим товарищам фантастическую повесть о будущем: здесь и омоложение «по новейшей системе», произведенное над ним, Василием Бужениновым, здесь и перестроенная по его плану Москва, гигантский город из голубоватого цемента и стекла, который возник на месте грязных переулков Тверской (разрушенных А. Толстым не без подсказки со стороны прошлогодних газет); здесь и подземные электрические поезда, мчащиеся с сумасшедшей скоростью (вспомним толки о московском метрополитэне!).

Сила и эмоциональная убедительность рассказа определяется столкновением быта и утопии, а не каждым из них в отдельности. Художественная направленность «Голубых городов» идет по линии, по которой пересекаются эти два плана. Тут нашел себе применение незаурядный экспериментаторский дар А. Толстого.

Но это экспериментирование над героем — не прихоть умелого художника, — А. Толстой пытается при помощи своего эксперимента найти решение той громадной и страшной проблемы, какую поставила революция перед всяким подлинным своим современником. Эта проблема — н э п. Она требует сочетания пылкой мечты о социалистическом будущем с прозаической работой советских будней. Герой «Голубых городов» Василий Алексеевич «был ужасно молод», хотя ему и было, все-таки, уже двадцать шесть лет, хотя он семнадцати лет влез в броневик, мчавшийся вниз по Тверской к Площади

Революции, три года воевал, узнал и сыпной тиф, и туркестанскую лихорадку, затем, так же, как воевал, напряженно и страстно работал в Архитектурной Академии, живя впроголодь, ночуя в склепе на Донском кладбище. Молод был он потому, что жил в будущем, а не в настоящем, мечтал о голубых городах и не видел окружающего. И когда жизнь сбрасывает его с высоких террас утопических городов, когда «подошвы касаются земли», он падает в жидкую грязь уездного российского городка. Революционного пафоса Буженинова не хватило для длительной, постепенной борьбы в ресефесерском захолустье за реализацию своей утопии: характерно, что над пожарищем, оставшимся на месте сожженного им городишки, он прибивает к телеграфному столбу план голубого города.

«Буженинов Василий Алексеевич встает перед народным судом» — заканчивает А. Толстой свой рассказ. Оправдают его или осудят — вопрос вторичной важности. Гораздо важнее то, что он уже осужден в рассказе, хотя автор идет не дальше предварительного следствия. Осуждение это в словах тов. Хотяинцева:

«Пока вы в седле, в руках винтовка, за холмом зарево пылает, — этот час революции весь на нервах, на эмоциях, на восторге. Скачи, руби, кричи во весь голос, романтика. Взвился рыжий конь и понес. А вот впряги коня-скакуна в плуг, — трудно, полета нет, — будни, труд, пот. А между тем, это и есть плоть революции, ее тело. А взрыв — только голова. Революция — это целое бытие. От взятия Зимнего Дворца до тридцати двух копеек за аршин ситца».

Уже после того рокового дня, когда Буженинов неподвижно стоял на скамье и спокойно смотрел, как пылает подожженный им город, — на предварительном следствии проясняется его помраченный рассудок и впервые прорезывается предположением, еще неясным, но живым и настойчивым, как сама жизнь:

«Или я чего-то не понимаю?.. Винта у меня какого-то нет?.. Или живу я в иное время, — неизведанное, незнакомое, дикое?.. Или прав тов. Хотяинцев?».

Фигуре Василия Буженинова А. Толстой не противопоставил никого, кто в жизни, в быту, на деле дал бы иное решение этой проблемы утопии быта. Призыв к будничному строительству не показан в своем конкретном осуществлении. Он звучит лишь в словах, в разговорах. Но это — вина того социального пласта, соками которого питается творчество автора: пока этот пласт не взрыт до глубины плугом революции, на нем не вырасти ничему жизнеупорному.

Однако заслуга А. Толстого в том, что он художественно-наглядно и эмоционально-убедительно показал нам трагедию мечтателя-утописта, разыгрывающуюся на сцене советских будней.

В сюжетоведении своих утопий он всегда был занимательным рассказчиком, в изображении обывательских будней он всегда был внимательным наблюдателем, но лишь в столкновении этих двух миров рождается подлинная потрясающая сила его художественного слова.

И в прежних своих произведениях — дореволюционных лет — А. Толстой противопоставлял мечту и действительность. Но покуда эта мечта была цветением одинокого сердца, покуда столкновенье с действительностью происходило в узких пределах личного существования его героев, творчество А. Толстого, за вычетом бытовых наблюдений, в драматической, общей своей части имело главным образом интимно-психологический смысл.

Революция из мечтателя сделала утописта, заставила его, хотя бы через мечту, приобщиться к широкому социальному сознанию, вот почему крушение личности приобретает здесь смысл социальный.

В этом социальном смысле, подсказанном скромной советской действительностью, гораздо больше динамики, чем в излюбленных А. Толстым головокружительных авто, гораздо больше новизны, чем во всех изобретениях его героев, и, значит, гораздо больше оснований, чем во всех его литературных новшествах, ожидать подлинно-нового, третьего Алексея Толстого.

Победители и побежденные.

Илья Садофьев.

> **Дела давно минувших дней,**
> **Преданья старины глубокой...**
> *А. Пушкин.*

I.

Чем иным, как не преданьем старины глубокой, становятся для нас, живущих в эпоху, насыщенную исключительной динамикой, совсем еще, казалось бы, недавние бои, замысловатые стратегические вылазки, отчаянные штурмы и перманентные перестрелки на фронте современной художественной литературы?..

Сколько поломано перьев и карандашей, а метафорично: стальных штыков и копий — неот'емлемого вооружения доблестных журналистов! Сколько пролито чернильной и типографской крови на белоснежные полосы добротной бумаги!

Не сражались, не заостряли смертоносного журнального оружия только ленивые.

Писали почти все зарегистрированные (и даже не зарегистрированные) секцией работников печати в регулярную армию бойцов литературного фронта, кроме тех немногих, которые обременены всерьез и надолго настоящей трудной и ответственной работой переустройства жизненного строя.

Писали почти все. И о чем только ни писали! Обо всем. Одни, поддерживая гонорарно свое бренное существование, пустословили — о судьбах и проблемах, определяемых формальной конструкцией. Другие, на досуге, между дел государственной важности, трактовали о путях и перепутьях. Третьи, морща лоб, глубокодумно гадали на кофейной гуще — есть ли у нас и будет ли пролетарская литература. Четвертые кавалерийским галопом скакали по широкому полю битвы и самодельным дубьем дробили черепа глубокодумов, а заодно — громили и вражеские продовольственные обозы, доказывая этим одновременно и существование пролетарской художественной литературы, и уничтожение злокачественной продукции попутчиков

Не обошлось, разумеется, и без мародеров. На войне как на войне. Для кого война — бедствие, а мародерам, известно, лафа. Они в кровавой

свалке отлично знали, где и чем можно поживиться, каким путем без минимальных затрат энергии легче всего приобрести литературный и даже политический капиталец. На ком и на чем молниеносно можно сделать блистательную карьеру.

Но критиков, понимающих и любящих художественную литературу, критиков друзей — раз два и обчелся. И не потому, что критиковать некого и нечего, наоборот — материал, подлежащий исследованию и «критикованию», обилен, богат и разнообразен как никогда.

Белинский, например, в свое время, не только заметил и увековечил гений Пушкина, но и не прошел мимо такого, никому до него не известного и своеобразного таланта, как А. Кольцов... Белинский не только сумел за плоскими, корявыми и неграмотными стишками начинающего стихотворца разглядеть будущего большого поэта, но, что самое главное, — указать правильный путь его развития, совершенно противоположный тому, на который намеревался стать этот молодой и неопытный стихотворец.

Так поступает критик-друг, подходящий к поэзии не с оглоблей, а с великой любовью и знанием своего дела. А руководствуйся Белинский приемом мародеров и стервятников того времени (они сопутствуют выдающихся людей во все времена и эпохи), — мы не имели бы в сокровищнице русской словесности поэзии земледельческого труда.

Но Белинские — уж таково жизненное правило — всегда насчитываются единицами, зато критиканы плодятся, как инфузории.

Критиканы, по своей природе и многовековым навыкам, и доднесь считают своим прямым долгом доказывать нищету и бесталанность своего времени. Для них не бывает большей удовлетворенности, как удовлетворенность разносом того или иного из современников (а более того всех оптом).

Зная хорошо породу таковых критиков, Чехов говорил:

«Критики похожи на слепней, которые мешают лошади пахать землю.

Лошадь работает, все мускулы натянуты, как струны на контрабасе... а тут на крупе садится слепень и щекочет и жужжит... нужно встряхивать кожей и махать хвостом. О чем он жужжит? Едва ли ему самому понятно это... просто — характер у него такой беспокойный, и заявить о себе хочется, — мол, тоже на земле живу! Вот видите, — могу даже жужжать... Обо всем могу жужжать».

«Я двадцать пять лет читаю критики на мои рассказы, а ни одного ценного указания не помню, ни одного *доброго* (курсив наш) совета не слышал... Только однажды Скабичевский произвел на меня впечатление... Он написал, что я умру в пьяном виде под забором...» (М. Горький—«Отрывки из воспоминаний», «Нижегородский сборник», 1906 г.).

А кто из современных писателей, вопреки Чехову, может похвастаться *умным* и *добрым* советом зубодробительной присяжной критики?

От читателя, полагаю, многие слышали. Но от присяжных зубодробителей едва ли кому доводилось выслушивать добрые советы.

Но, как известно и как водится, за журнально-судейским столом по обыкновению восседают не читатели и не Белинские, а эти самые присяжные

зубодробители. Литературную погоду делают они. Если не делают, то во всяком случае пытаются делать, а больше всего всеми силами стараются сбить с толку читателя.

Совсем недавно в вечерней газете мой большой приятель и закадычный друг, Георгий Феофанович, ни за что ни про что зачислил Ник. Тихонова в эстеты, а о Безыменском высказал мнение диаметрально противоположное высказанному два года назад, ничем не мотивировав такого поворота мыслей.

Что это — недосуг прочитать того, о ком пишешь, а во втором случае игнорирование постоянством своих суждений?.. Или просто обмолвка, описка?

Но надо заметить, что Георгий Феофанович один из лучших современных критиков.

Что же делает «меньшая критическая братия»? Той уже и бог повелел критиковать, разносить художественную литературу, не только не понимая, не любя, но и не читая ее. Лишь бы литературным мародерством нажить гонорарный или политический капитал.

Вот эта самая братия в последних боях на фронте художественной литературы проявляла свои способности куда ретивее идейных и бескорыстных бойцов и командармов. И покинула поле брани не раньше, чем появились добродетельные санитары из подотдела печати руководящего штаба нашей эпохи.

II.

Как пахарь битва отдыхает.
А. Пушкин.

Как только битва поостыла (опостылела), — не заставил себя долго ждать словоохотливый и веселый триумфатор боевой славы...

Поднявшись на подмостки вечерней газеты, он, со стаканом венского, удовлетворенно возвестил миру о том, что художественная литература, слава богу, побеждена и что у нас в настоящее время талантливых писателей, слава богу, не осталось...

Не правда ли, великолепно! И как легко должно было бы жить в такое время людям, — никакой литературы нет, никакой тяжести на мозолистых плечах не виснет... О, как должны быть счастливы, радостны и веселы современники! Как должны они гордиться таким гениальным открытием!

А ведь монументальный критик Егор Самосекин, то бишь Досекин, так и об'явил, что у нас в настоящее время нет художественной литературы...

В этом открытии, разумеется, ничего нового нет. Эта погудка, как известно, многовековая. Разговоры об опустении земли русской талантами обостряются всегда именно в эпохи наибольшего творческого под'ема, в эпохи более яркого расцвета художественной литературы, во время появления выдающихся и своеобразных творцов литературы.

Досекины не были бы Досекиными, если бы они стремились, как Белинские, ценить, чувствовать, любить и понимать творческие силы своего времени. Их понимание не идет дальше обывательского понимания и устано-

вившейся обывательской привычки утверждать: «Вот раньше действительно были писатели, а ныне чорт знает что пишут и о чем пишут, да и кто пишет ныне? Ни одного крупного известного имени, ни одного талантливого писателя». Обыватель во все эпохи мыслит по поговорке: «Издохшая корова к молоку была хороша».

Досекины отличаются от обывателя лишь тем, что они обыватели в квадрате. Линейный обыватель только вздыхает по добрым старым временам, а квадратный обыватель статьи пишет, за судейский стол прется и ноги на стол кладет и приговоры выносит...

Эти рокамбольные Досекины («Самосекины») затем и появляются на свет, чтобы умалять созидательную силу своей эпохи. Для того они и сопутствуют талантливым людям, чтобы разносить, изничтожать их. Они остаются верными своей природе на всех ступенях развития человеческой культуры. Их родословная в истории русской художественной литературы начиная от Фаддея Булгарина, Н. Греча, через В. Буренина и Д. Мережковского тянется и до наших дней... Цель их существования остается неизменной. Примеры затуркиванья, улюлюканья каноничны. Доказательства того, что современные им писатели — сплошная дрянь и абсолютная бездарность, — доказательства буквально стереотипны...

Достаточно вспомнить суждения Мережковского о Максиме Горьком, чтобы убедиться в непрерывности зубодробительной родословной:

«О Горьком как о художнике больше двух слов и говорить не стоит». Его «поэзия — ничего не заслуживает, кроме снисходительного забвения. Все лирические излияния автора, описание природы, любовные сцены — в лучшем случае, посредственная, в худшем — совсем плохая литература. Впрочем, тем простодушным критикам, которые сравнивают Горького как художника с Пушкиным, Гоголем, Л. Толстым и Достоевским, все равно ничего не докажешь. Вообще босяк с поэзией напоминает Смердякова с гитарой» (Д. Мережковский — «Грядущий хам», стр. 45).

Да что Булгарины, Буренины и Мережковские, удушающие писателей при жизни! Есть примеры более чудовищные.

Спустя 28 лет после смерти А. Пушкина, известный и по настоящему талантливый критик Д. И. Писарев, — критик, на котором воспиталось славное поколение шестидесятников, и все же Писарев в своей книге «Пушкин и Белинский» так разделал бедного Белинского, что он поди в гробу перевернулся. А разделал за то, что он, Белинский, извольте видеть, о «самозванном гении» и «легкомысленном версификаторе» А. С. Пушкине, осмелился писать, как о великом поэте и выдающемся явлении в русской художественной литературе.

А сколько Писаревым вылито ядовитой желчной иронии по адресу самого Пушкина — прочтешь и волосы дыбом становятся...

Интереснее всего то, что в уничтожении Пушкина об'единились такие две необ'единимые линии, как линия мрачных реакционеров Булгариных и революционно-радикальная линия Писаревых. И обе эти линии изничтожали Пушкина не только как поэта-общественника, что было бы до известной

степени об'яснимо, но прежде всего и главным образом изничтожали Пушкина как художника, доказывали его бесталанность. Называли его жалким, легкомысленным версификатором, ветхим кумиром, так называемым поэтом, не способным понимать запросы своего века... А всех обожателей Пушкина авансом зачисляли в филистеры. Попробуй-ка теперь сказать доброе слово о выдающемся человеке — моментально попадешь в филистеры, а то пожалуй, что еще хуже, и в кумовья.

Можно ли после этого обижаться поэтам и их обожателям на критиков-разносителей! И не прав ли был Пушкин, говоря: «Хвалу и клевету приемли равнодушно и не оспаривай глупца».

Уж такая видно участь выдающихся людей, что на них все шишки валятся не только при жизни, но и по смерти...

А посему, повторяю, нет ничего нового и удивительного в том, что лавры великих разносителей не давали покоя в недавней литературной перепалке нашим беспокойным критиканам.

Но есть одна замечательная особенность, которая заставляет нас на этом вопросе несколько задержаться. Дело в том, что наш храбрый Досекин экземпляр чрезвычайно редкий: двуголовый или вернее, по ходячему выражению, — двуликий Янус. Одна голова — читает в Государственном университете лекции по русской литературе, сочиняет умные книги, пишет ученые статьи, где доказывает необходимость изучать нашу богатую творческим под'емом современность. Вот его опубликованная в печати формула:

«Итак: больше о живых башкирах, афганцах, монголах, — меньше о мертвых греках, франках, варягах. Больше о Дарвине, Эйнштейне, Рамзае, — меньше о Платоне и Канте. Больше о Горьком, Верхарне, Садофьеве, Маяковском, Роллане, Толлере, Кайзере, — меньше о Державине, Карамзине, Жуковском и даже Пушкине и Тургеневе».

Эта голова, воспитанная и созданная революционной эпохой, определенно претендует на родословную линию Белинского и ориентируется на нового революционного читателя. А другая голова, воспитанная и созданная беспочвенной кружковщиной, позавидовала славе Булгариных — Мережковских.

И получается так: профессор, претендующий на звание Белинского, затем и приглашает больше обращать внимания на современность, чтобы другая голова одного и того же туловища, Егор Досекин, доказывал всему миру, что эта наша современность абсолютно бездарна.

Раньше как будто не было таких случаев, чтобы один и тот же человек и одновременно на двух языцех глаголил, кроме (извините за сравнение) А. Тинякова.

Потому-то мы и уделили Егору Досекину так много внимания. Для того мы и вытащили его на солнышко, чтобы всем можно было разглядеть, что он, Досекин, суть—псевдоним профессора, пишущего умные книги. А посему не будет ли понятно, что Досекин едва ли по «глубокому убеждению» разносил современную художественную литературу. Не кроются ли здесь какие-либо

другие соображения? Не зря же он заплатил такую большую дань обывательскому злорадству и стал собирательным именем рокамбольных критиков.

Но битва кончена. Досекин сделал свое дело, Досекин может уходить. Побежденным вечный несмываемый позор. Победителей не судят. А главное на Шипке теперь все спокойно.

III.

Тогда считать мы стали раны,
Товарищей считать...
Ю. Лермонтов.

В результате подсчета, подытоживания выводы получились несколько своеобразные, но безусловно верные.

Общеизвестно, что целью войны, целью безусловно рациональной и революционно-важной, было выяснение правильной идеологической линии в сложном конгломерате всевозможных формальных школ, течений и направлений современной художественной литературы.

Такова глубокозначимая и все оправдывающая цель журнальных воинственных споров. Но за этой целью массивно громоздилась ее подлинная и скрытая основа, борьбы писательских группировок за монополию сбыта своей продукции, а с другой стороны издательского фронта за более ходкого и более дешевого писателя.

И в результате, как это ни странно, в наиболее невыгодном положении оказались не «маститые и прославленные» фигуры современной художественной литературы, а голубоглазые новобранцы. Проще говоря, в наихудшем положении оказался тот самый литературный молодняк, который брали под свое покровительство, заботясь о его существовании, развитии и завидной будущности — сладкоголосые стратеги военных действий. Но это ретивое покровительство оказалось ни больше ни меньше как формула перехода к очередным делам.

Это ничего, что сами издательские полководцы непосредственно не облекались в ратные доспехи, физически открыто не шли в рукопашную. Уж такова «империалистическая» природа издательского капитала переставлять издали живые фигуры писательского месива, преследуя практическую тенденцию завоевания прибыльных колоний.

Эти колонии на издательском языке называются — «иностранная фабульная литература».

Бороться издательскому фронту за эту колонию, как увидим, был прямой расчет. В свое время нарком просвещения сказал:

«В нынешнюю трудную пору писатели часто оказываются лишенными возможности опубликовывать свои произведения. В былые времена такие трудности встречались особенно часто на пути революционных писателей и не только тех, кто в произведениях своих проводили революционные идеи, но и тех, кто стремился произвести революцию формы и шел против установившейся рутины.

Сейчас государству рабочих и крестьян приходится все в большей мере брать на себя дело издательства литературных произведений, все равно каким путем, непосредственно ли через госиздательства, или через советские, или путем субсидии.

И уж, конечно, оно должно поставить себе за правило дать всему новому, свежему доступ к массовому читателю. Лучше ошибиться и предложить народу что-нибудь не могущее ни сейчас ни позже снискать его симпатии, чем оставить под спудом (на том основании, что тому или другому оно сейчас не по вкусу) произведение, богатое будущим» (А. Луначарский, предисловие к хрестоматии «Ржаное слово»).

После этого писатели, разумеется, не замедлили пойти в атаку на издательства. Но издательства, известно, в наркомах не состоят, талантливых речей не произносят. Издательства (даже и Госиздат) — на хозрасчете. Им нужно оборачивать с прибылью вложенный в дело капитал. Нужно расширять свое производство.

А раз это так, то кто же не знает многовековую примету, что новейшая поэзия и даже беллетристика в большинстве своем товар не особенно ходкий. А тем более поэзия и беллетристика с уклоном — в сторону новаторства, четкой идеологии, серьезности. Другое дело — иностранная литература легкого чтения, увлекательная, фабульная... На этот продукт спрос всегда был огромный. Кроме того коммерческий расчет издательств учитывает то обстоятельство, что за отечественную и мало прибыльную литературу нужно платить авторам хотя и незавидный, но все же гонорар, а за иностранную — отвалил переводчику пятнадцать рублей с печатного листа и дуй двадцать тысяч экземпляров.

Теперь, когда «изничтожена» необычайной журнально-газетной трескотней современная художественная литература, когда ретивыми критиками «доказано», что у нас нет талантливых писателей, издательства со спокойной совестью победителей могут продолжать и расширять свое колониальное дело.

Без малейшего угрызения совести могут ответствовать: «Ничего не поделаешь, и рады бы издавать своих, да где они? Нет у нас в настоящее время писателей... Почитайте современных критиков, и вы сами убедитесь в безвыходности нашего положения и, конечно, вполне согласитесь, что волей-неволей мы должны пока что прибегать к помощи иностранцев, вынуждены печатать не только О. Генри, Пьера Ампа, но и «Атлантиду» и «Тарзана» — ничего не поделаешь»...

Что касается молодняка, то о нем в настоящее время и речи быть не может. Ему ли добраться до типографского станка, когда этот станок почти отказывается печатать писателей, имеющих известность!

Куда уж соваться начинающим, когда в опале корифеи!

Издательства победили. Так не на их ли мельницу лили критиканскую воду (как видно и сами того не желая) разносители и хулители современной художественной литературы!

Издательства победили. Но неужели и в наше время остается незыблемым самодовольное правило, что победителей не судят?

IV.

Говорят они с'едают
Даже собственных богов...
Г. Гейне.

Скушать богов, конечно, дело не легкое. Современные боги художественной литературы не особенно беспокоятся за свое существование... Они выдержали, — если не все, так большинство, — основательную закалку огнем величайшей в мире революции. Они обвеяны всеми ветрами упорнейшей гражданской войны. Их не так легко и развенчать. Ибо, как было когда-то сказано: «У развенчанных, как прежде, горды вежды и слагатель песен — был поэт и есть поэт...».

Таким чтó! Таких можно облаять, но с'есть — подавишься. А вот что касается безусых боженят, тех, надо сознаться, усердные критики принесли в жертву издательствам.

Понятен и об'ясним принципиальный отпор издательств тем псевдославянским богам современной литературы, которые заметеливают нашу революционную современность пугачевщиной и бессмысленным мужицким бунтом. Про которых ровно пятьдесят семь лет назад говорил (да кто говорил!) А. К. Толстой: «Странное искание русской народности в сходстве с туранцами и русской оригинальности в клеймах татарского ига! Славянское племя принадлежит к семье индо-европейской. Татарщина у нас есть элемент наносный, привившийся к нам насильственно. Нечего им гордиться и им щеголять! И нечего становиться спиной к Европе, как предлагают некоторые псевдо-руссы. Такая позиция доказывала бы только необразованность и отсутствие исторического смысла».

Таким псевдо-руссам издательский принципиальный отпор об'ясним. Но чем об'яснить, кроме погони за дешевкой, отпор писателям, аппробированным современностью, а главным образом порожденному революцией молодняку? Неужели тем, что их творчество имеет уклон в сторону новаторства, четкой идеологии, серьезности? Неужели ироническое предупреждение Генриха Гейне применимо и в наше время:

Выпускать такие книги!
Милый друг, да ты погиб!

И неужели, наконец, писателям и в наше время необходимо следовать совету того же Г. Гейне:

Хочешь почестей и денег —
Гнись пред всяким в перегиб!

Гнуться в перегиб перед всяким издательством, быть ласковым телятей, — не означает ли это отодвигать на второй план и новаторство, и серьезность? Такое положение вещей едва ли разумно и целесообразно. Ибо надо сознаться, что участь наших молодых писателей сугубо незавидная.

Беру для примера некоторых, наиболее талантливых и безусловно многообещающих, поэтов из буйной поросли ленинградского молодняка,

таких как — Николай Браун, Константин Вагинов, Григорий Сорокин... А также наиболее активный и наиболее крепкий молодняк ЛАПП'а — Евгений Панфилов, Борис Соловьев, Виссарион Саянов, Иван Васильев... Большинство названных поэтов чрезвычайно серьезно относятся к своему призванию. Упорно и много работают над культурой стиха. Печатаются уже по нескольку лет в толстых журналах. Поди уж бороды скоро будут расчесывать, а книжек своего молодого творчества до сих пор, увы... не имеют... Читатель следит за их развитием, запоминает имена, ждет итогов пройденного юношеского пути, а издательства упорно не хотят признавать врастающие в литературу дарования.

Положение действительно трагическое. Оставлять открытым этот больной вопрос становится невозможным. Нужно искать выход. И выход при желании можно найти. Можно и нужно издавать молодых писателей. Нужно и должно дать возможность революционному читателю самому разобраться в том, что талантливо и что бездарно в творчестве современников...

А уж читатель-то, будьте спокойны, не ошибется, камень вместо хлеба не возьмет. Серьезный и вдумчивый читатель принимает или отвергает писателя не по аттестации критиков, а по его работе. Вернее — по работе писателя, по его книгам, — читатель проверяет критиков. Угадывает, который из них пишет свои статьи на предмет гонорарного приработка к своему студенческому или служебному обеспечению; который по беспокойству своего характера обо всем жужжать привычен; который горячится, подхлестывая «необыкновенную легкость мыслей», благодаря влиянию пивных или спиртных градусов; который, ставя нос по ветру, выслуживает чины и награды; который сводит с писателем личные счеты; который выполняет задания той или иной возглавляемой им или приютившей его писательской группки, а который, в силу своего призвания, товарищески помогает читателю понять и прочувствовать до конца художественное произведение, раскрывая положительную или отрицательную тенденцию этого произведения.

Такой критики несомненно способствует художественному и общественному самоопределению писателя.

Читатель, несмотря на разнос критики, умеет находить и оценивать своего писателя. Массовый серьезный читатель плохих книг не читает. Он своим здоровым классовым инстинктом определяет с первых страниц, чего стоит то или иное литературное произведение. В записках С. Федорченко «Народ на войне» один из многомиллионной массы «простых людей» тонко и убедительно об'ясняет свою способность отличать плевелы от злаков: «Когда я стал читать, ничему плохому я не выучился. *Нашему разуму плохих книг не понять*» (Курсив наш). Таково отношение массового читателя к печатному слову. Да и разносители-то, к месту сказать, не удостаивают своим вниманием бездарных писателей.

Кто знает этого читателя, для того ясно, что издательская повадка ссылаться на суждения критиков и младенческую пассивность читателя является искусным и стародавним приемом заговаривания зубов. А надо бы не зубы заговаривать, а всемерно помогать талантливому молодняку проявить

свои способности в наибольшую полноту. Нужно и должно вызывать максимальную активность творческих сил революционного времени.

Преследуя эту цель, можно надеяться, больше того—можно поручиться, что из десятка изданных книжек добрая половина безусловно найдет спрос у читателя, а наша эпоха, быть может, обогатится новым выдающимся талантом. Другая же половина книжек, невыдержавшая пробы, заставит своих «творцов» заняться каким-либо другим общественно-полезным делом. Читатель и время сортируют материал строго и беспристрастно.

Примеров тому бесконечное количество. Вот наиболее памятные и близкие к нам: Петроградский Пролеткульт, как известно, в свое время издал солидное количество книжечек стихов и прозы молодых пролетарских писателей. И в итоге — часть этих книжек до сих пор сиротливо и безуспешно ожидает потребителя. Зато другая часть разошлась шестью изданиями, в количестве 60.000 экземпляров и составила авторам широкую известность.

Другой пример с Н. Тихоновым и С. Нельдихиным. Оба они и почти одновременно, на собственные гроши, издали первые книжечки своих стихов — «Орду» и «Гортанное многословье» или «Органное многоголосье», что-то в этом роде. И в результате—«Орда» выдвинула Тихонова на одно из первых мест мастеров современности, а «Гортанное многословье» камнем на дно забвения опустилось.

И, наконец, третий пример: В конце 1921 года Ленгиз (тогда еще Петроиздат) выпустил две книжки стихов, двух одинаково молодых поэтов— Дм. Мазнина «В дыму пожаров» и В. Казина «Рабочий май». И последствия также весьма показательны. «Рабочий май» разошелся и уже переиздался, оправдав бесспорную талантливость автора, а книжка «В дыму пожаров» литературного богатства своим появлением не умножила.

Книжка, это — экзамен. Это, в большинстве случаев, победа или поражение на поэтическом турнире. Выход книжки указывает автору его настоящее место, разгружает издательства от повторных рукописей неудачников и страхует общество от размножения назойливых «непризнанных гениев».

Я не хочу сказать, что издавать нужно все, что сыплется в издательские портфели. Я настаиваю лишь на том, чтобы наш поэтический молодняк, уже аппробированный толстыми журналами, получил доступ к печатному станку. Указания издателей на ходкость ввозного товара, на больший спрос литературы легкого чтения и на залежь новейшей нашей литературы — достаточного основания не имеют. Во-первых, мы уже видели на приведенных примерах, что и серьезная литература находила своего читателя. Да еще какого! Полагаю, понятно каждому, что обывательская корюшка на пролеткультовские издания не клевала... А, во-вторых, если обывательская корюшка, клюющая преимущественно на литературу легкого чтения, вдесятеро многочисленнее серьезного читателя, — то отсюда еще не значит, что нужно держать на больничной диэте читателя серьезной литературы и не сокращать аппетит корюшки.

Точно так же и ссылка на издательский карман мало убедительна. Если ставить во главу угла практическую цель обогащения, то Поль де Кок, Барков и даже «Четьи-минеи», вероятно, дали бы золотые горы прибыли... Однако — знай край да не падай. Кроме того есть еще некоторые стороны издательской медали. Одна из них, показанная недавно «Ленинградской Правдой», красноречиво говорит о том, как иногда издательства обращают в макулатуру и продают в кооператив на обертку селедок стоящие больших затрат обложки весьма солидных книг, а бывает и самого текста. Эта сторона медали на современном языке называется бесхозяйственностью. И вполне оправдывает поговорку: у кошки за ухом черно.

Вторая половина этой стороны медали показывает довольно частую практику издательств закупать у писателей книги, заключать договоры, выплачивать по этим договорам 80% гонорара, а самих книг до истечения срока договора — не печатать. А ведь при рациональном хозяйствовании на денежки, вложенные в макулатуру и в безвозвратные восьмидесятипроцентные гонорары, можно было бы выпустить не одну книжечку молодых писателей.

Может быть, это и не выход из положения, а все же и это не кот наплакал. Все же и эти «мелочи» заставляют усумниться в том, что победителей не судят. Все же и эти «малые» данные служат большим укором критикам разносителям, льющим свою словесную воду на издательские мельницы. А если еще обратить внимание на чрезмерно разбухшие штаты издательств, то невольно напрашивается вывод:

— А не пора ли погладить издательского тигра против шерсти, чтобы он не скалил зубы на «собственных богов» и особенно не пожирал бы безусых боженят современной художественной литературы?

Лариса Михайловна Рейснер.

Она умерла в цветении своих сил, ума, таланта и красоты.

Она умерла от неожиданной, нелепой и случайной болезни в лечебнице после долгих, изнуривших ее страданий, а ей нужно было жить и нужно было помереть где-нибудь в степи, в море, в горах, с крепко стиснутой винтовкой или маузером в руках, ибо она отличалась духом искательства, неугомонной подвижности, смелости, жадности к жизни и крепкой воли. Этот воинствующий дух, не щадя себя, она отдавала революции.

Словно предчувствуя и предугадывая краткость своей жизненной тропы, она спешила и торопилась. Ее благородное, волевое и женственное, напоминающее легендарных амазонок лицо, обрамленное каштаном волос, ее гибкую и уверенную фигуру в самые страдные дни революции видели на бронепоезде, на наших красных военных судах, среди рядовых бойцов. Она с безупречной отвагой пробиралась в стан белых врагов, она знала и подпольные явочные квартиры гонимых товарищей-коммунистов за рубежом, а один из ее лучших очерков написан о баррикадах в Гамбурге. Далекий, песчаный Афганистан, глухие и мрачные шахты Донбасса и Урала, текстильные фабрики северного рабочего края — и здесь раздавался ее чистый, грудной, прозрачный и ломкий, как горный хрусталь, и такой твердый, упорный, и такой девический и податливый голос.

Она торопилась и спешила.

Она была мужественна. Такие люди — верны, революция на них полагается, как на кровных своих детей и питомцев.

Товарищ Лариса была захвачена целиком нашей боевой эпохой и свой талант писательницы отдала публицистической работе, но она сумела сочетать в себе публициста с художником, а это в наши дни очень ценно и очень трудно. Она зорко подмечала

и находила мелочи, но нужные и важные, и делала из них значительные выводы, широкие обобщения, об'единяя их в творческом синтезе, никогда не забывая о целом и основном. Но самый большой ее дар писательницы ушел в слово, в язык. Каждый ее очерк, каждая статья походили на дерево, отягченное пышным и щедрым изобилием плодов. Как в огромном и разнообразном цветнике глаз разбегался в этом богатстве уподоблений, образов, неожиданных и метких определений, в этом узорном кружевном плетении, в этой восточной яркости, пестроте и насыщенности. Иногда это казалось изощренностью. Да, она владела культурой художественного слова, знала и чувствовала тайну его, но это была не изощренность, а щедрость человека, который легко и свободно дарует и разбрасывает кругом полными пригоршнями из того, чем владеет в преизбытке.

Она потеряла не житье-бытье, а жизнь. Лариса Рейснер ненавидела бытовое мещанство, где бы оно ни встречалось. Она не умела обрастать, оседать, она не любила врастать в тихие и нудные будни, но в прозе жизни, она — художница и боец революции — умела находить возвышенное, захватывающее, содержательное и большое. Оттого, может быть, она так любила странствовать, путешествовать, бывать в новых и новых краях. Она не знала уныния и скуки.

В гробу осталось: высохшее от болезни алебастровое лицо, полузакрытая мертвенность неподвижного, слепого взгляда, оскал ровных и белых зубов, скорбная, мучительная, резкая складка у рта — что сделала смерть с этим прекрасным и воистину редким образцом человеческой породы! Но сохраним мы, ее соратники, товарищи и друзья, другой, иной лик, одновременно горячий и холодный, трепетный и взвешивающий, боевой и мягкий, мужественный и женственный.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

«Сибирские огни» Общественно-литературный журнал. №№ 3 и 4—5 1925 г. «Сибирское Краевое Изд.». Ново-Николаевск.

Центральной вещью рецензируемых номеров «Сибирских огней» является повесть Анны Караваевой «Золотой клюв».

Надо сознаться, — литература наша крайне однообразна. Сотни раз мелькают примелькавшиеся давно имена Колчака и Махно—опять и опять партизанщина, гражданская война, хороший честный комбриг и плохой бесчестный белогвардеец. На новый лад — тот же штамп батального рассказа, который заполнял журналы и книги во время империалистической войны. Мы отнюдь не думаем, что эпоха наша в достаточной мере исчерпана литературой — она даст еще много материала и беллетристам и поэтам. Но нельзя же без конца писать об одном и том же, уцепившись зубами за один и тот же сосок. Пора писателям разойтись в разные стороны и начать эксплоатировать новые тематические богатства. Разве сегодняшний день не связан органически со вчерашним днем, в котором заложены корни многих грядущих событий?! Повесть Караваевой свидетельствует о том, что при культурности писателя, при желании и умении можно отыскать неистоптанные дорожки, из глубины столетий струящие революционную бодрость в русло современности. И от того, что в основу «Золотого клюва» положен новый, никем не тронутый материал, так волнующе любопытна повесть Караваевой. Речь идет о золотых алтайских приисках, начавшихся разрабатываться русским правительством руками крепостных в 18-м столетии. Страданьем, кровью и героизмом крестьян и рабочих выжжены страницы давно минувших дней. Перед глазами читателя проходит длинный ряд живых лиц, притеснителей и угнетенных, переплетенных сложными сюжетными нитями. Чудовищны контрасты барства и нужды, беспечной сытости и полуголодного существования. Методы воздействия «царских слуг» — кнут, розги, ружья, средства самозащиты — стойкое искание свободы путем опасных для жизни побегов и накапливание сурового революционного динамита для грядущих поколений. Повесть написана с хорошим знанием эпохи, с большой человеческой теплотой. Временами, впрочем, излишняя чувствительность колеблет в руке Караваевой перо художника, и тогда автор впадает в мелодраматичность. Она же ведет тогда и к некоторому мало художественному сгущению красок. Так, например, на голову Марея Караваева сваливает все двадцать два несчастья сразу — у него и дом сгорел, и жена умерла, и все дети погибли. В четком и образном языке попадаются банальные сдвы. Есть длинноты. Чрезмерно красноречивы кажутся нам крестьяне. Но все эти недочеты — естественные пятна на полотне, принадлежащем писателю с большой, но не безупречной силой. В целом же «Золотой клюв» — значительное литературное явление, заставляющее ждать от Караваевой новых достижений. Этой, собственно, вещью исчерпывается художественная значимость беллетристики рецензируемых номеров «Сиб. огней». Сыщицкий рассказ М. Кравкова «Ассирийская рукопись» (№ 3) приличен, но мало индивидуален. Газетны миниатюры Гл. Пушкарева (№ 3). «Антихристово время» А. Коптелова (4—5)—тусклые фотографические снимки.

Мало оригинальны и не запоминаются стихи. Лучше других — вещи Скуратова.

Провинциальна и мало интересна библиография.

Зато разнообразен и содержателен отдел статей, посвященный пятому году, пребыванию декабристов в Красноярске, сельскому хозяйству в Сибири.

В конечном итоге—достижения вперемешку с недостатками. Хочется думать, что достижения будут расти, а недостатки уменьшаться.

Но и в настоящем их виде «Сибирские огни»—дельный и серьезный орган печати.

Федор Жиц.

«Недра». Литературно-художественные сборники. Книга восьмая. Из-во «Недра». Москва 1925. Стр. 236.

Лучшее в этом сборнике — воспоминания В. Вересаева «Из детских лет». Они написаны очень тонко, с замечательной и подкупающей искренностью, и я думаю, что не ошибусь, отнеся их к числу самых удачных произведений Вересаева. Автор старается следовать цитируемому им совету Сен-Симона: «То здание наилучшее, на которое затрачено менее цемента. Та машина совершенна, в которой меньше всего спаек. Та работа наиболее ценна, в которой меньше всего фраз, предназначенных исключительно для связи идей между собой». Воспоминания Вересаева — собрание отрывков, внешне не связанных между собой, не сцементированных. Конечно, только внешне. Внутренне они связаны очень крепко. С умелой постепенностью выведены «действующие лица» воспоминаний. Отрывки, расположенные как будто случайно, на деле «пригнаны» так, что обрисовывают с наибольшей экономией и выразительностью людское и вещное окружение мальчика и мир его сознанья. Автору удалось передать самое трудное и наименее уловимое: о к р а с к у детского сознанья. Следующие отрывки могут дать некоторое представление об общем характере новой вещи Вересаева, о манере, в которой она написана:

«Кажется, самое раннее из моих воспоминаний—вкусовое. Пью с блюдечка чай с молоком — несладкий и невкусный: я нарочно не размешал сахара. Потом наливаю из кружки остатки с полблюдечка, — густые и сладкие. Ярко помню острое, по всему телу расходящееся наслаждение от сладкого. «Царь, наверно, всегда пьет такой чай!» И я думаю: какой счастливец царь!»

«В детстве я был большой рева. Дедушка дал мне пузырек и сказал:

— Собирай слезы в этот пузырек. Когда будет полный, я тебе за него дам двадцать копеек.

Двадцать копеек? Четыре палки шоколаду! Сделка выгодная. Я согласился.

Но не удалось собрать в пузырек ни одной капли. Когда приходилось плакать, я забывал о пузырьке; а когда случалось вспомнить—такая досада: слезы почему-то сейчас же переставали течь».

«Кто-то меня однажды обидел, я длинно и нудно ревел. Подали обедать. Мама деловым тоном сказала:

— Ну, Витя, перестань плакать и садись обедать. А пообедаешь — можешь, если хочешь, продолжать.

Я перестал и сел обедать. После обеда заревел опять. Мама удивленно спросила:

— Чего ты, Витя?

— Ты же сама сказала, что после обеда можно.

Так эта история фигурировала в семейных наших преданиях, и так всегда рассказывалась. Но мне помнится, дело было иначе. После обеда братья и сестры со смехом обступили меня и стали говорить:

— Ну, Витя, теперь можно, — реви!

Мне стало обидно, что они смеются надо мною, и я заревел, а они еще пуще захохотали».

Остальная проза сборника довольно мало привлекательна. Повесть Давида Хаита «Бурьян», правда, лучше, чем те вещи, которые он писал до сих пор, в ней неплохие бытовые фигуры и зарисовки еврейского быта, и читается она с интересом, но автор несвободно владеет русской речью, в его языке связанность, частые неправильные или натянутые обороты. Слаб «Город Переплюй» Лукашина (обличенье мещанских нравов) — и не ново, и поверхностно, и деревянно местами, — не многим лучше «Кутум» Перегудова с «опаленными солнцем, смелыми женщинами» Маньками и поволжскими босяками, с пре-

вознесеньем стихийно - «вольной» жизни за счет упорядоченно - городской, поздняя отрыжка раннего Горького.

Не блещут достоинствами и стихи. Вряд ли хорошо осознал Г. Шенгели, что следует из его стихотворения «Музе»:

Мне надо жить и есть. И по дворам хожу
С тобою, с обезьянкой пленной...
И, озираючись на раздраженный хлыст,
Ты представляешь все, что надо.

Муза, работающая из-под хлыста и только потому, что надо «жить и есть» — опомнитесь, Георгий Шенгели! Зачем вы клевещете на себя!

Любовь к красному словцу довела Шенгели до музы — обезьянки пленной. Усиленное чтение «Москвы кабацкой» довело Б. Ковынева до таких стихотворений, как «Скрипач».

И когда он, медленный и жуткий,
Повернул тяжелые глаза,
Побледнели даже проститутки,
И на миг охрипли голоса.

и «Не боюсь я жизни подзаборной»:

Я люблю фанатиков и пьяниц
За разгул сердечного огня.
Может быть, чахоточный румянец
Перейдет от них и на меня.

Ковынев — молодой и талантливый поэт. И тем более жаль и досадно, когда он начинает вязнуть в кабацких темах и настроениях и говорить «охриплым голосом». Право, поляна и заячья любовь уж предпочтительнее четырех стен пивной.

Надо отметить, в заключение, «Кинематограф» Д. Туманного, в котором много движения.

А. Лежнев.

Ковш. Литературно - художественный альманах. Книга третья. ГИЗ. Ленинград 1925. Стр. 246.

Третья книга альманаха «Ковш» отличается от первых двух книг отсутствием центральной вещи, которая сосредоточила бы на себе наибольшее внимание. Такой вещью в первой книге был «Конец Хазы» В. Каверина, а во второй — большая поэма Н. Тихонова «Дорога».

Напечатанная в рецензируемой книге «Ковша» первая часть нового произведения В. Каверина «Девять десятых судьбы», хотя и сильнейшая и лучшая вещь во всей книге, все же не может стать центральной. Быть может, только потому, что она не окончена.

На использованном многими и достаточно сильно изношенном литературном материале — на событиях первых дней Октябрьской революции в Петрограде — строит Каверин свою новую вещь. Тут необходимо было избежать трафарета, общего места и повторения. Надо сказать, что Каверину удалось обойти все эти подводные рифы и дать чрезвычайно интересную, живую картину осады и взятия Зимнего дворца. Этому способствовало в значительной мере удачное прикрепление одного из сюжетных героев (Шахова) к событиям, происходящим перед дворцом, обложенном восставшими, а другого (поручика Мюллера) — к событиям во дворце, где перманентно заседало растерявшееся Временное Правительство.

Нельзя еще не указать на язык самого произведения, значительно более разреженный, чем в небольшом рассказе и с раскачкой на большую эпическую вещь, а также на все сильнее пробивающееся стремление Каверина психологизировать своих героев, раскрывая их и расширяя по мере разворачивания произведения. Насколько это стремление автора удастся на этот раз, останется ли это такой же не совсем удавшейся попыткой, как в «Конце Хазы», об этом судить теперь трудно, так как в напечатанной части герой произведения, Шахов, намечен только слегка и еще окружен тайной.

С некоторого времени, опять чуть ли не с каверинской «Хазы», у ленинградских писателей пошла мода на «блатную музыку», на быт воров и налетчиков, которые некоторыми писателями усердно изучаются.

На этот раз новая «экзотика» представлена в «Ковше» рассказом Вас. Андреева «Волки». В общем недурной и даже сильный местами рассказ Андреева приводит в некоторое недоумение и поневоле вызывает вопрос, для какой цели стоило рассказывать дореволюционный воровской быт и с таким «натурализмом» останавливаться

на деталях. Если можно еще считать целесообразным использование воровского жаргона для обновления литературного словаря, то воспроизведение воровского быта, с особенным на него упором, начинает терять свой оправдывающий смысл. Тогда всего только шаг к «Петербургским трущобам» Крестовского.

Рассказ А. Слонимского «Черныш» одной своей стороной тоже касается этой модной «экзотики». Правда, довольно тонко проведенная стилизация под хулиганский язык, язык Лиговской шпаны, мастерская архитектоника вещи делает этот рассказ более интересным, чем «Волки» Андреева.

Однако — совершенно противоположная В. Андрееву черта — самодовлеющая абстракция быта, несмотря на наличие множества подробных бытовых указаний, превращает персонажи рассказа в сюжетные пешки, как угодно переставляемые автором, и потому оставляет какое-то неприятное и досадное впечатление от рассказа.

Очень любопытны и интересны талантливые зарисовки Ольги Форш «По Москве». У ней, как обычно, очень сильно акцентуированная стилизация, острый наблюдательный глаз и тонкое ухо.

Три рассказа Г. Бломквиста написаны несомненно крупным мастером, но ничего нового и тематически интересного не привносят. Великолепен рассказ Вяч. Шишкова «Диво дивное», фантастическая юмореска о бреде мужичка-контрабандиста, о его фантастических злоключениях за границей и в Москве. Умело использованный автором язык с комическими сдвигами, рассчитанный на читку вслух, удачный юмор — все это положительные стороны рассказа.

Определенно слаб рассказ Н. Баршева «Прогулка к людям». Лежащий в основе его истинный факт о самоубийстве привезенного из лепрозория в Ленинград в качестве обвиняемого в убийстве своей прокаженной возлюбленной доктора Деспиладо, приехавшего несколько лет тому назад с о-ва Кубы в Россию, где он и заболел проказой, разбавлен жиденькой психологизацией и элегическими раздумьями автора. К тому же ненужное, нелепое и неумелое коверканье русского языка в речах доктора Деспиладо вконец портит рассказ.

Слабы также рассказы Ник. Ларионова «Тишина» и Петра Демина «Марево». Оба, очевидно, начинающие беллетристы, и у обоих свойственные каждому начинающему ошибки и неумения.

Особенно неудачен рассказ Демина «Марево». Не говоря уже о несколько расплывчатой фабуле, автор не справился почти ни с одним своим героем. Вместо людей переживающих, действующих даны ходячие схемы, в уста которых вкладываются соответствующие речи.

Тут и крестьянка, и спившийся интеллигент, и передовая женщина, почти коммунистка Вера, самая неудачная фигура в рассказе. Выражая взгляды и мнения самого автора, Вера постоянно и досадно резонирует при всяком удобном случае.

Несколько лучше рассказ Ларионова. Его главная слабость—в неумелой и очень неэкономной архитектонике. Длиннейшие описания автора и его лирика в начале рассказа оказываются совершенно ненужными и дисгармонирующими с концом более динамичным и по фабуле (бандитское восстание, арест коммунистов), и по языку. Ненужными оказываются впоследствии некоторые персонажи, как, напр., юродивый Алеша.

Из стихов, как всегда, выделяется своим большим мастерством любопытное по теме стихотворение Н. Тихонова «Поиски героя».

Формально оно продолжает линию «Дороги» — линию менее обнаженной и скрытой работы над словом и более ослабленного экспериментаторства.

Как это ни странно, этот крупнейший из современных поэтов, целиком признанный читателем, не может быть по-настоящему оценен критикой, предающейся с усердием старой девы воспоминаниям о его «Балладах» и вопящей о его теперешней непонятности, рационализме и затянувшемся ученичестве.

А между тем, сегодняшний Тихонов уже начинает оказывать большое влияние на многих молодых и даже не очень молодых поэтов. Так, стихотворение Ник. Брауна «О поэмах», свидетельствующее о значительном росте поэта, находится под большим влиянием Тихонова последнего периода.

Стихи Всев. Рождественского тоже, как всегда, гладки, ровны, культурны и, к сожалению, только.

Лирика Е. Панфилова «Есть много дней, хороших дней» ничем не выделяется из среднего литературного уровня, а «умное» стихотворение М. Комиссаровой «Поэт» находится под слишком сильным влиянием Пастернака.

Любопытна «Пугачевщина» (Клич колодников) Ив. Рукавишникова.

Ник. Белиньский.

Н. Огнев. Рассказы. Изд. «Круг». М.—Л. 1925 г. 216 стр.

Быть хорошо одетым — это значит быть одетым так, чтобы никто не сказал, что ты хорошо одет, — так говорил Оскар Уйальд. В этом духе выдержана почти вся наша классическая литература. Нет сомнения, что и у Пушкина, и у Лермонтова, и у Толстого, и у Достоевского тот или иной стилистический, композиционный прием играл большую роль. Но мы его не видим, не ощущаем, как прием, как сознательную нарочитость. Пресловутая легкость пушкинского стиля вытекает из этой именно запрятанности на большой глубине формального признака, впереди которого стоит эмоциональная и интеллектуальная насыщенность произведения. Обнажение приема ощущается иногда у Гоголя, часто у Ремизова, но с особой яркостью оно выпирает из прозы Белого, оказавшего, к сожалению, такое большое влияние на наших современных художников слова. Здесь запутанность построения диктуется не столько сложностью сюжета, сколько желанием усложнения ради усложнения. Это не значит, что писатели этого типа не ставят себе иных серьезных целей, кроме стилистических, но «прием», быть может помимо их воли, здесь не крылья для читателя, а проволка Перекопов. Надо преодолеть нарочитую усложненность конструкции прежде, чем доберешься до того, что называется изюминкой произведения.

Сложные натуры себя упрощают, дабы сделаться доступными многим, люди незначительные себя усложняют, чтобы казаться глубокими, — слова Гете.

Не думаю, чтобы последователи Белого полностью заслужили сарказм этого афоризма, но частично он имеет к ним отношение.

Огнев, принадлежащий к беловской школе,—писатель страстный, порывистый, виртуозно владеющий своим ремеслом. То, о чем он говорит, часто значительно и заслуживает внимания, но как он говорит — не всегда оправдано и нужно.

Рецензируемая книга охватывает большой период творческой работы Огнева, от 12-го года по 24-й включительно. Широта хронологической полосы сказалась на пестроте и разнообразии тематики. Но бо́льшая часть ее освещена заревом войны и революции.

Очень хороши фрагменты «Павел Первый», в которых автор с большим мастерством и стилистическим тактом показал дегенеративного монарха с его распущенностью, ребяческими склонностями к «сологубовским» играм, вспыльчивостью и трусостью, окруженного льстивым и двуличным двором.

Ярок и убедителен рассказ «Щи -республики» из периода голодных лет революции, в котором выпукло очерчен мастеровой Петр Борюшкин, везущий в деревню пол-пуда соли и две бутылки самогона для обмена на картошку. Поехал из города с голодной расчетливостью, а слегка выпил и море по колено, расплескалась вшири большая хорошая душа:

«Так бы и всегда надо, — учительно сказал заплетающийся Петрушкин язык.— Я тебе, ты мне, вот и выйдут щи республики. А то бросаются, как псы, рвут куски, каждый себе тащит. Засебятина! Эт-то всякий может. Хозяйка, а хозяйка!.. Давай меняться! Хошь фунт на фунт — получай фунт на фунт. Я такой. Мне ничего не надо».

Много жизненной правды в «Крушении антенны», где нищий захолустный школьный работник влюбленно поддерживает связь с огромным миром при помощи радио, где злобствует без злобы, ища выхода своей энергии, солдат Стремухов, где скромная и бесцветная учительница ищет немного любви и участия со стороны окружающих.

Свидетельствуют о талантливости автора и остальные рассказы книги («Евразия», «Темная вода» и др.).

Но Огнев чрезмерно манерничает в приемах письма.

Перебойный сказ и фигура эллипсиса — любимые его приемы. Порою давая своему рассказу нужную нервность и напряженность этими средствами, он вынуждает часто своего читателя разгадывать композиционные ребусы и по несколько раз перечитывать одну и ту же страницу. Безвкусицей кажется чисто стихотворная аллитерация, к которой прибегает автор:

«...бесперечь зачиркали,чиркая, острые чертики черной проволки...»,

«...зигзагному, беззвучному зову взвившейся новой — зеленой — ракеты...»,

«...сверля свинцовыми сверлами, свернулась в сверкавший клубок...».

И т. д.

Такие несложные и дешевые фокусы не нужны ни серьезному писателю, ни серьезному читателю.

Хочется, чтобы Огнев поскорее приобщился к той великой простоте, которая составляет сущность лучших страниц русской литературы.

Федор Жиц.

Э. Триоле. На Таити. Обложка работы М. А. Кирнарского. Изд. «Атеней». Л. 1925. 99 стр. Ц. 75 коп. Тираж 3.150 экз.

Если бы эта книжка не была уже раньше отчасти известна читателю — по отрывкам, напечатанным в «Русском Современнике», — ее заглавие многих бы испугало: за ним почудился бы, в лучшем случае, географический роман для юношества, типа «образовательного путешествия», в худшем — один из столь многочисленных сейчас «колониальных» французских романов. К последнему предположению располагает и французская фамилия автора.

Впрочем, автор оказывается в дальнейшем обыкновенной москвичкой, — это явствует не только из того, что впечатления от Таити перемешаны с воспоминаниями о кривом переулке около Пятницкой, о желтом двухэтажном домике ампир, о золотых куполах церквей, о разносчике с лотком на голове и пр., — это явствует, прежде всего, из хорошего, опрятного языка книги. (И лишь один ляпсус мог бы навести на сомнения: «Жену свою крепко любит и ко всем ревнует, — говорит автор об одном из своих таитянских знакомых,— у него трое детей от жены и много от других женщин, которых он также кормит и обучает». Что он кормит всех своих жен — это хорошо, но не поздно ли им учиться?)

Несмотря на заглавие, несмотря на демонстративно географическую обложку Марка Кирнарского, врисовавшего в квадрат кусочек географической карты, — в книге почти нет материала, способного «дополнить и укрепить в памяти полученные в средней школе сведения из географии». Э. Триоле обошлась без указаний, что полинезийский архипелаг — «Острова Товарищества», к которому принадлежит Таити, «тянется длинной цепью с ЗСЗ на ВЮВ, между 16° и 18° южн. широты и 150°—157° зап. долготы», что «почва архипелага вулканического происхождения», не сообщает сведений о процентном отношении французов и туземного населения, о политическом управлении на Таити и пр., и пр.

Нет здесь и неизбежной для колониального романа истории двух любящих сердец, из которых одно — туземное, другое— прибыло из метрополии; нет путешествий по девственным лесам, охоты на диких зверей и т. п. Приключений здесь не найти, — дойдя до третьей главы, читаем спокойный заголовок:

«III. Мы продолжаем жить в гостинице Джони Гудин и дружим с ним».

Э. Триоле откровенно тяжела на подъем, оправдывая себя непривычным климатом: «Влажная, мокрая жара не спадала ни днем, ни ночью. Мне казалось, что тело мое разбухло, и для того, чтобы только улицу перейти, — я затрачивала всю мою энергию без остатка. Я старалась выходить как можно меньше и предпочтительно сидела дома и разговаривала с Джони Гудин». Только в пятой главе автор покидает гостиницу — и то лишь затем, чтобы переехать в дом.

Тогда, быть может, перед нами своеобразное применение плодотворного крае-

ведческого метода? «Опыт обследования одного острова» — по образцу столь популярного сейчас «обследования одной деревни»? Быть может, радиус наблюдения был намеренно укорочен, с тем, чтобы обследование было зато детальней и разносторонней?

Но нет здесь, прежде всего, никакого обследования. Дан ряд зарисовок, не связанных предварительным планом, собранных постепенно, даже с ленцой, без торопливости и жадности, свойственной всем путешественникам, без полезной, но, признаться, нередко скучноватой обстоятельности, свойственной краеведам. И это придает книге оригинальность, свежесть, непосредственность: описания местных европейцев, китайца-повара, темнокожей горничной Вахине, туземной королевской семьи перемежаются с совершенно случайными деталями вроде отрывка, посвященного дорожному несессеру. Создается впечатление интимности дневника.

Записи детальны, но не разносторонни. Они детальны почти в одной только области — так сказать, мануфактурной: тут костюмы — мужские и женские, туземные и европейские, одеяла, простыни, занавески... О гостинице мы почти ничего не узнаем, кроме того, что полог у кровати там тюлевый, простыни — редкие, как канва, одеяло — коленкоровое, дверь на террасу завешена «слишком узкой, кривой, ситцевой занавеской» и т. п. Тот же характер описания строго выдержан и в применении к людям.

Даже для определения температуры автор пользуется показаниями костюма: «Плыли мы сначала закутанные в шубы, замотанные в платки, потом в белой кисее, в парусине» или:

«Зимой,—в июне, в июле на острове хорошо. Вечером пальто надевала, а раз как-то перчатки».

Из той же области берутся и сравнения: Э. Триоле описывает сад: «Днем пестрый, как мое лоскутное одеяло»; говорит о цвете морской воды: «Определенность и чистота этих цветов дает то же ощущение удовлетворения, что вид развернутого куска цветного шелка» и т. п.

Ну, что ж, у каждого свой магический кристалл: один смотрит на мир «сквозь призму», Э. Триоле — сквозь кусочек цветной ткани. Этот кусочек цветной ткани — пожалуй, ее характерная писательская особенность. Прикоснувшись к складкам материи, Э. Триоле изредка дает читателю многое понять и увидеть: «И оттого так часто встречается нелепость черного траурного платья на фоне всей этой цветной роскоши», говорит она об эпидемии, уничтожившей половину островитян.

Однако именно эти отдельные удачные места оттеняют основной недостаток книги: она, в своем художественном осуществлении, ниже писательского замысла. Идея показать жизнь и людей далекого острова сквозь обыденщину, даже сплетню, наряд — интересна и небесплодна. Но в книге мало живых фигур, хотя написана она и живо. Читать ее приятно, но в то же время досадуешь, что почва незнакомого острова взрыта не так глубоко, как хотелось бы.

Валентина Дынник.

Феоктист Березовский. В степных просторах. Роман. Часть I. Госиздат. 1926. Стр. 216.

Начнем хотя бы с того, что такие книги или вовсе не издаются, или издаются сразу все 12 частей, ибо, купив и честно одолев 1-ю часть, за второй и прочими не погонишься; роман этот относится к таким, которые можно продолжать до бесконечности, благо, не указано, в скольких он частях.

Такое наше вступление вовсе не означает окончательных «похорон» романа «В степных просторах»: в нем следует отметить и некоторые плюсы, но об этом — ниже.

Автор весьма неуверенно, а подчас небрежно обращается с художественным материалом; образам, тропам, он совершенно не умеет придавать того веса, который создает мясо романа. К тому же в романе нет также и костяка, отчего и создается не то эпизодическая расплывчатость, не то, просто, ощущение пустого места. В погоне за оригинальными красками автор подчас теряет чувство соответствия, отчего у него и получаются такие недоумения, как «огненная сковорода», «белые тара-

каны», «белая тьма»; выявляется также беспомощность в подборе эпитетов, в результате чего на протяжении 21 строки (гл. I) встречаешь: «фиолетовый малахай», «голубая кошма», «серебристое покрывало», «белая степь», «белая папаха», «белый куржак», «желтые камыши», «серые курганы». А таких безвкусных эпитетов, как «холодный ветер», «длинная вереница», «веселая музыка», «трескучий мороз», — не счесть, ибо они пронизали весь роман.

Необходимость во что бы то ни стало дать свое собственное выражение (ведь это — финиш последних дней для многих начинающих) заставляет автора переходить границы смысла, отчего и получается «Мухтар поморгал раскосыми смородинами» (?); «клубок полыни подкатил к горлу» (при этом еще «горькая полынь», словно бывает и сладкая), «затрепетал воробей в груди», «кивнул атаман большеглазой грушей» (у Ивана Никифировича было лицо — репа не то кверху, не то книзу, но Гоголь «репой не кивал»).

К числу невладения материалом следует также отнести вой шайтана на протяжении всего романа почти на каждой странице; назойливо также повторяется слово «малахай» (кажется, шапка), — и «брюшное окно». Я насчитал около 100 шайтанов и по 30 малахаев и окон; дальше считать надоело. Также почти на каждой странице повторяется либо буран, либо снег, либо—одним словом,— явные доказательства суровой зимы. Если б не эти напоминания, то, пожалуй, время года не почувствовать.

К числу назойливых моментов надо отнести также невероятное количество киргизских диалогов, слов и выражений, при чем сбоку дан их перевод. Ходом сюжета это нисколько не оправдано:

(Стр. 23) — Мал жан аман ба? (Здоровы ли скот и все живое?)

— Чшукур. Эль джут тыш ба? (Слава. Спокойно ли население аула?).

Кудайга чшукур. (Слава богу.)

И т. д. в таком же духе.

Попадаются и слова, которым придано не то значение, какое они в себе заключают. Так, например, «блудили», вместо «блуждали», и «сальник», означающий сальную коптилку. Было бы с полгоря, если б этот «блудливый сальник» встретился только один раз, но в том-то и дело, что он повторяется 17 раз (стр. 38, 79, 84, 94 и 86, 88, 90, 92, 116, 131, 169, 177, 180, 180, 180, 206, 208) [1].

Что касается фигур романа (именно, фигуры, так как лиц здесь нет) — они обычны, трафаретны, заезжены. «Белые» — негодяи, «красные» — герои. Ломов — сусальный рабочий: на стр. 43 он ложно-классическим приемом вспоминает тюрьму и ссылку, обращается к своему «внутреннему взору», и воскрешает в памяти провожавшую его в Якутку жену, которая на перроне восклицала:

— Ты нужен революции!

Другой герой — Васильев—не сусален, но до отказа трафаретен. Интеллигент, который внезапно вспоминает свой долг перед революцией. (Несколько страниц до этого он насилует жену киргизского бая, а через несколько страниц за такое же дело лично расстреливает красноармейца.) Живее взяты киргизы. Среди них можно встретить, если не оригинальные, то хотя бы 1—2 живых лица.

К числу положительных моментов следует отнести желание автора что-то рассказать, и, правда, у него есть, что рассказать.

Не умея подать своего героя, автор все-таки его имеет в виду; не зная «приемов» для передачи быта, автор все-таки этот быт знает и, в общем, дает о нем смутное представление.

Поэтому довольно живо во 2-й главе дана военная обстановка белых; в 7-й главе с интересом читаешь о налете белых на киргизское селение, и в гл. 9-й даже мастерски подано собеседование комиссара с киргизскими старшинами.

Попадается также несколько неплохих выражений, не удуманных и не притянутых за волосы, и 2—3 свежих, сочных

---

[1]) Если спорно значение слова «сальник», то никак уж не спорно слово «блудить». И все же «сальник» даже, как светильник, не следует повторять десятки раз.

места (стр. 104, Нурилья в гостях у Джюнуса, и др.).

Все это определенно указывает, что автору, во-первых, не надо было давать большого, расплывчатого полотна и, вместо растянутого романа, писать компактный эпизод без «героев», и, во-вторых, все, что автор дал, надо было основательно переработать: небрежность обращения с материалом влечет за собой беспомощность пера.

Виктор Якерин.

Айкуни. Красный Дьявол. Поэма. 1926 год.

«Айкуни — поэт пролетарской Армении. Содержание и форма этого интересного произведения переданы здесь в ритмическом переводе, точном и близком подлиннику. Самый точный перевод, а тем более такой полустихотворный, не может, конечно, передать русскому читателю все богатство армянского языка, красочность и роскошь образов, солнечность и певучесть мелодии»... — говорит в предисловии Г. Якубовский. Не знаем хорошо, чья тут вина, автора или переводчика (во всяком случае, едва ли можно обвинить русский язык, в самом по себе в нем, наверно, хватило бы силы, чтобы передать «роскошь образов» и «певучесть мелодии»!), но как поэтическое произведение поэма Айкуни вещь очень слабая, а со стороны образов— даже убогая!

Едва ли то, что мы имеем в русском переводе, можно назвать даже полустихотворной формой, скорее всего это полуритмизированная проза, напечатанная в колонку. Примером убожества и безвкусицы может служить такое место из поэмы:

Однажды утром
Незнакомка
К нему является в ревком.
Ее глаза —
Морская глубина,
Пронзенная лучами солнца,
Искрами сверкает.
Снопами волосы —
Рожь.
Тело —
Горная лилия.
Ароматные груди —
Шамам эриванский!
Чинар —
Ее рост.
Язык —
Соловей.
Походка
Мерная
Красавицы
Волшебных стран.
И стройный стан
Обвит
Нарядным синим платьем —
Созвучным синеве очей.

И всего-то-навсего, как потом выясняется, жена белогвардейского полковника... Правда, этой дамой автору надо было соблазнить очень сурового предревкома, но для этого не стоило в поэме пользоваться такими средствами, описываемый предмет предрешает слова и образы своего поэтического перевоплощения, если бы автор дал просто картинку красивой и красиво одетой женщины — это было бы убедительней.

Нельзя о похищении из цейхгауза казенных вещей писать таким же языком, как и о похищении сабинянок, мы охотно верим (в предисловии сам автор уверяет в истинности всех описанных в поэме событий), что жена полковника была очень недурна, но нельзя при описании ее образа пользоваться образами и стилем Песни песней: там это было величественно, тут это смешно!

С. К.

Пушкин. Статьи и материалы. Под ред. М. П. Алексеева. Изд. пушкинской комиссии одесского дома ученых. Вып. I. Одесса 1925. Стр. 80.

Изданный одесским домом ученых сборник статей и материалов о Пушкине является ярким показателем исчерпанности тех путей, по которым до сих пор развивалось наше академическое пушкиноведение, застывшее в конце концов на мертвой точке коллекционирования второстепенных и третьестепенных биографических мелочей и утерявшее всякую живую связь с историко-литературным, в собственном смысле, изучением пушкинского творчества. Стремление редакции придать сбор-

нику свой собственный одесский couleur locale в еще большей степени выдвинуло на первый план эту чисто-биографическую тенденцию, лишив его почти всякого значения как издания историко-литературного.

Из шестнадцати объединенных в сборнике статей и заметок только одна работа М. П. Алексеева о «Гавриилиаде» представляет некоторый интерес для литературоведения, работа, в которой автор пытается полемизировать с Б. В. Томашевским, восставшим против укоренившегося отнесения сюжета поэмы к французской пародической традиции XVIII века и указавшим на апокрифические евангелия, как на его непосредственный источник. Однако от каких-либо положительных выводов автор отказывается, считая, что сюжетика поэмы в равной степени соприкасается и с благовещенской церковной службой, и со старой славянской литературой, и с народной легендой. Статья Б. В. Варнеке с многообещающим заглавием: «Источники и замысел Бориса Годунова» представляет собою в действительности груду, слабо друг с другом связанных, заметок и сопоставлений, из которых более или менее подробно разработано только сравнение Бориса с Александром I, как известно, не отличающееся особою новизною. В общем, статья вполне оправдывает взятые в качестве эпиграфа к ней слова В. О. Ключевского: «О Пушкине всегда хочется сказать слишком много, всегда наговоришь много лишнего и не скажешь всего, что следует». Третья крупная статья сборника посвящена характеристике гр. Н. В. Кочубей, данной С. П. Шестериковым, и написана, в основной своей части, уже без всякого отношения к Пушкину. Приведенное в предисловии указание, что она в значительной степени была вызвана желанием воспользоваться сохраняющимся в Одессе архивом и библиотекой ее (Н. В. Кочубей. *И. С.*) мужа А. Г. Строгонова — оправдание небольшое.

Вошедшие в сборник мелкие заметки в достаточной мере случайны и малозначительны, чтобы говорить о каждой из них в отдельности.

Рецензируемый сборник является первым из обещанной серии; второй будет заключать в себе «Словарь одесских знакомых Пушкина», если окажется возможным, предполагаются и дальнейшие. Следует сказать однако, что если в дальнейшем редакция не изменит круто взятого вначале направления, если от умиленных воздыханий над «одесскими автопортретами Пушкина» и плачей над «пропавшим пушкинским делом» (статья В. Стратена) она не перейдет к чему-то более существенному, и в наши дни более нужному, скажем — к социологии п р о и з в е д е н и й Пушкина, то придется ждать обещанных выпусков без особого упования. Решительная ликвидация традиционного, академического пушкиноведения — очередная задача историко-литературного изучения Пушкина.

И. Сергиевский.

Психология и марксизм. Сборник статей сотрудников Московского Государственного Института Экспериментальной Психологии. Под редакцией профессора К. Н. Корнилова. Гиз. Ленинград 1925 г. Стр. 242.

Настоящий сборник, составленный из статей десяти авторов, одна из наиболее интересных новинок в литературе, посвященной самым общим теоретическим и методологическим вопросам психологии. Как новизна и сложность самой поставленной проблемы, так и серьезный подход к ее разрешению в значительной мере оправдывают имеющиеся недочеты, — к тому же сами авторы сознают незавершенность своего дела, что явствует хотя бы из предисловия редактора. Объединенные коллективной работой, авторы считают себя объединенными и общей «методологической базой», что позволяет, хотя и не без натяжек, отнестись к сборнику, как к некоторому единству. Новое направление прежде всего отмежевывается от тех, которые «делали погоду» по сю пору, — и эта критическая часть их работы, пожалуй, наиболее интересна и содержательна. Очень убедительна критика так наз. «эмпирической» (в действительности наивно-эмпирической, по меткому выражению А. Р. Лурия, и с другого конца метафизической) психологии в статьях К. Н. Корнилова, А. Р. Лурия, А. Н. Залмансона, В. А. Артемова. С другой стороны, в статьях того же

К. Н. Корнилова, Л. С. Выготского, З. И. Чучмарева дана критика физиологического направления или рефлексологии, как теории, закрывающей глаза на факт «психических процессов» с их специфической природой и значимостью и — что оттеняется несколько менее — не имеющей средств для анализа всей сложности поведения человека в условиях общественной жизни.

К. Н. Корнилов (во вступительной статье «Психология и марксизм») считает эти две психологии тезисом и антитезисом, а будущую марксистскую психологию — их синтезом. Эта схема представляется, однако, слишком искусственной и, главное, стирающей те совершенно новые возможности, которые открываются для психологии в связи с пересмотром ее с точки зрения марксизма. При всей огромной разнице двух боровшихся направлений, и «эмпирическая психология» и психология «объективная» сходились в том, что работа их, говоря общ·, не была проникнута принципами диалектического материализма. Это последнее и помешало им (и тут не помог ни эмпиризм, ни пользование экспериментом) подойти вплотную к конкретному и «цельному» человеку в условиях его действительного бытия. Вполне правильно, однако, более родственной по своим тенденциям марксизму К. Н. Корнилов признает «объективную психологию» или «психологию поведения», неприемлемую лишь постольку, поскольку (особенно в русском варьянте) она стремится замкнуться в пределах исключительного физиологизма. Ряд авторов (П. П. Блонский, Б. М. Боровский, Л. С. Выготский) фактически стоит на почве психологии поведения и для них вопрос новой психологии ставится скорее не как «синтез», а как дальнейшее развитие и методологическое восполнение этой объективной психологии, какой путь и нельзя не признать наиболее убедительным. Что же касается метода самонаблюдения, которому снова отводится место в ряду методов психологии (пункт соприкосновения со старой субъективной психологией), то он получает теперь совершенно иное значение, не представляясь ни основным, ни даже самостоятельным.

Если наследство, оставленное объективной психологической школой, во всяком случае пойдет на пользу марксистской психологии, как бы ни мало эта последняя думала им ограничиться, то наследство, полученное от З. Фрейда, еще нуждается в основательном критическом пересмотре, чего не хотят видеть иные из авторов сборника. В своей содержательной статье «Психоанализ как система монистической психологии» А. Р. Лурия явно преувеличивает значени: Фрейда для принципиального обоснования «монистической психологии», относя в счет психоанализа и те свойственные материалистическому подходу к человеку черты, которые, как указывает сам А. Р. Лурия, имеются уже у Людвига Фейербаха и французских материалистов XVIII века. Но даже в трактовке А. Р. Лурия, изо всех сил старающегося материализировать Фрейда, в иных своих воззрениях весьма далекого материализму, психоанализ, при всех своих действительно ценных мотивах, ни мало не кажется тем диалектико-материалистическим подходом к человеку, за который его хочет выдать автор. Скорее опровергает (вопреки намерению автора), чем доказывает близость фрейдизма марксизму другая статья сборника (Б. Д. Фридмана), посвященная немаловажной теме: «Основные психологические воззрения Фрейда и теория исторического материализма». Автор во что бы то ни стало хочет примирить, слить воедино фрейдизм (в первую очередь) с историческим материализмом (во вторую). С этими благими намерениями он, изложив учени: Фрейда, излагает исторический материализм «в свете воззрений Фрейда», при чем — если и без умысла, то все же далеко не случайно — допускает ряд грубейших неточностей в этом «изложении». Обилие цитат из Маркса, Энгельса, Плеханова и др., часто «притянутых за волосы», мало помогает делу, при нежелании считаться с самою «природою» марксистской теории. Приведем примеры. Никогда настоящий марксизм, вопреки Б. Д. Фридману, фактором, обусловливающим в конечном счете «содержани: человеческой деятельности или истории», не считал мотивы и цели этой самой деятельности, хотя бы и основные (стр. 142). Это — субъективистическое искажение исторического материализма, для которого таким фактором является, как известно, развити: производительных

сил, обуславливающее прежде всего связанные с определенным способом производства объективные общественные отношения. Эти последние и представляют у Маркса «бытие», определяющее «сознание» (кстати сказать, некоторые из авторов сборника толкуют этот тезис Маркса отнюдь не в марксовом смысле), а в том числе, конечно, всяческие мотивы, цели и желания, если не в их биологической «возможности», то в их социальном оформлении и содержании. И, конечно, не «от желаний человека, как источника деятельности к изучению развития из них сложных явлений общественной жизни» (158) идет исторический материализм, а как раз напротив - от общества к единичной личности с ее «микрокосмом». Но что до всего этого Б. Д. Фридману, который «идеологию» понимает только как «прикрытие истинных мотивов стремления» (146), не учитывая ее социального генезиса и не интересуясь ее отношением к объективной действительности, который, далее, борьбу отдельных общественных сил, лежащую, по Энгельсу, в основе всякого исторического события, отождествляет с борьбою систем «сознательного» и «бессознательного» в психике субъекта («вожака» — 150) и т. п. В итоге у него получается: исторический материализм, который «нисколько не отрицает других факторов или моментов» (помимо «экономического» — 154), и психоанализ, который изучает преимущественно роль сексуальных влечений в жизни человека и общества, не игнорируя и других тенденций (156), прекрасно уживаются друг с другом и состоят в тесном сотрудничестве. Однако, как пострадал при этом исторический материализм, мы уже показали.

В отличие от Б. Д. Фридмана и А. Р. Лурия, мы находим гораздо меньше точек соприкосновения между фрейдизмом и марксизмом. Тем не менее нам представляется возможным построить новую марксистскую психологию на фундаменте одного только фрейдизма. Фрейдизм ценен между прочим своей попыткой рассмотреть человеческую психику в свете обще-биологических закономерностей, и не выходит за пределы взятого в обще-биологическом плане индивида. (Другой вопрос, насколько хорошо он справляется и с этой задачею.) Если, рассматривая психику все же в ее динамике, он говорит о взаимодействии субъекта со средою и даже социальною средою, то и здесь ограничивается указанием лишь самых общих отношений, притом под углом зрения, далеко не исчерпывающим вопроса. Социология же фрейдизма — не что иное, как проекция на общественное развитие тех же найденных в жизни индивида процессов и изыскание корней общественных явлений все в той же индивидуальной психике. Для нас, напротив, даже поведение индивида (личности) из заложенных в нем биологических начал всецело не вытекает. Из факта «влечения», которое тот же Б. Д. Фридман, кстати сказать, толкует как какую-то метафизическую сущность, которая «не обладает никакими свойствами и признаками», будучи однородной «как выражение движущей силы» (119), нельзя вывести «всей сложности психической деятельности» общественного человека в порядке простой дедукции. Здесь-то и возникает проблема социологического метода (а марксистский метод в психологии и мыслится прежде всего как социологический), о котором говорит тот же К. Н. Корнилов и который должен дополнить биологию и физиологию анализом конкретной среды развития человеческого организма и возникающих под ее воздействием новообразований в его «поведении» (и «конституции»). Ни для кого теперь не секрет, что эта «обусловливающая» среда для человека в основном — среда социально-экономическая и что, обращаясь к ней, нельзя ограничиваться на манер Фрейда общими указаниями на «внешние препятствия», «жизненную необходимость» и т. п., вместо действительного ее анализа.

Самая постановка указанной проблемы, имеющей на наш взгляд центральное значение для темы сборника, во многих статьях его имеется. Так, тот же А. Р. Лурия обещает в следующих главах своего исследования «сделать третий шаг по пути целостного подхода к организму—ввести его в систему социальных влияний» (любопытно, удастся ли ему это выполнить, не выходя из обычных рамок психоанализа?). О том, что «необходима научная разработка вопроса о методе изучения социальных факторов», говорит, заканчивая свою

статью («К проблеме конституции человека»), и А. Н. Залмансон. То же в статье М. А. Рейснера «Социальная психология и марксизм». Этой разработки, однако, авторы еще не дают. Некоторые из авторов, касающихся данной темы, обнаруживают односторонний или не совсем правильный подход к ней. Так, Л. С. Выготский в своей интересной, хотя не во всех частях ясной и доказательной, статье «Сознание как проблема психологии поведения» устанавливает связь и даже тождество между «социальным опытом» и личным «сознанием», но ограничивается при этом исключительно «формальной» стороной того и другого (признак «удвоенного опыта»), не поставив вопроса и о социальном «содержании» индивидуального сознания, что следовало бы сделать в целях разработки подхода к сознанию не только с точки зрения его «механизма» (конечно, и на этом трудном пути Л. С. Выготским высказываются лишь самые предварительные соображения), но и с учетом его обусловленности извне, раскрытие которой явилось бы вторым путем «перевода фактов сознания на объективный язык». Другой автор, З. И. Чучмарев («Рефлексология и реактология»), настаивая на необходимости в некоторых первостепенных частях науки о поведении человека перехода от «рефлексологии» к «реактологии», учитывающей и «психические переживания», говорит о постановке «реактологической характеристики» общественных групп и классов путем количественного измерения реакции в эксперименте (217). Этот путь «построения групповой психологии» представляется по меньшей мере недостаточным. Можно ли, вообще говоря, изучение реакции, изолированной из общей жизненной связи, считать единственно научным методом (как это выходит у З. И. Чучмарева — 219), если и самая постановка эксперимента и правильная интерпретация его результатов возможна лишь на основании объективных данных, добытых иными путями, что отчасти учитывает и сам автор (здесь он довольствуется методами Völkerpsychologie Вундта), и если далеко не все задачи психологии доступны разрешению «лабораторным» путем? В частности, в опознании классовой психологии следовало бы итти не от индивидуальной реакции, а от общих для класса и единообразно формирующих целостные «уклады» сознания (и поведения) его членов, материально-производственных условий существования и конкретной исторической среды, т.-е. основываясь на принципах исторического материализма.

Последнему на наш взгляд еще предстоит сыграть большую и революционизирующую роль в психологии. В особенности велико будет его значение, когда психология будет строиться по плану, указываемому К. Н. Корниловым: от социальной, классовой, групповой психологии к индивидуальной, и окончательно отрешится от субъективизма, неправомерных обобщений, метафизичности, свойственных психологии, отправляющейся от индивида. Очередной задачей научной психологии, в чем лишний раз убеждаешься после прочтения сборника в его критической части, следует признать разработку и спецификацию метода исторического материализма, применительно к новой области исследования. Многие нужные в этой связи проблемы в сборнике, как мы отчасти показали, уже поставлены. Не обошлось и без ошибочных «уклонов».

В целом сборник, повторяем, заслуживает всяческого внимания, и в нашей рецензии мы не могли коснуться всех затронутых в нем и оригинально трактованных вопросов.

А. Прозоров.

Н. Рожков. Девятьсот пятый год. Историческ. очерк. Изд. «Книга». Ленинград — Москва. 1926. Тираж 3.200. Стр. 118.

В. И. Невский. Январские дни в Петербурге в 1905 году. Изд. «Пролетарий». 1925. Тираж 10.000. Стр. 107.

Р. Арский. Революция 1905 года. Ее предпосылки и движущие силы. Изд. «Кубуч». Ленинград 1925. Тираж 10.000. Стр. 144.

Литература о первой русской революции по мере приближения к юбилейным дням количественно принимает довольно солидные размеры. Вместе с тем, следует отметить, что, в противоположность обычному «пожарному» выпуску юбилейной литературы, на этот раз наши издательства выступают достаточно организованно, что, естественно, положительно сказывается

на качестве выпускаемой литературы. Перечисленные выше три работы могут служить подтверждением нашего мнения.

Исторический очерк Н. Рожкова посвящен исключительно 1905 году. Цель автора—осветить этот наиболее бурный год революционного периода 1905—1907 г.г., «уяснить общий ход событий и движущие их социальные силы» (5).

Свою работу Н. Рожков начинает с событий, предшествовавших 9 января, т.-е. с Гапона и руководимого им движения. Затем он переходит к характеристике революционных и оппозиционных сил России накануне октября 1905 г., дает интересный набросок нарастания революции, завершившегося днями свободы (манифест 17 октября) во всей России и московским вооруженным восстанием в декабре 1905 г. Как в первой, так и в следующих трех главах автор, освещая ход событий 1905 года, опирается на многие, уже опубликованные в разное время, материалы и документы, использовывая их, понятно, в полном соответствии с общим построением своего очерка. Таким образом в историческо-документальной части рецензируемая книжка не вызывает никаких возражений. Зато ряд замечаний и даже возражений вызывают те отдельные места работы, в которых автор излагает свои выводы по поводу того или иного исторического момента.

Начнем с основного замечания—с характеристики Гапона. На нескольких страницах (14—17) автор пытается опровергнуть давно установившееся мнение о провокаторской роли Гапона. «Можно ли смотреть на него *в это время и позднее* (курсив наш. *И. Б.*), как на человека, продавшегося за деньги охранному отделению?»,—спрашивает тов. Рожков и тут же отвечает: «Мы считаем такой взгляд ошибочным» (15). Какие же доводы выдвигает Н. Рожков? Гапон «не пьянствовал, не развратничал... щедро раздавал деньги... брал деньги из департамента полиции не для себя, а для дела» (15). Гапон был искренним человеком (16), мятущейся душой, метавшейся между с.-д. и с.-революционерами и т. д. и т. п. Словом, «политическая, революционная, социалистическая наивность, примитивность Гапона в это время и позднее—по мнению т. Рожкова—не подлежит никакому сомнению» (16).

Нам, конечно, неизвестны источники, на основе которых автор усиленно «ревизует» мнение о Гапоне, но то, что это противоречит и истории и логике вещей, не подлежит никакому сомнению. Вот несколько характерных фактов из «революционной», «наивной» деятельности Гапона: на открытии «собрания фабрично-заводских рабочих» (февраль 1904 г.) Гапон, от имени собрания, через министра внутренних дел повергает «к стопам его императорского величества верноподданнические чувства любви»; в июне 1904 г. Гапон ведет осторожные разговоры с Грингмутом (известнейшим черносотенцем, редактором «Московских Ведомостей»), собирается ехать в Москву знакомиться с Треповым, но «отеческое» предупреждение Плеве (через полицейского генерала Фуллона) остерегаться Зубатова задерживает его в Петербурге; петербургский градоначальник (тот же Фуллон) официально свидетельствует, что общество, организованное Гапоном, «является твердым оплотом против проникновения в рабочую среду превратных социалистических учений» и т. д. Не подлежит никакому сомнению, что сильные полицейские руки (Зубатов, Плеве, Фуллон и др.) двигали эту пешку в рясе в направлении, угодном только им.

Ограниченность места не позволяет нам остановиться на ряде других спорных моментов, вроде того, что основным побудителем аграрного движения 1905 года был голод в деревне (в 1906—1907 годах крестьяне успокоились лишь тогда, когда, по мнению Н. Рожкова (94), «голодному был дан кусок хлеба, и он так этому обрадовался, что притих надолго»).

В целом книжка Н. Рожкова все же читается с большим интересом. Издана она удовлетворительно.

Очень хороший, доступный широкому читателю очерк январских дней в Петербурге в 1905 г. дал В. И. Невский. Составленный всего из шести глав, настоящий очерк, как и предыдущий, начинается с событий, предшествовавших расстрелу рабочих 9 января у Зимнего дворца. Однако, в отличие от Н. Рожкова, тов. Невский с логической последо-

вательностью твердо устанавливает истинную предательскую физиономию Гапона. Совершенно прав автор, подчеркивая, что «Гапон был предателем, провокатором, авантюристом, агентом полиции, утопистом в рясе и с охранным билетом» (9).

Большой интерес в рецензируемой книжке представляет вторая глава, освещающая состояние петербургской с.-д. организации в то время. Давая критическую оценку имевшим тогда место внутрипартийным конфликтам и разногласиям, иллюстрируя их рядом конкретных фактов, т. Невский показывает, что ни большевики, ни меньшевики совершенно не были подготовлены к революционным событиям. Революционные организации проглядели рост рабочего класса и его боевую подготовку, и большевики устами одного из членов петербургской организации вынуждены были констатировать, что они оказались «бессильными перед стихийным рабочим движением» (25). И несколько строк из письма Н. К. Крупской, находившейся тогда за границей, к одному из членов Петербургского комитета с особой четкостью подтверждают эту неподготовленность организации. «А где же прокламаций, — писала 5 января 1905 г. тов. Крупская, — которыми комитет сулился засыпать весь город? Мы их не получаем. Также нет совсем корреспонденций. Из иностранных газет узнали, что на Путиловском заводе стачка...» (32).

Правильно делает автор, останавливаясь подолгу на роли партии в январских событиях (и Н. Рожков в своей работе уделяет этому вопросу большое внимание), ибо нужно со всей откровенностью подчеркнуть, что и неподготовленность Петербургской организации сыграла крупную роль в исходе революции 1905 г.

Фактическая часть настоящего очерка заканчивается обзором откликов буржуазной прессы и международного социалистического движения на революцию 1905 года. В виде приложения к книжке тов. Невским дан полный текст петиции рабочих, составленной накануне 9 января. Обещанной же им записки-протеста петербургских присяжных поверенных по поводу расстрела рабочих (84) в книжке почему-то не оказалось.

Рецензируемая книжка Р. Арского посвящена исключительно экономическим предпосылкам 1905 года. Последние рассматриваются автором, как сумма двух основных факторов революции: аграрного вопроса и капиталистического развития России. На основе этих двух факторов и построена вся работа.

Поворотным пунктом в истории аграрных взаимоотношений в России т. Арский правильно считает реформу 1861 года. Но, как известно, реформа 19 февраля не разрешила аграрной проблемы. Наоборот, она усложнила ее, в подтверждение чего автор приводит большое количество цифр. Из последних обращает внимание таблица, иллюстрирующая изменение земельных наделов до и после реформы (17). Несмотря на значительное увеличение крестьянского земельного фонда, надел на одну ревизскую душу по ряду губерний значительно уменьшился (по Киевской с 6,6 дес. до 2,1, по Подольской с 5,5 дес. до 2,2 дес. и т. д.). Не разрешив кардинального вопроса—земельного,—реформа нисколько не смягчила бедственного положения деревни, и последнее сыграло немаловажную роль в ускорении процесса перехода сельского хозяйства страны на путь товарного хозяйства, или, точнее, вовлечения крестьянства в орбиту капиталистических взаимоотношений. Переход сельского хозяйства к товарным формам, в свою очередь, ускорил и углубил процесс дифференциации крестьянства.

Русско-японская война обострила противоречия. Аграрные волнения разлились колоссальной волной по всей стране; в марте 1905 года движение охватывало 62 уезда, в октябре 1905 г.—161 уезд, а весной 1906 г.—уже 215 уездов (37).

Прослеживая далее шаг за шагом развитие капитализма в России, автор показывает, как в процессе развертывания производительных сил страны начали разрастаться противоречия буржуазии с феодально-крепостническим строем. И здесь, как известно, война сыграла свою решающую роль, явившись одним из факторов революции 1905 г.

К сожалению, автор превратил свою работу в сухой экономический очерк, далеко не во всех своих частях увязанный

с основной темой. Местами автор чрезмерно цитирует отдельные министерские доклады вроде доклада министра финансов о государственной росписи доходов и расходов на 1905 год, выдержка из которого занимает ровным счетом $7^1/_2$ стр. (58—65). Однако нужно отметить, что т. Арский выполнил свою задачу весьма добросовестно. Аграрный вопрос и проблема капиталистического развития России освещены в его работе с достаточной полнотой. Весь вопрос в том, кому она может быть рекомендована. Массовый читатель при небольшом усилии, конечно, одолеет ее; для экономиста же она чересчур элементарна.

Издана книжка удовлетворительно, хотя встречаются в ней опечатки, при чем отсутствует очень важное в каждом издании—предисловие.

И. Браславский.

ОБМОЛВКА.

В № 9 «Красной Нови» в моей заметке об использовании имени Ленина имеется некоторая неточность.

Слова: «Вертись, земля, в такт молота ударам» — и т. д. были напечатаны не в журнале «Рабочий Бумажник», как мной указано, а в газете «Московский Коммунальник» № 2.

«Рабочий Бумажник» повторил тот же мотив с тем же рисунком и с верчением земли в такт ударам молота, но окончание — «Отныне шар земной зовется Ленин-шаром» — заменил другими.

В конце статьи по моему недосмотру написано: «Аки Савл метал мрежи в море». Надо читать: «Аки Симон метал мрежи в море».

Виктор Якерин.

Редакционная коллегия: А. Воронский. В. Сорин. Ем. Ярославский.
Издатель: Государственное Издательство.

Адрес редакции: Москва, Кривоколенный пер., 14. Тел. 5-63-12.

СОДЕРЖАНИЕ

За рубежом:

От земли и городов:

Литературные края:

Критика и библиография: